ФЕДОР ГЛАДКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

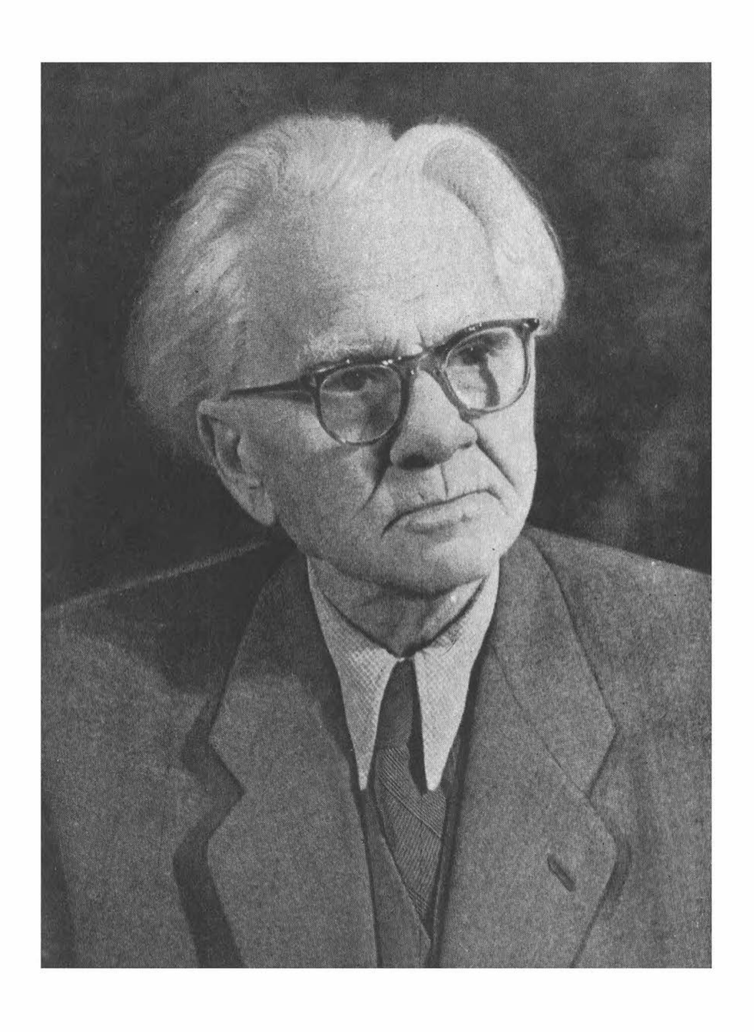
ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

(1901—1926)

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Примечания В. А. Красильникова

Оформление художника
Б. Шварца



АВТОБИОГРАФИЯ

Я появился на свет в 1883 году ранним летом 21 июня н. с. в глухой деревне Чернавке Саратовской губернии (теперь эти места — Пензенской обл.). Семья была патриархальная, старообрядческая, поморского согласия. Дед был хоть и маленький старичок, но держал всех в большой строгости: он никогда не ласкал детей и не замечал их. Но в праздники, когда приезжали дочери в гости, выданные замуж в соседние деревни, и ласкали меня, ребенка, он вдруг делал под веселую руку грозное лицо, тряс седой бородой и кричал: «А ну-ка, дай его сюда, я его выпорю. Кланяйся в ноги, разбойник!» И я замирал от ужаса. Отец тоже боялся деда, а мать, молоденькая, похожая на девочку, дрожала перед ним и немела от страха. Порядки в семье были скитские, и мне было мучительно стоять часами с лестовкой перед иконами вместе со взрослыми и отбивать земные поклоны. Особенно тяжела была эта пытка в дни постов.

Я рано стал работать по двору и в поле — чистил навоз, боронил, сгребал сено, помогал молотить. Рано научился читать и писать. Старообрядцы считали праведным делом учить детей грамоте, чтобы они могли читать псалтырь, жития святых и распевать «гласы».

Женщины в деревне были наподобие рабочего скота: их били смертным боем, истязали, и в деревне

было много кликуш. Моя мать в двадцать лет уже страдала тяжелой нервной болезнью.

После отмены крепостного права наша деревня оказалась малоземельной: на мужскую душу приходилось по «осьмине» (1/8 десятины). Так как жить в деревне было «не причем», мужики уходили на заработки. Покидали деревню иногда целыми семьями, и избы стояли с заколоченными окнами и дверями.

В детстве я много плакал: больше всего страдал за мать, которую бил отец. Она лежала вся в синяках, с распухшим лицом и судорожно дрожала. Били и меня за то, что я играл, за то, что плакал около матери, за то, что не мог поднять лопату с навозом на телегу.

Бабушка была рыхлая, добрая, и голос у нее был плачущий, скорбный. Она хорошо пела песни и умела рассказывать сказки и предания так, как будто сама все видела и пережила. Таких преданий и сказок я потом никогда не читал и не слышал, и мне кажется, что она их создавала сама. И мать и бабушка очень хорошо пели песни, и песни эти нередко переходили в плач, в вопление.

Деревню и ее околицу я очень любил. И сейчас, при воспоминании, все заливается солнечным сиянием, а за полями зеленеют перелески. На церковной площади, над зеленым лугом, мерцают волны зноя. По обе стороны речки, со снежно-белым песком на берегах, круто поднимаются взгорья, а в обрывистых берегах, в камнях, звенят студеные роднички.

И вот мы с отцом и матерью отправились на заработки, на рыбные промыслы. Я был поражен и подавлен сказочным величием Саратова, Астрахани, необъятной шириной Волги. Вплоть до Астрахани я находился в волшебном мире пароходных машин, грохота, рева гудков и богатырской возни грузчиков. А пароходы и баржи на реке казались мне живыми и горячими.

На рыбных промыслах Каспия, среди песчаных барханов, мы с матерью прожили с год. Тут я впервые увидел, что такое безысходное рабство. Люди надрывались на работе с раннего утра до поздней ночи, по-

лучая гроши, да и те утекали в лавочку хозяина. Многие работали здесь по нескольку лет, отрабатывая долги. Мать в штанах сидела на скамейке вместе с другой женщиной, лицом к лицу, и резала рыбу.

Весной мы возвратились в деревню.

А через год уехали уже на Кавказ — в станицу Прохладную, где отец работал на воскобойном заводе, а мать ходила на поденку.

Осенью опять вернулись в деревню из страха, что дед погонит нас по этапу и отца выпорют в волости.

В этот 1893 год в деревне открылась земская школа, и я попал во второе отделение. Летом разразилась холера. Это был так называемый «холерный год», когда эпидемия поразила чуть ли не всю страну. Заболела и мать. Ее спас от смерти студент-медик. Бабушка перенесла болезнь почему-то очень легко. Каждый день по улицам села несли гробы, и в церкви целые дни гудели похоронные перезвоны.

Осенью приехала учительница — Елена Григорьевна Парменионова, образованная девушка, из тех самоотверженных женщин, которые «ходили в народ». Это она открыла передо мной красоту художественного слова и новый чудесный мир человеческого творчества. Я и раньше покупал у тряпичников маленькие книжечки и читал их запоем. Знал я уже стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, рассказы Л. Толстого, Тургенева, Короленко, Г. Успенского, увлекался и лубочными книжками.

Я читал в моленной «часы» и считался грамотеем. В это время в наше село прислали православного попа — ренегата из старообрядцев. Он повел провокационную борьбу с поморцами, чтобы расправиться с раскольниками. Жертвой своей провокации он избрал меня: подговорил сынишку полицейского сотника написать на церкви похабные слова и заявить, что написал их я. После церковной службы поп с толпой молящихся подошел к нашей избе и приказал уряднику из волости арестовать меня. На съезжей этот урядник избил меня до потери сознания. Мы убежали с матерью к отцу, в Екатеринодар, где он в это время работал

на паровой вальцевой мельнице. Полиция разыскивала меня, но я быстро научился надежно прятаться от нее.

В дни коронации, в 1896 году, меня амнистировали, и в полиции пристав сказал: «Молодец, что умел прятаться, — не попал к нам в лапы, а то мы бы тебя за милую душу водворили в колонию малолетних преступников».

Жили мы на Дубинке — в городском предместье — во дворе местного почетного мирового судьи Канивецкого, где обитали его престарелая мать и седовласая сестра — сердобольные барыни. Канивецкий печатал в «Областных ведомостях» веселые рассказы, похожие на анекдоты. Он покровительственно давал мне читать книги из своей огромной библиотеки.

Отец отдал меня «в люди» — «мальчиком» в мелочную лавку, но я скоро сбежал оттуда. Потом я попал «в ученье» в аптекарский магазин, но и отсюда убежал: не вынес побоев. Затем очутился в литографии, где в бензинных парах мыл литографские камни. Мать в это время работала прислугой у заведующего областной типографией. Он взял меня в типографские ученики. Месяца через два я набирал уже тексты объявлений, бланков и мелких заметок. Но, разбирая шрифт в кассах на земляном полу, заболел острым ревматизмом и слег в постель.

Тоска по деревне, по детской сельской свободе, по родным взгорьям, родничкам и солнцу, мальчишечья неволя в людях, муки за мать, которую продолжал истязать отец, постоянное ощущение, что я обречен жить безрадостно, без всякой надежды на лучшее будущее, что в жизни только одно страданье, рабство, жестокость — приводили меня в отчаянье. Я начал выражать свои переживания на бумаге. Рассказывал о моем житье в деревне, о рыбных ватагах, о радости возвращения домой. Потом написал целую толстую тетрадь — «Дневник мальчика».

Я показал свои труды сердобольным барыням, и они растрогались, заахали и передали мои тетрадки Канивецкому. Он иногда приезжал к матери и сестре «на хутор» отдохнуть. Как-то меня позвали к нему, и

он запросто сказал мне: «Тебе надо учиться. Пописывай — может быть, что-нибудь и выйдет».

Барыньки повезли меня в гимназию. Я хорошо сдал экзамен, но учиться не пришлось: для гимназии я был слишком беден. Тогда сам пошел в городское шестиклассное училище и поступил в третий класс.

После окончания училища и дополнительного педагогического класса получил звание учителя начального училища.

Свои стихи и рассказы никому не показывал. В них я изливал и скорбь, и озлобление, и жалобы, и мечты. Раздумья и чувства искали выхода, и мне было легче, когда я выкладывал на бумагу все, что накопилось в душе. Во время выпускного экзамена в 1900 году я отважился показать свой последний рассказ «К свету» учителю, и он неожиданно для меня похвалил его и посоветовал отнести редактору неофициальной части газеты «Кубанские областные ведомости» Л. М. Мельникову.

Встретил меня в редакции высокий коренастый человек, с большой головой, очень широким и высоким лбом, с черной бородой и очень маленьким носиком. Что-то в нем было и смешное и очень привлекательное. Принял он меня весело и радушно, рукопись взял и при мне же перелистал ее, потом горячо крикнул с писклывым шипеньем (у него была хроническая болезнь горла): «Ну, милый юноша! Рассказ я на днях напечатаю. Но работать, работать вам надо: еще первые шажки. Приносите ваши рукописи — буду помогать!» Этот замечательный человек был самым близким моим другом до самой его смерти.

В «Областных ведомостях» он напечатал потом и другие рассказы («После работы», «Максютка», «Черкесенок», «Маленький горец», «У ворот тюрьмы»). В 1901 году я послал М. Горькому в Крым повесть «На ватаге, на Жилой». Он возвратил мне рукопись с припиской: «Писать Вам нужно. У Вас есть уменье наблюдать жизнь, есть любовь к людям. Надо только писать кратко и метко, — так, чтобы читателя точно палкой по башке. Исправьте рукопись сообразно с пометками на полях и пришлите мне: я напечатаю ее

в «Мире божьем». Рассказ, к сожалению, не был напечатан и исчез навсегда. Я спрашивал себя не раз, почему он написал мне такие волнующие слова? Несомненно, это был свойственный ему педагогический прием — ободрить начинающего юнца, укрепить в нем веру в свои силы, толкнуть его на борьбу, разжечь в нем на долгие годы мечту о счастье, заставить дерзать и добиваться цели.

В 1902 году, чтобы вылечиться от лихорадки, я уехал в Забайкалье учительствовать. Прожил в захолустном поселье Ундинском учебный год, потом перевелся в другую школу при железной дороге около Сретенска (в поселке Кокуй). Здесь, в читинской газете «Забайкалье», я стал печататься непрерывно. Через эту газету прошел цикл рассказов «На каторге» и ряд других рассказов и очерков. Один из рассказов — «Беспокойный» — был принят в «Журнал для всех», но не увидел света: журнал закрылся.

Эти юношеские рассказы, еще художественно незрелые, и по сей день дороги мне: в них выразилось мое страстное стремление к правде и справедливости, к борьбе против рабства и черносотенной тирании.

Уже в те юные годы я испытал на своей шкуре все мерзости и кровавые жестокости капиталистической эксплуатации и полицейского режима. Суровая школа жизни воспитала во мне крепкую волю к знанию и жгучий гнев против угнетателей. Тогда же я впервые почувствовал гордость от сознания, что я принадлежу к рабочему классу, что только рабочий класс — единственно революционный класс, что только он готовит революционную бурю и решит судьбу России. Уже тогда были у меня хорошие руководители — сознательные рабочие, интеллигенция и студенты, связанные с пролетариатом. Я учился, много читал, много мучился над «проклятыми вопросами». И мне хотелось выразить в рассказах, в очерках все, что накопилось в душе. Годы подневольного труда, эксплуатации, бесправия, издевательств над человеческой личностью озлобляли людей, разжигали гнев, и они уже хорошо знали, кто их враг и кто их друг. Но еще не организованные, предоставленные самим себе, рабочие бунто-

вали в одиночку и часто опускались на дно. Об этом еще неумелой рукой и написаны были мои первые рассказы. Мой «добрый гений» и литературный вожатый Лука Мартынович Мельников как-то сказал мне: «Вы на верном пути, юноша. Чтобы не сбиться с него, держитесь как можно левее. У вас хорошая рабочая закваска, и вы добьетесь своего, только духа не угашайте».

Это были годы сипягинской и победоносцевской реакции. «Цензурная вьюга» свирепствовала вовсю. Я писал о рабочих, об угнетенных и бесправных людях, и этого было достаточно, чтобы вытравить из моих писаний дух протеста и мечту о свободе. Они беспощадно сокращались, а некоторые страницы «смягчались» и даже писались рукой редактора.

Такая судьба постигла рассказы и очерки, которые печатались в газете «Забайкалье». Редактор этой газеты писал мне: «Ваши рассказы литературны, новы, чувствуется в них свободное дыхание, бодрость, сила правды, и я печатал их с удовольствием». Однако их уродовали тяжелые руки цензора и того же редактора: они выходили из рамок «дозволенного начальством». Написанные мною в годы японской войны рассказы о женской каторге подвергались особенно яростной цензурной расправе. Не только вычеркивались отдельные абзацы и страницы, но и заменялись одни фигуры другими. Такую «чистку» весьма сильно испытали на себе рассказы: «Последние из разгильдеевцев», «Бродяга», «Не в тюрьме, не на воле» («Среди вольной команды») и «Три в одной землянке». Рассказ же «Малютка в каторжных стенах» не был напечатан — зарезан полицейской цензурой.

В нашей художественной литературе не была показана женская каторга, и я считал, что сделал первый почин в обрисовке характеров каторжниц — женщин, которых загнал в далекую Сибирь царский суд.

Впоследствии я отобрал из всего написанного в те годы наиболее типичное для моего литературного и революционного развития и постарался «оживить» рассказы, воплотить в них тот пафос, который гасили царские охранители «порядка и благочиния». Без этой

реставрационной и творческой работы рассказы эти теряли и художественную и идейную значимость.

В 1905 году я уехал в Тифлис — учиться в учительском институте. Революцию встретил в Грузии. Еще за год до этого я связался с читинскими большевиками и выполнял их поручения по распространению прокламаций и нелегальной литературы. В Тифлисе я вошел в социал-демократический кружок учительского института и близко сошелся с известным на Кавказе большевиком Ильей Санжуром, с которым весной 1906 года уехал в Ейск на партийную работу. В августе успели избегнуть ареста — спешно выехали из Ейска: Санжур — в Ставрополь, а я — в Забайкалье.

В Сретенске вместе с членом читинского ПК, Моисеем Губельманом, Иваном Бутиным, расстрелянным впоследствии семеновцами, и учителем Подсосовым был организатором большевистской группы. Работа велась нами среди приказчиков, железнодорожников и грузчиков на пристани.

Осенью 1906 года был арестован первым из группы (кстати, меня в то время разыскивала охранка) и отправлен в иркутский централ. Пребывание в этой тюрьме, через которую прошли Чернышевский, поэт Михайлов, Короленко, было для меня настоящим университетом. Там происходили ожесточенные дискуссии между марксистами и эсерами. Этот тюремный период изображен мною в повести «Старая секретная». Весной 1907 года я был отправлен на место ссылки — в Манзурку, недалеко от Верхоленска, где провел больше трех лет. Там написаны мною рассказы «Удар» и «В арестантском вагоне» и начата повесть «В изгнании» («Изгои»). Одна из иркутских газет отказалась печатать рассказ «Удар», как нецензурный, а читинская «Новая газета» хоть и приняла его, но прочистила очень основательно (это было время военного положения в Восточной Сибири и диктатуры Ренненкампфа). От большой же повести «Изгои» после неоднократных цензурных выжимок осталось лишь несколько отрывков. Принятая сначала в «Заветы», а потом в «Современник», она не появилась в печати, так как журналы один за другим были закрыты.

В 1910 году я освободился из ссылки и поселился в Новороссийске. Здесь служил конторщиком в мучном магазине, давал уроки, учительствовал в частной прогимназии, а потом приглашен был преподавателем в городское четырехклассное училище (переименованное потом в Высшее начальное училище).

В начале первой империалистической войны был назначен инспектором вновь открытого Высшего начального училища в большой кубанской станице и работал там до весны 1918 года. Здесь написан рассказ «Единородный сын», напечатанный Горьким в «Летописи», и вчерне набросана «Старая секретная», к которой я возвратился только в 1925—1926 годах.

С самого начала февральской революции активно принимал участие в Совете рабочих, солдатских и казачьих депутатов, был одним из организаторов советской власти в станице, избран был комиссаром просвещения, проводил учительский съезд с А. Хмельницким, виднейшим большевиком, который потом работал в Москве по составлению свода советских законов. Краснодарским наркоматом по просвещению я командирован был в Новороссийск для проведения реформы школы. В августе Новороссийск внезапно заняли деникинцы. Все члены совнаркома были схвачены, а партийные работники ушли в подполье. Я с некоторыми товарищами скрывался в рабочем поселке цементного завода «Пролетарий» и с первых же дней включился в революционную работу среди солдат, между которыми оказались знакомые фронтовики из кубанской станицы, настроенные по-большевистски; потом связался с красно-зелеными с помощью подпольной, организованной мною, группы учащейся молодежи. Тогда же я получил известие, что кубанское войсковое правительство постановило объявить меня вне закона, и был предупрежден товарищами о соблюдении строгой конспирации. С приходом Красной Армии выполнял ответственную партийную и советскую работу.

В августе 1920 года пошел добровольцем в Красную Армию против десанта Врангеля и работал потом в политотделе 14-й бригады IX армии. Зимою был отозван окружкомом и назначен редактором газеты

«Красное Черноморье», избран в члены окружкома и потом назначен заведующим отделом народного образования. Прикреплен был к партячейке цементного завода, где мне приходилось принимать самое непосредственное участие в организационных делах по восстановлению завода. Среди напряженной партийно-советской работы написал рассказ «Зелсня» («Волки»).

Осенью 1921 года с помощью Горького выехал в Москву, где работал сначала по народному образованию, а потом секретарем редакции вновь открытого журнала «Новый мир». С 1923 года стал литератором-профессионалом.

В 1922—1923 годах напечатаны рассказы: «Зеленя», «Изгои» и пьеса «Ватага», а в 1924 году закончил роман «Цемент», который начал печататься в январской книжке «Красная новь» в 1925 году.

«Цемент» писался по ночам в неприютной, холодной, похожей на одиночку подвальной комнатушке на Смоленском бульваре.

Летом 1927 года поехал на Днепрострой, где жил наездами до пуска электростанции в 1932 году. В «Известиях» печатал очерки о ходе стройки, а в 1933 году выпустил первый том «Энергии», через шесть лет — второй. В результате поездки по Запорожской области написал повесть «Новая земля» о людях социалистического земледельческого труда.

Ранее написанные повести «Огненный конь» и «Пьяное солнце» считаю порочными и чуждыми мне по духу и по форме и отвергаю их.

В 1941 году напечатал в «Новом мире» повесть «Березовая роща». Эта поэма о лесе и преобразовании природы — одно из самых дорогих мне произведений.

Во время Великой Отечественной войны писал много как публицист. Корреспондировал с уральских оборонных заводов в «Известия». За эти годы написал две книги под общим заглавием «Опаленная душа» и «Клятва». Очерки о Днепрострое и о новаторах производства на Урале изданы отдельными книжками. В 1945 году назначен был директором Литературного института им. Горького. Эта работа оторвала меня от

писательского стола на три года. Работая в институте, утвержден был Всесоюзной аттестационной комиссией в звании профессора.

«За выдающиеся заслуги в области литературы» награжден был в 1939 году орденом Ленина, в 1943 году в связи с 60-летием — орденом Трудового Красного Знамени, а в 1953 году — вторым орденом Ленина в связи с 70-летием.

В 1950 году мне присуждена была Сталинская премия второй степени за «Повесть о детстве», а в 1951 году — Сталинская премия первой степени за «Вольницу».

Книги мои переведены на все западные языки, а «Цемент» — на все языки мира. Летом в 1946 году был в Болгарии и Югославии и пережил истинное счастье: я узнал там, что мои книги помогали борьбе с фашизмом. Свою популярность среди широких народных масс этих стран я воспринял как признание того, что и я — участник их революционной борьбы.

Федор Гладков

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МАЛЕНЬКИЙ ГОРЕЦ

...Лежали мы с ним в больнице в одной палате и были соседями по койкам. Это был костлявый, высохший от болезни подросток — маленький горец из закубанского аула. Привезли его в больницу из далекого предгорья с воспалением легких, а потом у него открылось какое-то тяжелое осложнение. Его голова была, вероятно, очень тяжелой, потому что она у него беспомощно закидывалась назад, когда его поднимали с койки. Но огромные черные его глаза обжигали меня своим страдальческим блеском.

Лежал он на своей койке тихо, спокойно, без стонов, хотя ему делали довольно трудную операцию, и лишь по временам гортанно шептал: «Эй, тай фата пэт!..»

Одно время ему стало как будто легче. Он начал едва слышно петь свои черкесские песни, теребить складки теплого одеяла и страдальчески улыбаться. Но однажды вечером у него появился сорокаградусный жар. Он стал метаться и бредить. А когда приходил в себя, мучительно просил:

— Эй, тай фата пэт!..

Когда няня Макаровна, рыхлая старушка с суровым лицом и ласковым сердцем, подносила ему стакан ко рту, он судорожно хватал его костлявыми ручонками.

Однажды пришли навестить его отец с матерью. В это время он лежал в забытьи, полузакрыв глаза. Отец сел около его изголовья, а мать, склонив над его смугло-желтым личиком свою голову, беззвучно заплакала. Не знаю, что его разбудило: услышал ли он запах родного аула, или плач матери, — только открыл испуганно свои глубоко запавшие глаза и вдруг громко зарыдал.

— Выведите вон этих уродов!.. — закричал один из больных, молодой чиновник Гремяцкий, который лечился от гнойного плеврита и постоянно кашлял. — Вон их!.. Они и своего черкесенка и меня доканают... вонючие и грязные дикари...

Кое-кто начал его стыдить, но тот как будто нарочно закашлял, надрывая грудь и вытаращив глаза, сел на койке и замахал руками:

— Уберите этих животных!.. Я не хочу подыхать. Пускай заберут своего гаденыша!..

Прибежали сестра с фельдшером и вывели горцев. Мальчик замер и лежал неподвижно до самого вечера. А вечером ему стало хуже. Он то и дело просил пить.

— Сорок и две... — объявил фельдшер вечером, измеряя температуру и записывая ее в «скорбный лист».

Палата даже ахнула от удивления:

— Эх, брат ты мой, откуда что берется!..

— Пожалуй, не выдержит — сгорит.

— Ведь в чем душа держится — соломиной перешибешь... а живет, отбрыкивается от смерти.

Мать с того момента больше не приходила. Должно быть, не пускали ее служители, чтобы не расстраивать мальчика, а может быть, сама не хотела терзать себя при виде больного сына. Отец же продолжал являться в приемные дни аккуратно в двенадцать часов, как раз к обеду. При каждом своем посещении он приносил ему свеженький апельсин.

Один раз он принес кусочек черкесского сыру. Али торопливо схватил его из рук отца и начал жадно есть. Хорошо, что увидела вовремя няня, а то быть бы беде: сыр был ему вреден.

Среди более культурных людей я мало встречал отцов, которые бы так нежно относились к своим детям, как этот черкес к своему больному Али. Это был уже пожилой горец со смуглым, почти темным лицом, с большими, навыкате, налитыми кровью, глазами, широкою грудью и плечами. Со слезами на глазах он нежно целовал сынишку, тихо говорил ему ласковые слова, брал в руки его голову и долго смотрел в худое, остренькое личико.

— Пускай ваша смотрит его... — с мольбою говорил он, обращаясь ко всей палате и указывая рукою на мальчика. — Его больной... его маленька ребятка...

И он уходил из палаты, сокрушенно качая головою.

После посещения Али матерью он часто подзывал к себе няню и спрашивал у нее:

— Мамка наша приедет?.. Мамка наша на аул?..

Его утешали, назначали ему нарочно день приезда матери, и он успокаивался. Но не проходило дня, чтобы он не спрашивал:

— Мамка наша приедет?.. Мамка наша на аул?..

Когда же няня Макаровна, раздраженная тоскливым его голоском, прикрикнула на него, он побледнел, мучительно застонал, начал извиваться, как в судороге, и ломать свои смуглые костлявенькие ручонки.

— Ишь какой живущой черкесенок!.. — уже добродушно проворчала она. — Забунтовал!.. Смирно лежи, Алишка, — повязки сдвинешь!..

Я не выдержал и упрекнул ее:

— Как тебе не совестно, няня! Если бы это был твой больной ребенок, разве ты так обращалась бы с ним?

Она смущенно огрызнулась и вышла из палаты. Одни из больных одобрительно зашумели, другие недовольно забормотали. А Гремяцкий хрипло закашлял и зарычал:

— Ишь сердобольный какой!.. Молчал бы, босяк! Тут больница, а не ночлежка... У меня — гнойный плеврит, и я требую покоя, а мне нервы треплют какие-то инородцы и босяки...

Ночью Али метался и бредил, и на жалобный его

писк няня не являлась: вероятно, она спала где-то в коридоре или вышла посудачить с санитарками.

Надсадно кашлял Гремяцкий, и глухо рокотали в коридоре стоны и жалобы больных из других палат.

— Эй, тай фата пэт!..

— Перестань ты, сволочонок!.. — яростно закричал чиновник. — Вот встану и выброшу тебя из палаты, чтоб не скулил, как щенок... Почему эту черкесскую погань всунули именно в мою палату?

— А вы сами не кричите, господин хороший, — упрекнул его кто-то из больных. — Кроме вас, здесь и другие больные, и все одинаково равны, и все имеют право стонать и скулить от боли.

Чиновник сел на постели и, задыхаясь от злобы, выхватил свою трость из-под тюфяка.

— Я ненавижу этих дикарей! Если бы мне дали волю и силу, я бы их всех перебил, чертей... Жиды да инородцы — гнусная тварь. Это — не люди, а черви на нашей земле. Я бы их всех собаками затравил.

Чей-то голос, больной, но насмешливый, съязвил:

— А тебя, полубарин, не только собаки, а и крысы не понюхают.

Кто-то сдавленно засмеялся, кто-то недовольно заворчал, а Гремяцкий надсадно и угрожающе захрипел:

— Я не позволю... Я — кандидат на судебные должности, я ожидаю назначения на должность товарища прокурора. Я от государя императора Станислава третьей степени имею... А за такие речи и намордник полагается.

— За доносы и наговоры ты, должно быть, и Станислава получил, — спокойно и уверенно заключил больной.

— Фата пэт!.. Тай фата пэт!..

— Нянька!.. Дура!.. Где ты пропала?..

Нянька сердито вошла в палату и, вся белая, крупная, заслонила собою кровать Али, сурово повернула к Гремяцкому свое крестьянское лицо и басовито укротила его:

— Ну, чего шумишь-то, как в трактире? Только тебя одного и слышно. Образованный человек, а на бедного парнишку зверем кидаешься...

Она налила из графина воды в стакан, бережно подняла головку Али и поднесла стакан к его губам.

— Без матери-то вдвойне мучается, бессчастный. Попей, милок, попей!..

Она поставила стакан на столик и погладила Али по груди и по ручкам.

— А ты, больной, ваше благородие, — обратилась она к Гремяцкому, — побойся совести.

Ночь. Дремлет унылая тишина, прерываемая стонами больных, шлепаньем туфель по полу длинного коридора. Бьют часы, и мягкий мелодичный звон плывет и медленно замирает. Электрическая лампочка светит тускло, казенно.

— Аул... аул... — бредит Али и что-то бормочет на своем языке. Он дышит шумно, прерывисто и вдруг вскрикивает жалобно: — Ай, тай фата пэт!..

Гремяцкий начинает что-то со злобою бормотать про себя и нетерпеливо возиться под одеялом.

— Эй, тай фата пэт!.. — пищит Али и мучительно всхлипывает.

— Будь ты проклят, эфиоп дьявольский!.. — неистовствует Гремяцкий и яростно звонит в больничный колокольчик.

— Нянька... Глуха ты, что ли? Заткни глотку этой обезьяне!

— Да вы, господин Гремяцкий, не сердите себя, вам вредненько... — слышится слабый голос его соседа, старого казака одной из ближайших станиц.

— Вы знаете, — говорит Гремяцкий, гримасничая от ненависти. — Вы знаете, мне дурно от этого отвратительного писка... Он — рядом со мной... Втиснули его сюда... и я дышу с ним одним воздухом... Жид, черкес, грузин и вся подобная сволочь всегда, я говорю, вызывает у меня чувство омерзения... Кто смеет унижать мое достоинство? Завтра же заставлю врача выбросить поганца из палаты. Нянька! Не давать ему пить! Я приказываю! Ты избаловала его.

Няня недоброжелательно ворчит:

— А чем вы для меня дороже этого сиротки? Ему тяжелее вашего: один средь чужих людей, да еще злых, как вы вот...

Гремяцкий садится на кровати и, свирепо выпучив глаза, хрипло кричит:

— Ну, ты... баба! Как ты смеешь говорить мне дерзости?.. Развольничались... У тебя, должно быть, и в семье пролетары водятся. То-то от тебя помойкой смердит.

— Я — сама по себе. Какая есть — такая и буду. Я ухаживаю за вами и не брезгую... а вы, образованный, вместо спасиба в лицо мне харкаете.

— Молчать! Вон отсюда!

На койках охают и стонут больные. Некоторое раздраженно протестуют:

— Долго еще барбосить будете? Покою и ночью нет.

Рабочий Кудреев, болезненно-худой, с крупными складками на сером лице, поднимается с постели, опускает ноги на пол и говорит спокойно, твердо, бодрым голосом здорового человека:

— Останься, Макаровна! Погоди! Не защищать тебя хочу: ты и сама умеешь постоять за себя. Тут вот Станислав третьей степени — не на своем месте: ему с нами, с пролетарами, с судомойками да с инородцами, лежать унизительно, непристойно... Как же это врачи-то недоглядели?

Он накидывает на плечи халат, медленно и тяжело идет в шлепанцах к койке Али, трогает его лобик и качает головой.

— Плох ты, милок... Горишь весь, бедняжка... Ты уж, Макаровна, подежурь около него. И пить давай и салфеточку на голову.

Гремяцкий сидит на койке и с брезгливой подозрительностью следит за Кудреевым. Но когда Кудреев направляется к нему, он опускается на подушку, болезненно, со свистом кашляет и, как будто не замечая Кудреева, сплевывает мокроту в посудину. Кудреев терпеливо ждет, когда он перестанет кашлять, и, заложив руки за спину, шепчет что-то на ухо няне. Она испуганно отступает от него, но сразу же соображает

что-то и, сдержанно усмехнувшись, торопливо выходит из палаты. Кудреев сурово оглядывает койки и добродушно спрашивает:

— Ну, как, друзья? Надо бы этого барина третьей степени вызволить из нашей вахлацкой палаты, которая смердит аульным черкесенком. Знаю, что все сочувствуют: кто, в пару мне, охотник потрудиться?

Кто-то едва слышно смеется, кто-то ворчит недовольно, кто-то со стоном хрипит:

— Давно пора. Деятельный человек горами двигает... не только что господами третьей степени...

С койки, соседней с койкой Али, молча поднимается молодой парень Рябишкин, который всегда молчит в тугом раздумье, и подходит во всем нижнем к Кудрееву.

— Я — готов.

— Добро, — поощряет его Кудреев. — Ты — позади, а я — с головы: вывезем эту благородную коечку за дверь.

Гремяцкий перестает кашлять и ошалело глядит на Кудреева.

— В чем дело?

Парень неохотно сообщает Кудрееву:

— У нас и похлеще господ на тачке вывозили.

Он легко отодвигает кровать назад, а Кудреев поворачивает изголовье к выходу. Кровать легко ползет к открытой двери.

— Что вы делаете, хамье? — оторопело и беспомощно кричит Гремяцкий. Он хочет соскочить с койки, но парень угрюмо осаживает его:

— Не шевелься! Мы тебя подкинем на покой — к отхожему месту. Ведь туда царь ходит — значит, тебе там и быть заподлицо. Волоки его, Кудреев!

Койка из двери ползет в коридор, а парень злорадно подмигивает больным. Гремяцкий растерянно застывает на койке, словно окрик парня и суровая решительность Кудреева пришибли его до сильного испуга.

— Озоруют ребята...— ворчит кто-то из больных.— Дурачество... Ежели хвораешь — лежи... а то и самих выбросят на улицу...

Но кое-кто хихикает с болезненными вздохами, а кто-то одобрительно мычит сквозь стон:

— Давно бы пора... гнилую эту кикимору... на шиш посадить... Ишь над малолетком кочевряжится... Псенок, дикарь, дескать... А заодно и нашего брата хамьем костит... Не иначе, баклуши бил да пьянствовал с девками... Ну, и загнил... Сам-то дохает, как осел, — никому от него покою нет...

Клокочущий бас съязвил, превозмогая тяжелую одышку:

— У этого барина нет уже и репы пареной... Ершится спесь, да нечего есть... Пущай в пустом коридоре поелозит.

Говорил, хоть и трудно, глухо, с передышками, но складно, без натуги, и слова его как будто сами усмехались угрюмо.

— Этот на судебные должности — кандидат!..— зло продолжал сиплый голос из дальнего угла. — Он рассудит. Вот у меня кости на ноге машина искрошила. Куда я ткнусь, калека? А способие мне хозяин не дает. Адвокат снахальничал: у нас, говорит, законники монету любят, — привыкли наряжаться, как бухарцы. Коли, говорит, у тебя нет монет — гуляй хоть на тот свет. Они монету-то из пота и крови моей чеканили. У них не только суд да полиция, а господь бог на побегушках.

— Не кощунствуй! — угрожающе осадил его сосед старик, лысый, с жиденькой бородкой и усами, который постоянно творил молитву после каждого вздоха и стона. — Ты знаешь, какая за это кара падает на нечестивца?

Рабочий поднял голову, опираясь на локоть, и окрысился на него:

— Аль с доносом поползешь? Не выползешь, лысая крыса!

— О господи милостивый, — сокрушенно вздохнул старик. — Прости ему согрешения его.

В коридоре хрипло ругался Гремяцкий, задыхаясь от ярости. Но Кудреев невнятно пообещал что-то, и Гремяцкий замолк. Кудреев и парень вошли в палату молча и направились к своим койкам.

Али пискливо бредил. Няня не появлялась в палате. Мне было мучительно смотреть на страдания мальчика, но я сам горел в жару после операции. Парень налил из графина воды в стакан и бережно поднял коротко остриженную головку Али.

— Пей, милок! Давай-ка я тебе полотенце намочу и на лобик положу. Ничего, брат, потерпи, — с нами не пропадешь. Тут и дядя Кудрей и другой народ, который во всяких переделках был... И вот паренек... (он кивнул в мою сторону) по другую-то сторону от тебя... видишь, как о тебе жалкует? Так ему и хочется лечь рядом с тобой...

Мы улыбнулись друг другу, и эта его улыбка так меня взволновала, что я едва сдержал слезы. В этом белобрысом парне, который до сих пор лежал неприметно, я почувствовал близкого друга.

— Ну-ка, ложись, Рябишкин! — озабоченно распорядился Кудреев. — Тебе, голова, еще рано тормошиться. Прибежит сестренка — бедовое усмирение будет...

— Ничего... мы к усмирителям привышны...

Он подмигнул мне с той же душевной улыбкой и лег только после того, как положил на лоб Али мокрое полотенце.

В палате наступила тишина. Даже Али успокоился, хотя дышал хрипло, со свистом. Только старик вздыхал благочестиво и творил молитву. Окна чернели ночью, и оранжевая завитушка в пузырьке электрической лампочки отражалась в верхних стеклах окна тусклыми запутанными ниточками. Иногда глухо и далеко звякал звонок трамвая, да изредка цокали копыта. За окнами была ранняя весна, деревья, должно быть, набухали почками, и на бульварах и в городском саду пахло молодой травкой и мокрой землей. А здесь — душно и дурманно пахнет эфиром и иодоформом.

Но вот появляется в палате толстая, с жирными оплывами на курносом лице старшая сестра милосердия во всем белом. Она ведет Гремяцкого в нижнем белье, который притворно стонет и беспомощно

висит на ее руке. За ними няня Макаровна сердито вкатывает койку и, брякая, ставит ее на старое место.

— Вы что же это безобразничаете, господа? — строптиво кричит сестра, вскинув голову в белой косынке. — Вы больные и над больным же издеваетесь!

Кудреев спокойно, с достоинством отвечает:

— Вы бы, сестрица, потише себя держали: здесь — больница, а не полицейский участок.

— Как вы смеете говорить мне дерзости, больной?

Кудреев спускает ноги с постели и с суровой кротостью советует:

— Не скандальте с больными, сестрица, а пришлите лучше сиделочку к мальчонке: он без памяти лежит — мучается. А так как он этому барину третьей степени не по нраву — инородец, дескать, дикарь, псёнок, — мы его от нас, хамов, и выволокли в коридор. Мы — одной породы, он — другой... Возьмите его к себе, к благородным, и нам будет спокойней и парнишке легче, а то его этот нервный-то совсем доканает.

— Место его — здесь, — с враждебной холодностью обрезает сестра. — А сиделок у нас нет. Его наблюдает доктор, и ухаживает няня.

— Ну, ежели этот нервный барин будет потерпеливей и не станет надоедать нам, пускай лежит здесь. А ежели не перестанет травить мальчонку, потребуем убрать его подальше.

— Вот видите, сестра, что это за народ? — надсадно кричит Гремяцкий. — Они еще смеют требовать. Сегодня расправились со мной, завтра возьмутся за вас, а потом за врачей... Дальше забунтуют против своих хозяев и властей...

— Ого, куда петлю закинул! — засмеялся парень. — Чего доброго и на сук вздернет.

— Да, да! — рванулся к нему Гремяцкий. — Так оно и будет... Так и будет... Это из таких, как вы, сбиваются шайки бунтовщиков и разбойников...

— Нет, барин третьей степени, — спокойно и веско отражает его Кудреев. — Мы с такими не в ладу.

Мы — народ трудовой. А вот вы, как видим, всех нас готовы перевешать, как собак.

Гремяцкий что-то хочет крикнуть, но захлебывается от кашля. Сестра, несмотря на свою тучность, легко бросается к нему и ласково укладывает его в постель.

— Не волнуйтесь, умоляю вас! Успокойтесь!.. Я пришлю к вам дежурную сестру... Ах, какие у вас нервы!..

Рабочий с ампутированной ногой ехидно спрашивает:

— В чем тут загадка, сестра? Для тяжкобольного мальчонка у вас сиделки нет, а для этого господина и дежурная сестра готова?

Но сестра как будто не слышит вопроса рабочего: она заботливо прикрывает Гремяцкого одеялом, наливает в ложку какого-то лекарства из пузырька и бережно подносит ко рту Гремяцкого. Но он отталкивает ее руку и, тяжело дыша после кашля, тоном приказа говорит:

— Я не могу выносить этого... вонючего черкеса... Ему здесь не место... среди русских... Выгнали их, дикарей, за Кубань, в предгорья, пусть там и сидят в своих саклях.

— Ого! — зло ликует парень. — Черкесы — скоты, мы — хамы. Он еще и нас захочет вышвырнуть отсюда... Зафорсила сила!

Сестра выпрямилась, выставляя свою раздутую грудь.

— Больной! Не беспокойте других. Ночью положено спать. Из-за вас и соседние палаты встревожены.

— Кто это сказал? — густым басом мычит рабочий с отрезанной ногой.

— А это не из-за нас, сестра-барыня, — с притворным простодушием возражает парень.

— А из-за кого же? — высокомерно спрашивает сестра. — Разве не вы издевались над этим больным? Почему он очутился в коридоре?

— Ах, вот этот? — с насмешливой наивностью фистулой поет парень. — Ну, ежели в коридоре ему скучно, мы его вам в дежурку доставим.

— Вот, вот! — злорадно кричит Гремяцкий. — Видите, к каким босякам и инородцам вы меня водворили?

Сестра важно и гневно проплывает к парню и нечаянно двигает бедром койку Али. Он плаксиво взвизгивает, вскакивает на колени и с безумным ужасом смотрит на сестру. Потом опять падает на постель, к краю койки, и сваливается на пол. Парень вскакивает, поднимает Али с пола, бережно укладывает его на постель и укрывает одеялом.

— Я доложу главному врачу, и вы завтра же будете выписаны из больницы, — объявляет ему сестра и плывет обратно.

Но Кудреев, накинув одеяло на плечи, решительно шагает за нею, хотя и крючится, как горбатый: вероятно, он растревожил рану, которая еще не затянулась после операции.

— Сестра, остановитесь! Погодите-ка! Пришлите, пожалуйста, дежурную сестру — у меня повязка съехала и раздирает шов.

Сестра медленно оборачивается к нему.

— А зачем вскочил? Сейчас же в постель! Достукался! Дежурная сестра находится у тяжелобольного. Перевяжем утром.

— Но ведь вы хотели прислать ее вот к этому... гнойному плевриту?

Бледное, худое лицо его в крупных складках и морщинах на лбу и на щеках требовательно-сурово. Видно, что в ответе он не нуждается, а встал с постели и подошел к сестре, пренебрегая опасностью разорвать шов, с другой целью.

— То же вот с этим малолетком, сестра: он без памяти сгорает. К нему-то и надо бы сиделку приставить.

— Это не ваше дело, больной.

— А вдруг ребенку будет совсем худо? Без ухода ребенок-то... брошенный вами... Нам, что ли, прикажете по очереди ухаживать за ним? И потом вы испугали его, и он упал с койки. Почему вы не подняли его? Ведь он без памяти? Вместо того чтобы помочь ему, вы набросились на больного Рябишкина. Угро-

жать больным вы не имеете права. Мы все здесь не допустим вашего самоуправства.

Сестра поражена смелыми словами Кудреева и застыла от неожиданности. Потом вздыхает, смущенно улыбается и подходит к койке Али. Она внимательно оглядывает его, прикладывает пальцы ко лбу.

— Действительно... сгорает бедный ребенок... — растерянно шепчет она на ходу. Но из палаты не выходит, а подплывает к Кудрееву, который сидит на койке и смотрит на нее с усмешкой в глазах. — Я сама исправлю вам повязку, ложитесь, больной!

— Не требуется, сестра: повязка — в порядке. А за мальчонку — спасибо.

— Я все-таки пришлю к нему дежурную... И сама буду наведываться.

— И за это—спасибо! — кротко благодарит ее Кудреев. — А вот встал-то я затем, сестра, чтобы усовестить вас за Рябишкина. Хоть по болезням здесь не все одинаковы, но как больные все равны. И нехорошо потакать человеконенавистникам. От всех больных говорю: ежели этот судейский господин не угомонится, мы сумеем его усмирить. А лучше, ежели вы его удалите.

После ухода сестры настает тишина. Кое-где похрапывают больные. Кто-то жалобно стонет во сне, как в бреду. Али опять мечется и просит пить. Он бормочет по-своему и всхлипывает.

Гремяцкий вскакивает с койки и с искаженным от ярости лицом, с тростью в руке, подходит к койке Али.

— Животное! Жаба! Перестань!..

Рябишкин молча вскакивает с койки, вырывает палку из руки Гремяцкого.

— Не шали, паразит!.. — тихо и властно говорит он. — Марш в свое гнездо! А тросточку эту попридержу у себя.

Гремяцкий, трусливо сгорбившись, семенит к своей койке.

В час обеда робко вошел черкес. Он настороженно оглядел палату и устремился к своему Али, но не поздоровался, не приласкал его, а застыл в странном

оцепенении. Али стало полегче, и он лежал неподвижно и молча. Отца он встретил как-то равнодушно, только протянул к нему худенькую смуглую ручку. И как только отец почувствовал прикосновение пальчиков Али, он сразу же очнулся, припал к сынишке и стал целовать его, бормоча нежные слова, похожие на причитание. Али заплакал и обнял его. В своем коричневом бешмете с пустыми газырями, туго подпоясанный узким ремнем в бляшках, с черной стриженой бородой и зоркими глазами навыкате черкес казался стройным и бравым. Рябишкин встретил его улыбкой и приветливым взмахом руки. Гремяцкий же проводил его до койки Али брезгливым и враждебным взглядом.

— Ну, вот посмотрите на него... — презрительно пробурчал он. — Кто его будет любить такого, черт возьми, чудовища? Ненавистное племя... разбойники... зверье...

— Господин Гремяцкий! — сурово и спокойно одернул его Кудреев. — Тут зверья нет и разбойники не водятся. Вы считаете себя образованным человеком, а ведете себя хуже босяка.

— Что такое?

— А дело этакое простое: не смейте издеваться над трудовым человеком — вы пальца его не стоите.

— Ты — мерзавец и хам. На твоем отце мой отец верхом ездил и порол плетью.

— Да не удержался... — в тон ему под общий смех закончил рабочий с отнятой ногой. — Заноровился, залягался хам, поднял тарарам, да хряпнул его к чертям.

— А барин свихнулся, — продолжал Кудреев, — просадил последние монетки и монатки и подох в грязи у трактира.

Гремяцкий притворился неуязвимым и глухим к насмешкам больных.

Няня принесла обед Али — суп и котлетку. Черкес неторопливо засучил рукава, взял тарелку и с оторопью осмотрел аллюминиевую ложку со всех сторон. Потом поставил тарелку на столик, любовно приподнял Али и прислонил к подушке. Али повеселел и с болезненной улыбкой смотрел на отца большими груст-

ными глазами. Неожиданно богобоязненный старичок, прожевывая котлетку, тоненьким скрипучим голоском крикнул:

— А котлетки-то свиные. Мусульманам воспрещается чушек есть.

— Ну, ты... церковная крыса! — гаркнул на всю палату Рябишкин и угрожающе сел на кровати.—Я не посмотрю, что ты облез от старости: за обман и издевательство башку сорву...

Старикашка, довольный, похихикивал.

Рабочий с оторванной ногой спросил его угрюмо:

— Это ты для спасения души соврал? Сколько лет у церковной кассы подлостью торговал?

Гремяцкий засмеялся и совсем здоровым голосом съязвил:

— Ну-с, черкесу и его выродку еще никто такую пулю не отливал. Русский человек умеет и без ножа поразить в самое сердце...

— Это — не русский человек! — гаркнул Кудреев и встал с кровати. — Это — черносотенец и гнойная падаль, как и ты, человек третьей степени.

Черкес вдруг торопливо вскочил со стула, с размаху бросил на пол ножик и вилку и выбежал на середину палаты. Он был страшен. Глаза его зловеще засверкали, а борода судорожно задрожала.

— Сволочь ваша!.. Негодяй ваша!.. — задыхаясь, выкрикивал он. — Не люди ваша... волки... Наша не делает худо... ребенка любит... А вы не чушка едите, а человеков живых зубам дерете...

Все глядели на него с изумлением; никто не произнес ни одного слова. Гремяцкий, сидевший на своей койке, как-то странно улыбался и крутил свои небольшие усики.

Черкес, как пьяный, подошел к койке Али, сел на стул и закрыл лицо руками. Али с ужасом глядел на отца и плакал.

Вдруг черкес порывисто встал, подхватил Али на руки и быстро вышел с ним из палаты.

1901

У ВОРОТ ТЮРЬМЫ

Пестрая толпа стояла у ворот тюрьмы и терпеливо дожидалась свидания с узниками.

Мрачное здание, высокие желтые стены, тихо двигающиеся фигуры часовых с ружьями, могильная тишина, изредка прерываемая зловещим грохотом тяжелых железных запоров и невнятными криками за воротами на тюремном дворе,—все это угнетало и тревожило людей: они оглядывались на каждое звяканье калитки, окованной железом.

Люди разговаривали тихо и робко, с болью в глазах смотрели на тюремные ворота, бродили в тесной толпе, прислушивались к разговорам, и сами заводили разговоры, чтобы заглушить свое томление.

— Жалко их... всех и каждого... Ну-ка, посиди в каменной клетке... Только, по-моему, все там за дело сидят. Даром не посадят... — пищит молодая бабенка в белой косынке. — Сколь вот я сюда ни прихожу, ни разу не слыхала, чтобы кто признал своих арестантов преступниками. И тот говорит: «мой понапрасну», и другой говорит: «мой понапрасну...» А после суда, глядишь, одних закандалили, других — на поселение... Я вот не таюсь, не вру: сидит у меня муженек за милое дело — стеклодув он — зверю и обирале нос поджарил и зад сварил.

— Чего ты стрекочешь, сорока! — вдруг рассердил-

ся стоящий поодаль молодой человек в теплой дубленой шубе и с корзиной в руке. — Я сам вот намедни вышел из острогу. Год сидел... и сидел понапрасну.

— А почем я знаю, что ты понапрасну сидел... — засмеялась в ответ бабенка. — Ежели бы не запутался, да без улик, да был бы у тебя ангельский лик, не сидел бы за решеткой.

В толпе засмеялись, но смех был натужный, тусклый.

— Ну, я и говорю: батюшка, что это ты наделал? А он закрыл глаза и застонал: сам не знаю, родная, — грех попутал... — тихо говорит бедно одетая старуха с мешком у ног.

Около нее скорбные бабы молча качают головами, вздыхают, но мне кажется, что они не слушают ее, угнетенные своими думами.

— Грех, говорит, попутал... Ну, и взяли его, сердечного... Допрос...

— Тут он сзади топором ее... Так всю голову и раскроил... — вдруг заглушает рассказ старухи раздавшийся откуда-то из толпы громкий мужской голос. — Так, говорит, кровь-то мне в физиономию и брызнула. Шваркнул, говорит, я оземь топор-то, упал на нее и завопил...

— Подчиняться надо... Потому — закон, — раздается откуда-то философское заключение. — На законе вся жизнь состоит.

— Разве мой-то такой, как другие? И сказать нельзя, как он любил меня... Ой, как любил, боже мой!.. — плачет неподалеку от меня женский голос. — Что же теперь будет со мной? Только и остается одно — умереть...

Невдалеке от толпы стоит высокий казак в черном бешмете и серой мохнатой шапке. Седые усы его прокурены до табачного цвета, а борода измята, в клочьях. И как-то странно было видеть у этого коренастого казака опухшие от слез глаза и дрожащую улыбку оглушенного горем человека. Он рассказывал что-то рядом стоявшей женщине с темным застывшим лицом. Около его ног лежал большой мешок с провизией.

— Вот два воскресенья уже не пускают... два... Да и поездка... она чего-нибудь да стоит... Пьяный, говорит. А тут какое пьяный! До водки ли?.. Насилу ноги таскаешь... — слышу я его старческий голос, полный тоски. — Дочка-то в остроге... а дети дома остались, плачут... Горе великое!..

— Не ты первый, не ты последний... — равнодушно утешает его женщина. — Не кручинься — бог милостив... Чего это с тобой стряслось-то? Дочка-то за что попала в эту могилу?

Старик надрывно вздыхает, судорожно встряхивает головой и растерянно улыбается. В этот момент он действительно похож на хмельного.

— Недлинная история, а больно уж горя много принесла... Отдал я ее, дочку-то свою, в хорошую семью, верст за двенадцать эдак. Со свекром-то ее мы в одном полку служили, товарищами были. Человек он был крупный, высокий, голос — что твоя труба. Сын тоже в него удался, только карахтером попроще был. Тот, бывало, всякого проведет, да еще и посмеется после-то, а этот все, бывало, молчит или песню под нос напевает... А горячий был, не приведи ты господи! Бывало, спроть него слова не скажи... Сейчас оскалит зубы, сожмет кулаки да так и готов человеку по скулам дать. Таков уж был нрав дурацкий. Взяли его на службу, в Петербург, в гвардию. Служит год, два, а на третий — хлоп: известие через станичное правление шлют, что, дескать, богу душу отдал. Просят хлебом-солью поминать да панафиду служить. На джигитовке, говорят, сплошал. Лошадь, сказывают, спотыкнулась, подмяла его под себя да спину-то ему и переломила. Повыла, повыла моя Дашка, дочь-то, да ко мне опять жить и перебралась. Что делать, принимать надо, выгнать не выгонишь... Прожила она в семье у меня недолго. Пошли ссоры, ругань... Невестка особенно на нее бросалась. А у меня, кроме Дашки, сын Максим. Он, конечно, готов был вытолкать ее со двора, да старуха ее заслоняла. Слава богу, что детей не было у Дашки, а то совсем беда бы. Пробовал было и я за нее словечко замолвить, — да куда! Чуть Максимка бороду не выдрал. Что тут делать? Одно

слово, совсем житья не стало. Жил в те поры у нас в станице, у моего соседа, работник, Кузьмой его звали. Человек он не то чтобы был молодой, да и старым его назвать нельзя было. Мужчина был высокий, плечистый и на цыгана похож. На разговор был не охотник, но скажет слово, поглядит на человека в упор и как будто под сердце ударит. Ежели ему не нравилось что али поступки человека не по мысли были, так он молча усмехнется, посмотрит пристально в глаза и, кажется, всю душу твою наружу выворачивает... Даже хозяин, сосед мой, не раз говорил: «Боюсь, говорит, я что-то его... боюсь, да и только, словно он хочет меня жизни лишить. А рассчитать, говорит, не могу, потому на работу в редкости такой человек попадается...»

Соберутся, бывало, станичники около какой-нибудь хаты по душе поговорить. Иной раз и он подойдет. Сядет и слушает. Обо всем говоришь, конечно... Слушает он, слушает да так до конца и не скажет ни одного слова, а про себя усмехается в бороду. Раз как-то в праздник старики разговорились о том, что жизнь наша казацкая не такая стала, как прежде,— расшатывается, исконные куренные обычаи забываются. Чистого казачества уже нет: иногородние богатеи забирают силу, часто роднятся с казацкими семьями, а сами казаки на торговлю переходят и многие в город удирают. Сидели мы около моей хаты на бревнах, и Кузьма был тут же. Вдруг он спрашивает:

— Как же она, жизнь-то ваша, идти должна?

Ну, все молчат — неохота с ним связываться: не свой человек — городовик, казацкому укладу чужой. Бывало, кто позлее, иной раз спросит его:

— Чего, дескать, про себя таишь, какие думы ты думаешь: откровенно не живешь, как все люди, а словно бы камень за пазухой держишь.

А он ответит дерзко:

— Живу как хочу, как душа велит. А думы мои вам, заядлым куркулям, непонятные. Вы, кроме своего казацтва да верного подданства, ничего не хотите знать. А ведь деды ваши когда-то вольными запорожцами были. Вы от всего нашего русского народа отго-

родились своими богатыми наделами. А свет велик, и много в нем горя, нужды и терпенья. Много умных людей, много мучеников за народную долю — таких же, как были ваши деды и прадеды, а вы уж не вольные казаки, а только конвойные над народом.

Вот через этого-то Кузьму и случилась эта история. Подходит Дашка к нам со старухой и — прямо в лицо:

— Не хочу,—говорит,—жить в этой хате, не хочу,— говорит, — снохе и Максимке уважку делать. Пойду с Кузьмой жить. Кузьма один, — говорит, — больше привету даст, чем все вы...

— И не упоминай, говорю, про него! Не нашей он крови, не казак, а бродяга.

— Это я, — говорит, — известие вам даю, чтобы вы знали. Я слову своему не изменщица: пойду, да и только!

Кинулся было я на нее с кулаками, да зарыдала она и за дверь выбежала. Я — к старухе, ругаюсь:

— Ты,— говорю,— что?.. Потатчицей, что ли, была?..

Ударил ее легонько. А она заплакала, да и бормочет:

— Грех, — говорит, — тебе, старик... Кто потакает ей, коли она сама отчаялась от добрых людей. Шайтан с ней. Пускай что хочет, то и делает. Я ей не указ.

Женщина улыбнулась натужно и сказала сквозь зубы:

— Карахтерная девка. Сейчас бабенки другие стали, не как мы, — с норовом.

Старику, должно быть, понравились слова женщины: он вздернул голову в лохматой папахе и похвалился:

— Казацкое отродье, лыцарское... ничего не скажешь...

— Ну, а дальше-то что? — поощрила его женщина, оглядываясь на ворота тюрьмы.

Старик тоже метнул туда тревожный взгляд.

— Ну, забрала Дашка всю свою хурду-мурду. Наутро всей станице стало известно, что Кузьма от хозяина рассчитался, нанял квартиру и взял к себе нашу Дашку на содержание. Все прямо диву дались. В станице долго сплетничали да судили-рядили и так и эдак. А Дашка за это время и на глаза нам не показыва-

лась, даже на улице вместе с своим любовником редко появлялась: людей ли стыдилась, али еще что мешало им — бог их ведает. Только как-то приходит ко мне сам Кузьма и говорит:

— Вот что, старик, ты Дарью прости и не вреди нам. Она ни в чем не виновата. А ушла она ко мне оттого, что ее у тебя обижали. Баба она хорошая. Ежели родители не хотят ее защитить, кто же ее защитит? Умная она баба, знает, где правда зарыта. Верная баба. Полюбились мы крепко. Беззащитная она... Ведь баба у нас везде беззащитная... Ну, жалко мне ее стало.

— Черти вы, — говорю, — бестолковые. Подумайте, сколько славы пустили по станице...

А он посмотрел на меня и говорит с улыбочкой:

— Слава, — говорит, — дешево стоит. На то и языки у дураков привязаны.

Говорит это да усмехается, и в этой усмешке я в первый раз увидел доброту его и разумность. Хотел было я тогда поломаться немного, да старуха моя заплакала:

— Бог ее простит... Разве мы ей лиходеи какие, разве она не детище наше, разве она не наших кровей?..

Горько мне тогда на душе было, да и досада разбирала здорово: почему, значит, родная дочь отца ослушалась и против воли его пошла...

— Ну, что же, старик, аль, — говорит, — на тебе грехов мало? — Сказал этак, вздохнул, усмехнулся, поклонился и мне и старухе, а у порога остановился и посетовал: — Эх, — говорит, — какие вы люди залежалые! Под камнем трава не растет, зато на камнях-то не только трава, а и дерево корни пускает да камни дробит. Вот мы с Дарьюшкой не под камнями, а поверх камней хотим расти да цвести.

Зажили они согласно — хорошо зажили, только одно было плохо: не по закону, не по обряду сошлись. Ну, и казаки наши ополчились на них, а тут еще и поп наш с попадьей да причтом ералаш развели. Бабы завидовать начали этому незаконному согласию и озлились-то больше оттого, что Кузьма и пальцем не тро-

гал Дашку. Назло всем по праздникам с ней под ручку по улице ходил. Сначала он у одного лядащего казачишки на квартире жил, а работал слесарем на нашей железной дороге — в депо, и это тоже всем на удивленье было: как так? из батраков да слесарем? Слухи нехорошие пустили, сплетни пошли.

Казачишка испугался и чуть не со слезами умолял Кузьму сойти с квартиры. А Кузьма без всякого сердца расстался с ним: купил старую хатенку у бобыля-плотника. Плотник-то в городе больше промышлял и все набивался ему со своей хоромой. А сын мой старший, Максим, лихой казак, гвардеец, дюже озлобился на Дашку, особливо на Кузьму, за то, что она связалась с иногородним, с мужиком... да еще без венца, и этим худую славу на нашу семью накликала. Каждый-то день бесился и все грозился расправиться с Кузьмой. И верно: на престольный праздник выпил он с приятелями и начал похваляться, что сейчас пойдет к кацапу Кузьме и изобьет его до смерти. Потащил с собой и свою шайку.

А тут и Кузьма вместе с Дашкой под ручку идут — гостевали у деповского товарища. Идут, одеты в городское: он — в пинжаке, в шляпе, а у нее на плечах пелеринка. Тут Максимка со всех ног бросился к ним, как волк — зубы оскалил, кулаки на отлете. А шайка за ним идет, хохочет, подбадривает. Кузьма остановился, сказал что-то Дашке и оттолкнул ее в сторонку. Налетел Максимка на него, взвыл и хотел сразить кулаком, а Кузьма даже глазом не моргнул, перехватил его кулак и другую руку сковал. На что уж Максимка силач был, а застыл как деревянный — ни туда ни сюда и даже башкой не повернет, только орет: «Выручай, казаки! Кинжал ему в спину!» А те столпились поодаль и глазеют, как Максимка в плен попал. Ну, а Кузьма хладнокровно оповещает: «Идите, казаки, своей дорогой, а я Максима Савельича домой отведу. Никому, говорит, не скажу, в какую дурную беду он попал. И вы, говорит, молчите, чтобы не опозориться».

И повел его рядом с собой за руки, словно друга закадычного. Должно, Кузьма-то секрет знал, как лю-

дей своей хваткой разить до бесчувствия. После этого случая у Максимки обе руки дня на два отнялись — как плети висели. Он и словом не обмолвился — занемел, словно ума лишился.

Дашка ходит гоголем, в Кузьме своем души не чает. Родился у них мальчонка. Кузьма в городе купил плетеную колясочку, а когда младенец подрос, стул высокий с крышкой купил.

К нам они и носу не показывали: не хотели, чтоб про нашу семью люди судачили, да и на скандал с Максимом и невесткой не желали нарываться. Только старуха ночком похаживала к ним.

Так и прожили годика три. К Кузьме стали привыкать: живет человек, зла никому не делает, семью трудом содержит, не пьет, не скандалит. Чего еще нужно? Компанию водил он больше со своими путейскими да кое с кем из малоимущих казаков, кои тоже на путях работали. А станичники таких людей и на порог не пускали: жили своим куренём, с городовиками не якшались, только в работники их нанимали или скопщину с ними держали. Ну, а по праздникам Кузьма с путейцами иной раз пройдется по площади, где и станичное правление, и школа, и храм, и левада липовая, где народ толпится после обедни, на скамьях сидят да про то про сё толкуют. Тут и Кузьма с дружками к разговору прислушивается да нечаянно и сам голос подает. Бывало, что и обличать станичников начнет, а это, конечно, казакам не по нраву было.

— Вот, — говорит, — вы, казаки, о жизни рассуждаете, а какая у вас жизнь? Жизнь-то настоящая мимо вас идет. Вы от нее в куренях да в своем сословии, как медведи, залегли. И думаете, что лучше вас никого на свете нет, что на вас вся Россия держится. Оно верно, держится на вас Россия, да какая Россия-то? Старая, — говорит, — Россия, дряхлая, трухлявая. Вы и сами-то омертвели. А жизнь-то клокочет, гремит... Новый, молодой народ народился. Тесно ему стало в дедовских куренях — рвутся они из ваших хат.

Ну, конечно, на него с дружками орать начнут: как он смеет казачество бесславить! Бродягам и босякам не место, мол, в славных станицах: они, мол, вольность

казачью и землю исконную хотят ограбить... Конечно, эти речи дюже и меня и Максимку злобили. Максимка грозился не раз: «Убью я его, жив не буду!» А надо сказать истинную правду: и средь станичников будорага росла — молодые казаки, наипаче из несостоятельных, в город и на железную дорогу уходили и тоже ополчались на казацкий уклад и такие же крамольные речи и угрозы выражали.

Так и жили.

Случилось это в пасхальные дни. Само собой, станица запила, раздались песни в разных концах. Родственники в гости друг к другу задвигались. Пошли и мы к Кузьме. Подошли и еще кой-кто. Выпили, захмелели, языки развязались. Песни запели. Песен Кузьма никогда не пел. И к хмельному слабости не имел. Ну, а ежели выпьет с гостями, начинает злобиться, непотребное говорить. А когда песню бабы напевали, он как будто весь зажигался. Запели песню одну, помнится такую, где говорится про орла, который по свету летал, а потом в темнице очутился и сильно тосковал там. Слушал он, слушал да как крикнет:

— Вот и я такой же, как орел тот... летал по свету, искал счастья да правды... и всего вдоволь насмотрелся. Как будто — это и не мир людской, а зверье. Людоедство и рабство. Чем эта жизнь лучше каторги! Ничем. Там — кандалы, а тут — ошейник, ярмо. Там — тюремщики, а тут — полиция да казаки с нагайками. Одна у меня отрада — песня хорошая, да вот — Даша, подруга моя, вольнолюбая...

И обнимает ее, а она к нему на грудь падает.

— И еще отрада, — говорит, — у меня великая — дружья неизменные, рабочая армия.

У них свои гости были — путейские, чужие нам люди. Выпивают, разговоры вольные и дерзкие ведут — не наши, казацкие разговоры. Словно чужестранцы какие в наше бытье влезли. Посидели мы у них еще немного и домой ушли. Сидим это мы дома со старухой да горюем, с кем Дашка судьбу свою связала, а Максимка с молодухой нас же поедом едят. Максимка-то не забывал, как Кузьма его домой притащил — на всю станицу обесчестил. А на самом-то деле

Кузьма-то его от каторги спас: не будь сильный Кузьма — Максимка порешил бы его. А вечером — темно уж было — врывается в хату внучка — девчушка Максимкина — и стрекочет: «Скорей бегите! Атаман с казаками Кузьму взять пошли. Кузьма-то, говорят, не Кузьма, а беглый бродяга. Приказано, говорит, его в отдел доставить живого аль мертвого». Мы со старухой чуть памяти не лишились — сидим и себя не чуем. А Максимка как заржет да как загорланит: «Ну, теперь-то я его живого не выпущу... Каторжнику все кости искрошу... Испоганил, говорит, батя, ты нашу кровь — и Дашку за косу к столбу не привязал и сами с мамкой в гости к беглому шатались...» Схватил кинжал и вылетел из хаты. Как я вышел да к толпе пристал — не помню хорошенько. Опомнился у самой Кузьминой хаты. Вижу в сумерках — на завалинке, около ворот, Дашка сидит, семечки грызет. В хате огня нет — чернота в окошках. Перед ней атаман с казаками, народ сбегается. Слышу, атаман строго приказывает ей что-то, а она отвечает: «Нет, говорит, его дома — на путя ушел». Атаман на нее: «Врешь, мерзавка! Зубов мне не заговаривай. Шагай вперед — передо мной шагай!» И швырнул ее к себе. А она обозлилась и загорланила: «Ты меня не цапай, атаман, а то я и сама цапаться умею. Убирайтесь вон!» Тут и Максимка выскочил: «Какой, говорит, он тебе муж? Он — каторжный преступник. Казачью кровь гадит». И она на него волчихой бросилась: «Ты не брат мне, а злыдень. Отойди от меня — отхлещу!»

Атаман подошел к окну, посмотрел во внутренность, да так и отшатнулся. А Кузьма-то высунулся из окна-то, да и крикнул:

— Вам, — говорит, — всё равно живым меня не взять. Я и вооружен добре и не привык сдаваться.

Превозмог я себя, подошел к атаману и сказал ему:

— Василь Васильич, может, наклепали на Кузьму-то... Не булгачь народ-то...

А он посмотрел на меня, цыкнул и договорить не дал.

До самой ночи простояли мы около Кузьминой хаты — всё увещевали его. Нет! не сдается, да и на

поди!.. Страшный он был в это время. Зубы оскалил, а глаза — вот-вот выскочат. Да и с Дашкой долго сладить не могли: стоит перед окном, раскинула руки и кричит: «Не дам. Убейте меня, а не дам».

Шум, гам. Одни атамана с полицией подзуживают, другие стыдят его. Вот-вот драка разразится. Максимка схватил Дашку и рванул ее от окна. А она в бороду ему вцепилась. Атаман с казаками — к воротам, к калитке — заперто. Стали калитку ломать. Пока валандались с запорами, пока народ усмиряли да обхаживали окна, а окна-то внутри всяким хламом завалены были. Казаки выбили окна, а рухлядь ни туда ни сюда не могут выволочь. Я — к Дашке: где мальчишка-то? А она бьется, как птица, в руках Максимки и бороду его рвет. Ну, ворвались, конечно, казаки в хату, а там — никого, пусто. Скрылся Кузьма — и след простыл. Дашку арестовали: укрывательница, стало быть, — соучастница. Вот и ждет суда. Не горюет, не плачет, а радуется и смеется: оставил в дураках ловителей — на воле гуляет, а ей того и надо. Пускай, говорит, я в тюрьме, зато милый Кузя на воле.

Ворота тюрьмы загрохотали и тяжело раскрылись. В распахе ворот в серых кителях стали навытяжку надзиратели. Молодой усатый помощник начальника тюрьмы начал выкликать фамилии и по одному человеку пропускать в ворота. Толпа с гулом ринулась туда. Старик и женщина схватили свои мешки и смешались с толпой...

— Батюшка! пусти! к дочке! — услышал я надорванный, знакомый голос старика.

— Нельзя... ишь старый черт!.. Ты иди сперва проспись... Пьяных у нас не пускают... — грубо оборвал его помощник.

— Не пьян я, родной! От слез, батюшка!..

— Не рассуждать! Марш!

Наконец ворота захлопнулись, загрохотал тяжелый железный запор. А перед воротами тюрьмы еще долго толпились люди, и среди них толкался знакомый старик и покорно плакал.

1902

НА ЖЕНСКОЙ КАТОРГЕ

(Зимние заметки о летних впечатлениях)

1. ПОСЛЕДНИЕ ИЗ РАЗГИЛЬДЕЕВЦЕВ

Деревушка из двенадцати домов приютилась в узкой лощине. Деревянные лачуги, вросшие в землю, смотрят на улицу крошечными мутными окнами. Злые собаки с зловещим лаем сбегаются со всех сторон и свирепо преследуют прохожего.

Спереди, справа и слева поднимаются высокие сопки, поросшие кустарником, среди которого выглядывают рыжие кучи гальки — жалкие остатки производимых когда-то разведок. Прямо, на голом месте, повыше деревни, гниют несколько деревянных построек, поодаль виднеется во́рот с намотанным толстым канатом, несколько больших куч красной земли,— это давно заброшенные серебро-свинцовые рудники. Направо, позади деревушки, — постройки женской тюрьмы, а дальше, на горизонте, возвышается туманная гряда мрачных сопок, покрытая темной щетиной леса.

В этой деревеньке я нашел себе пристанище в избушке одиноких старика и старушки. Старику было лет семьдесят, но он выглядел довольно бодро, постоянно улыбался и жевал губами. Старуха была сухая, костлявая, с быстрыми и веселыми глазами. Оба они, как и все их соседи, одевались в лохмотья.

— Плохо вы живете! — посочувствовал я, сидя за чаем. — Земля у вас нетронута, лесу много, а нигде не видно пашни.

— А чья земля-то? Чьи леса-то? — с усмешкой ответил старик. — Все кругом на сотни верст — кабинетское. У нас — ни клочка нет. Бывало, еще недавно работали на приисках, имели малую копейку, а теперь каторжники за нас робят...

— Ну, хотя бы переселились куда... а то что это за жизнь...

— Эх, куда уж... нет уж...

Мы пили чай на дворе, прямо на траве, на вольном воздухе. Вечернее небо еще пылало жаром. Прямо перед нами возвышалась небольшая гора, поросшая частым мелким леском. Снизу, из лощины, плыла сырая прохлада. Недалеко, за изгибом горы, прозвонил звонок на поверку, и через несколько времени раздался глухой жалобный напев. Это глухое, чуть слышное пение напоминало о том, что там, за тюремной стеной, поют люди, оторванные от мира.

— К ним прислушиваешься... — сказал старик, кивая головой в сторону тюрьмы и улыбаясь. — Да, поют... Вот житье-то!.. Рай, а не житье!.. Как сыр в масле катаются...

Я даже вздрогнул от изумления.

— Ну, что ты, дедушка! Ведь это народ несчастный, обездоленный...

— Какой там обездоленный!.. Гляжу на них, и зависть берет. Вот бы так пожить-то нам! Одевают их три раза в год, кормят, работой не изнуряют. Чем не жизнь? От этакой жизни они все не токмо что пропа́сть, а лопнуть собираются от жиру. Да еще что — песни-то как зачкаливают... а пляшут-то как! Мать чесная! Теперича разве их можно назвать каторжниками? Коли бы мне сказали, примером: «Кузьма-Сидор-Иваныч, пожалуйте в каторжники!..» Не взвидя света бросился бы.

Он встал и заковылял зачем-то в избу. Старуха сидела против меня, кутаясь в какое-то домашнее тряпье.

— Плохо, мата-а, плохо! — пропела она каким-то болезненным голосом. — Дурное нам стало житье... никудышное... Пробиваемся кой-как... с богом одной коркой делимся, а остаточками курочек кормим... Плохо-о! Впроголодь живем. Да и работы нет... беда! А он-то

что делает, старый дурак! — Она медленно повела головой по направлению к избе, куда ушел старик. — Вскинет на плечо сеть да на Аргунь.

Она скорбно заохала.

— Врешь, старуха. Аль не я кормлю тебя рыбкой-то? — услышав недовольство старухи, начал оправдываться старик. — Аль не я тебе с Нерченского завода, бывает, и хлебца на рыбку выменивают и барахлишко кое-какое приношу?

— Что уж!.. Плохо-о!.. плохо-о! — неутешно жаловалась старуха.

— Что же делать? — согласился старик, усаживаясь поудобнее на траве. — Всё — одно к одному... Недавно вот у меня жеребенок сдох... жалко... Хотел выходить лошадку, а он возьми да и сдохни...

Вечер густел все более и более. Было тихо, даже лист на деревьях не шевелился. По дороге, мимо ворот, молча и тяжело ступая, проходили вниз люди в серой одежде. Это — каторжники из «вольной» шли в бараки с работы на рудниках. Сбоку, за забором, в соседнем дворе, какой-то тоненький детский голосок шепеляво яростно выкрикивал отборную площадную ругань, и было больно слушать эту похабщину из уст ребенка. Он ругал, очевидно, кого-то из своих родных, и его упорный, яростный голосишко похож был на лай маленькой злой собачонки, нападающей на дразнящего ее пешехода. Эту детскую ругань, должно быть, слушали там с удовольствием, потому что несколько мужчин и женщин разражались хохотом.

— Кто это у вас так? — спросил я стариков, показывая в ту сторону, откуда слышался хохот.

— А это — мальчишка суседский... — лениво ответил старик, позевывая во весь рот. — Лет шести, поди...

— Зачем же ему позволяют так ругаться-то?

— Ну, поди, думают — годявый варнак вырастет... Вот теперича и вспомнишь старое время... — после некоторого молчания заговорил он. — Прежде хоть и драли нас до полусмерти, однако и кормили, лопатину давали. А сейчас хоть и не дерут, а кишки пустые. Нет, лучше уж пускай драли бы, да только вдоволь хлеба давали. Опять же я на них укажу, —

мотнул он головой в сторону тюрьмы, — живут и никаких забот не знают... Баре! Дай, господи, всякому эдакую жизнь... Вот бы нашего Разгильдеева привести — посмотреть на эту каторгу. Это начальник на Каре был такой. Всех бы пересек, не потерпел бы. Как же! Распущенность. Строг был, не тем будь помянут. Убивал, засекал до смерти.

— Ну, а тебя дедушка, сек?

— А как же! Хлестко сек! Хошь мы были и не каторжные, а кабинетские, да ничем не отличались от каторжников. Поро-ол!.. да не розгами, не плетью, а треххвосткой: на конце три хвостика было со свинцовыми шариками. Как ударит, так — до кости.

— Выходит, дед, что прошлое-то страшнее теперешнего было.

— Эх, паря, все мы здесь, как псы, одичали от голода. А тут, словно на грех, тюрьму эту поставили. Соблазн один...

— В чем же тут соблазн-то? — спросил я.

— Как же! Житье-то больно легкое. Встретил я как-то каторжниц по дороге. Бочку с водой везли в тюрьму из колодца. Одеты чисто, белое все — кипень! Позади — надзирательница. Везут, плачут... О чем, спрашиваю, плачете? Как же, говорят, видишь, говорят... Эх, говорю, дай бог всякому жить так, как вы живете. Раскричались, ругаться начали: иди-ка, мол, поворочай! А я шучу: за хлеб, за соль весь день ворочать буду.

Смеркалось. Трава покрывалась холодной росой. Вверху, в кустах, что-то зашелестело — должно быть, корова паслась, выпущенная своим хозяином. На темнеющем небе трепетало несколько звездочек. На горе, выше нас, около шахты, кто-то громко и сердито закричал. Хлопнула дверь, и голос оборвался.

— Сейчас это бабье стадо пасет начальник Пахоруков — из разгильдеевских орлов. После, как порешили Кару-то, его за усердие не то в Алгачи, не то в Кутомару начальником поставили, а нас, мужиков, по разным местам разогнали. Так и очутились мы в этой каменной да болотистой пади, как в волчьей ямине. Начал Пахоруков по-разгильдеевски мордовать,

пороть, кандалить и вольную команду. Да, должно быть, народ другой стал: устроили ему «темную» и руку поломали. Ну, его к бабам и приставили. Пускай бы уж над нами, мужиками, изгилялся да на землице бы держал — питались бы, а то загнали в эту щель, на камни — и живи, как хошь. Молодые-то еще так-сяк: и в шахты спускаются и руду в Кутомару волокут. А нам, старикам, хоть бы по миру бродить, да не у кого клянчить. Только одно и осталось — на Аргунь за пятнадцать верст рыбку ловить.

Старуха засмеялась, охая, и подмигнула мне своими веселыми глазами.

— Ходи, ходи, искупай грехи свои, старик. А мне милостыньку дают в вольной-то команде. Я для бабенок бессчастных — отрада: на что уж пищия в рот им не лезет да сторожат их, как в стойле, а приду я, нищенка, к бараку ихнему да попрошу кусочек хлебца Христа ради, они и раскудахчутся: мы, мол, счастья лишились, бездольные мы, а вот вы хоть и вольные люди называетесь, да у нас же крошку хлеба просите. Хорошие бабенки. Слезу от песни у них не отличишь. А песни-то какие у них раздольные!

— Мы и в молодости таких песен не пели, — сердито поправил ее старик, — а пóтом да кровью своей разгильдеевское золото промывали. А пели-то да свистели разгильдеевские плети. Кандальников своих он не порол: там у него больше политики из благородных были. Благородных терзать ему не велено было, так он на нас, мужиках, и на каторжной чернеди досаду свою срывал: кого казнил, кого миловал. Вот и старуху он мне из каторжанок подарил за покорство. Ничего, прожили — бога не гневили...

Старик хоть охотно рассказывал о своем прошлом, считая, очевидно, эту свою разгильдеевскую пору самой лучшей в своей жизни, но все время кряхтел, оглядывался, ту́жился над каждой фразой и замолкал, словно проверяя сказанные слова. Посматривал он на меня с хитрой прищуркой из-под седых клочьев бровей и прятал усмешку в бороде. Видно было, что он притворяется беспомощным, дряхлым стариком, которому только и остается одно — сложить свои кости

в этой гиблой каторжной пади. Но старуха нравилась мне своей веселой откровенностью и какой-то жизнерадостной легкостью: былая свирепая каторга как будто не оставила в ней никакого следа. А нищета и бездолье, на что жаловался старик, как будто совсем не заботили ее. Должно быть, о другой жизни она и не думала, а жила в этой трущобе и в этой по-чалдонски кое-как срубленной избе безропотно, безгорестно, легко, как птица. В веселых и молодых ее глазах не потухала улыбочка. И эта улыбка, вероятно, светилась у нее всю жизнь — и в девичестве на воле, и в разгильдеевской каторге, и во всех мытарствах голодного бедования. Должно быть, она никогда не сердилась, не жаловалась, не плакала, а радовалась, что живет, что над нею — синее небо и горячее солнышко, что крутые склоны сопок усыпаны алыми саранками, а кругом — люди, такие же обомшелые, как и она со стариком, и женщины — невольницы в казармах и в мазанках — в своих гнездышках. Всем хочется жить, и живут, как судьбою положено. Среди этих людей вольготно и радостно — не хуже, чем в молодости, на Каре, а может быть, и лучше. Жива, здорова, звездочки улыбаются ей с небес из-за сопок — и слава богу. И, как видно, подтрунить над стариком не обидно, с веселой душой любила она. Но особенно приятно мне было, что она и меня встретила просто, как своего, с той же веселой и прозорливой улыбочкой. И первые слова услышал я не от старика, а от нее — шутливые и приветливые слова:

— Ну и годяво, что прилетел с вольной волюшки. То-то привиделось мне, что у меня перед окошком жаркóй цвет расцвел. Такого радошного да световольного сроду в избе у меня не было. Только лонись соколок один с моим стариком на Аргунь полетел...

Старик притворно недужным голосом осадил ее:

— Старуха, чо у тебя во сне, то и на языке. Не думано, не гадано, а сказка сказана. Блазнит тебя, варначку...

Старуха с лукавым смехом в глазах кивнула головой в его сторону.

— Ой, верно, блазнит!.. Это душенька моя видит,

что паря-то с волн не твой, а мой фарт: не ночной пугач, а световольный выонош.

И я тогда же постиг их обоих: старик таился, хмурился и как будто прятался за слова, а старуха откровенно и простодушно, но с лукавинкой трунила над ним, намекая на какую-то потайную его жизнь. Видно было, что старуха потешалась над скрытой его возней с «ночными пугачами», и над его притворной дряхлостью, и над недужными жалобами на голодуху. Прыткая, бодрая, беззаботная, она и в прожитой жизни со стариком, коренастым и телом и нравом и замкнутым по-чалдонски, не утратила своей бабьей резвости. Вероятно, ко всем людям — и к односелам и к женщинам из вольной команды — она относилась с открытой веселой душой и не знала той скорби и обиды на всю жизнь, которые одних убивали в каторжной неволе, а других озлобляли неутолимо. И мне невольно представлялась эта маленькая, сухонькая старушка с неувядаемой девичьей душой, неотразимо сильной в своей внутренней свободе, и я был уверен, что ни тюремщики, ни сам свирепый палач Разгильдеев не в силах были потушить в ней огонек невинной вольности и, может быть, любовались ею. О своей рабской неволе на Каре она ни разу не вспоминала во все время моего пребывания у них: она жила настоящим, забыла о прошлом и не думала о будущем.

Я спросил ее однажды:

— Вот дедушка жалуется на теперешнее ваше житье и жалеет о разгильдеевской каторге. А ты-то, бабушка, как вспоминаешь о разгильдеевщине?

Она без раздумья ответила, отмахнувшись от меня с обычной своей веселостью в глазах:

— Что было, то быльем поросло. Живу вот, бога не гневлю, с людями душеньку тéшу, и солнышко меня греет как в старину, так и сейчас. Не истлела — уцелела: знать, и в бездолье не все было смерти подобно. Да и сама смерть от сердца бежит. А у меня сердца моего на всех хватало. Не убыло его и по сей день. Любви-то сердечной все хотят, а сердце-то само слезой людской питается. От этого и жаркúм цветом цветет.

Старушка не удивила меня своей мудростью: иначе

она и не могла сказать. И хотя в первый день она как будто сетовала на свое безотрадное нищее житье, но и тогда в этих ее жалобах не почувствовал я безнадежности и отупляющего горя.

— Это большое счастье, бабушка, сохранить неугасимое сердце. И в аду есть свои праведники.

Да, в жестокой и страшной нашей жизни, где властвуют палачи, где у труженика одна судьба — бесправие и каторга, — такая старая женщина, переживая все ужасы рабства, вдруг раскрылась передо мною во всем человеческом величии и красоте. Она прошла через все разгильдеевские муки и мужественно несла неиссякаемую любовь к таким же несчастным великомученикам, как она. Сердце ее питалось их слезами, а она возвращала им надежду на счастье и дарила им «жаркие цветы» своего сердца.

— Да разве ты, бабушка, за милостыней ходишь к каторжанкам? Голубушка, ты сама им подаешь милостыню. И не милостыню, а всю себя. Вот ты говорила, что они песни хорошо поют. Это твое сердце в их песнях.

Она тихо, как будто сама себе, посмеялась и певуче проговорила:

— Ну, чего ты, паря, собираешь да городишь! Сама я поплакать люблю. Не поплачешь — не улыбнешься. Ведь и богородица плачет, а от слезы ее — отрада нам, грешным.

И вдруг шутливо набросилась на меня:

— А ты-то вот, молодой, почто к нам прискакал? Аль тоже поскорбеть в нашей юдоли? Тут ведь — неволя да цепи, мытарства да плети. Нам со стариком уж так на роду написано, а тебя-то что смолоду блазнит?

На ее шутку я ответил тоже шуткой:

— Сердце сердцу весть подает, бабушка. Вот услышал я твое сердце — взял да и полетел сюда.

Днем изба пустела: старик с сетью на плече уходил на Аргунь, а старуха с сумочкой из мешковины и с палочкой в руке поднималась на взлобок и брела к казармам вольной команды или в поселок из мазанок

за моховым болотом, где жили «вольно» в содружье вышедшие из тюрьмы каторжанки. Она успевала сварить мне обед и возвращалась, чтобы накормить меня. Я дал ей несколько кредиток и попросил ее не ходить за милостыней. Она покорно взяла и положила их на киотик к иконкам, но по-прежнему уходила со своим мешочком в вольную команду.

Как-то я проходил через заросли кустарника около казармы и увидел неподалеку, на полянке, несколько женщин, одетых в «вольное». Они сидели, прижимаясь плечами друг к дружке, а перед ними — моя старушка. Все слушали ее и улыбались, а она говорила нараспев, словно сказку им рассказывала. Одна из женщин, крупная, с гордым лицом и смелыми глазами, озорно крикнула:

— Ах, пле́ти, пле́ти.. от плетей-то, старушка, родятся и дети... Знаем мы их строгости...

И вдруг запела низким очень чистым и глубоким голосом умелой певуньи:

Среди лесов дремучих
Разбойнички идут...

Запев подхватили несколько голосов — одни тихо, словно нехотя, другие громко, вызывающе:

И на плечах могучих
Товарища несут.

К великому моему удивлению, старушка крикнула убеждающе, совсем не старческим голоском:

— Нету, нету, милые мои сараночки, не разбойники это... не разбойники, а воины наши, витязи, избавители от юдоли нашей, от неволи да заушенья...

И неожиданно сама запела хоть и слабым, но хорошим голосом былой умелицы:

Носилки непростые —

Ее могуче перекрыл звенящий голос запевальщицы:

Из ружьев сложены...

И опять все красиво, слаженно поддержали их:

А сабли золотые
У всех обнажены...

Крупная женщина растроганно и нежно вскрикнула:

— Ах ты, старушка наша родная! Всегда-то у тебя в сердце для нас готово светлое словечко... Без тебя-то у нас и день, как тень... Сколь ты перестрадала, сколь мук приняла, у тебя и сердце-то плетями исполосовано в аду разгильдеевском, а оно светит и улыбается нам, как яркая звездочка темной ночью.

— Да кто вы мне, аль не дочки мои кровные?.. С вами я и живу-то, как в саду цвету... Вот и солнышко горит да сияет, для всех оно — жизнь вековечная. И завтра будет солнышко и в долготу дней. Солнышко никто у нас не отнимет, а с солнышком и радости и счастье на нашу долю уготованы. Вот вы и не тоскуйте, не горюйте, дочки, каждая в свое счастье верьте: всякий в сердце его носит. Почуешь его — и голубкой встрепенешься. Как мне не радоваться — ведь вас у меня много. Это только на безлюдье человек вянет да сохнет. А вас вон сколько! Держитесь сердце к сердцу, ручка в ручку — и разгоните всякую тучку...

Прожил я у стариков дней десять, но ни разу не слышал, чтобы они называли друг друга по имени. Да и мне не было в этом нужды: безыменные дедушка и бабушка были задушевнее их имен.

Один раз ночью, когда мы уже легли спать, в избу вошел какой-то неведомый человек (двери и ночью были открыты настежь).

— Последний из разгильдеевцев, принимай друга! Выходи, не теряй ни минуты. Мне ждать нельзя. Ну, да не мне это говорить и не тебе слушать, — прогудел человек глухим и властным басом и сейчас же вышел наружу.

Слова «последний из разгильдеевцев», должно быть, служили паролем для старика.

— Иду, иду, паря! — не сонно откликнулся он и без сбычного кряхтенья торопливо соскочил с кровати.

— Не жди меня, баба! — приказал он помолодевшим голосом. — Сама знаешь. Сиди дома. Жильцу знать ничего не надо.

Он бойко выбежал из избы. Старушка молчала. Мне показалось, что она спокойно спала и ничего не слышала. Лежала она обычно на полу перед образами. Я устроился на широкой старинной лавке.

Ночью я проснулся от слезного бормотанья старухи, словно она изливала свою душу перед кем-то близким ей с давних пор. В избе была черная тьма, и только маленькое окошко призрачно синело над моей головой. Я догадался, что старушка молилась перед образами. Она не каялась в грехах, не просила милости, а исповедовалась перед своим божеством. Всматриваясь в то место, где она бормотала, я уловил мутную тень на лавке у передней стены, под иконами. Сидела она, заслонив собою оконце, но простоволосая голова ее и плечи на туманной синеве стекол качались из стороны в сторону.

— Тяжко, матушка, тяжко: какую я путь прошла под палками, под работой каторжной! Ты знаешь, как я скинула два плода — убили и моих деточек, злодеи... И не на разгильдеевской каторге, а в крестьянстве, на кабинетской земле. Считались мы со стариком вольными, а хуже было, чем на каторге. И там были надзиратели да палачи. Изнемогла я, матушка: недужная я была после выкидышей, а меня, как лошадь, гоняли. И стала думать, как бы руки на себя наложить. Ведь и ты, мать богова, страдала да рыдала. Про тебя ведь люди-то молву сложили: «Шла матушка Марея из града Ерусалима, — шла она шла — приустала. Села на горюч камень и зарыдала». Да как же, матушка, тебе не рыдать-то? И сына мучили да терзали... как наши же палачи и владыки... ко кресту-то его гвоздями прибивали... А бедный люд, дружьев его и товарищей, бичевали да в темнице заушали, и не ты ли, матушка Марея, во сне мне являлась и брала меня за ручку? И не ты ли вытирала своими рукавами мои слезы горькие и улыбалась? А улыбка-то твоя слезой в сердце у меня горит. А я бессчастных улыбочкой твоей утешаю, а самой радошно... Пускай старик мой инако оковы сбивает и на вольную дорогу людей выводит. А я бездольных людей надёжой да верой питаю: я, мол, через все строгости прошла, младость мою

в кромешном аду растерзали и хотела я одно время руки на себя наложить. Да явилась, мол, заступница, жизни подательница, и открыла мне, что в муках наших да в слезах — не погибель, а тоска по воле да радости. А впереди-то вам жить да жить да содружье крепить. А содружье-то — неопалимая купина́: всё в нем найдешь — и опору, и утеху, и мощь, и всякие радости для души... Вот, мол, вы и песни поете про разбойничков, а разбойнички-то содружьем сильны да грозны...

Так бормотала она долго, словно всю душу выкладывала перед своей богородицей, которая для нее была близкой подругой. Ее невнятный полушепот то раздумчиво затихал, то взволнованно вспыхивал певучей речью. Это было похоже на бред или на молитву. Но я слышал впервые такие думы вслух, и речь ее захватила меня своей необычностью и поэзией. Правда, я в детстве слушал печальные и мечтательные думы вслух моей бабушки, но они были простенькие, будничные, а такой странной ночной исповеди я не слышал никогда. Старушку, должно быть, время от времени охватывало какое-то волнение: она поднималась с постели и садилась под образа перед созданной ее воображением собеседницей, вполне реальной «матушкой Мареей», такой же страдалицей и такой же мечтательницей о счастье, но обладающей чудом исцелять людей от отчаяния и душевного мрака. Я уже хорошо знал, что русская женщина была сильна поэзией своего сердца, любовью к людям и страдания свои умела претворять в крепкую веру в солнечное будущее.

Утром старушка встретила меня обычной улыбкой и молодым блеском в глазах. Она как-то хлопотливо угощала меня завтраком — достала молока и сварила курицу, хоть этого добра разыскать здесь было нелегко. Я так растрогался, что обнял ее, а она приняла эту мою ласку, как должное.

— А кто это ночью приходил, бабушка? И дед наш ушел с ним куда-то далеко.

Она не встревожилась, а легко и охотно сообщила:

— Беглый это... ушел откуда-нибудь из вольной команды — не иначе из Зерентуя. Через Аргунь хочет

переплыть. Старик-то мой много их переправил... Бывает, и из рудников бегут... кандальники... Те в избу не заходят, а только свой знак подают. Старик-то у меня — надежный: душой им служит. Дать волю-то невольникам — святое дело. Старика все знают, давно уж он помогает беглым, а начальство и не догадывается.

— Но ведь слухом земля полнится, бабушка.

— Это у нас для своих слухом-то земля полнится, а начальство — за каменной стеной.

— А вот дед наказал тебе, чтобы ты ничего не говорила. Зачем же ты передо мной все тайны выложила? — пошутил я.

Но она с упреком возразила:

— Чего ты собираешь, незадашный? Кто ты для нас? Аль не свой человек? Зачем в это узилище приехал? К кому приехал? То-то. А старику моему ты на слово не верь. Он издавна за своими жалобами, как за огорожей, прячется. Ну, да у него своя рисковая судьба...

— За этот риск дед и мзду неожиданную должен получать, — неосторожно заключил я.

Но старуха всполошилась: она отпрянула от стола и молча поглядела на меня гневными глазами. Молодая улыбка в них потухла.

— Обидел-то как ты нас, незадашний! Разве содружьем торгуют? Грех-то какой язвил тебя, молодай!

Я смущенно встал, поцеловал ее и попросил прощенья. Она всхлипнула, отошла от меня в передний угол и села на лавку, на то место, где сидела ночью. В лице ее уже не было ни гнева, ни огорчения: глаза ее смотрели на меня сквозь слезы с прежней молодой ясностью.

— Вот и годяво! вот и омыл душеньку! Одно держи в сердце, милый, — содружье дороже злата-сéребра. Только содружьем жив человек, только в содружье — любовь да воля наша: в нем всё — и радости и благости.

Она взяла с киотика деньги, которые я дал ей на расходы, и ткнула их мне в руку.

— Возьми-ка эти свои гумажки: они молиться мне мешают — лик матери божьей заслоняют.

У меня не хватило духу спорить с ней, и я решил сам покупать продукты и сдавать ей на руки.

Старик явился дня через два с сеткой на плече и с лукошком в руке, по-прежнему дряхленький, незаметный и прибитый. Старушка встретила его с веселым лукавством в глазах.

— Хорош, что ли, улов-то, старик?

— Ничего, годявый. И лодчонка еще справная — на мой век хватит. Я по Аргуни-то нынче верст двадцать на ней плавал. Рыбешку на базар казачишка довез, а тебе вот особо на пропитание.

— Ох ты мнеченьки! Радости-то сколько!..

— Какие там радости! — заворчал он. — Одна у меня радость — зависть дикошарая. Опять полаялся с острожными бабами: не житье им, а масленица — и жрут и во всем белом форсят, даром что воду возят. Прут бочку шесть толстомясых и песни воют.

Старуха утешила его:

— Ну, и слава богу, они воду возят и песни поют, а ты невидимо жизни подателю служишь. А я пойду вот к ним и песни с ними петь буду.

Я не утерпел и крепко пожал руку старику.

— Спасибо тебе, дедушка, — спасибо за хорошую твою жизнь... ну, и за Аргунь, конечно...

Он пытливо посмотрел мне в глаза, и в зорких его зрачках дрогнула знающая улыбка.

1904

2. НИ В ТЮРЬМЕ, НИ НА ВОЛЕ

В этот воскресный день и небо — голубое, бархатное, теплое, с высокими барашками облачков — тоже казалось праздничным. Воздух мерцал на склонах сопок блистающими волнами. Барак, тюрьма, белая высокая стена, часовой с ружьем на плечах, тюремные постройки — все это почему-то казалось не таким уж страшным и не вызывало в душе того щемящего чувства, которое обыкновенно рождается при виде убежища «мира отверженных». Всюду царила тишина, и средь этой тишины вдруг вырывались из барака глухие голоса и хохот или откуда-то из зарослей кустарников лилась одна и та же песня, которую я слышал каждый день:

Среди лесов дремучих
Разбойнички идут...

Праздничный день принадлежал им, «полувольным» женщинам: они могли бродить вокруг барака и сидеть на травке. Все-таки они были не за каменной стеной, и надзирательницы не гремели ключами. Кое-где в кустах постоянно показывались то непокрытые головы женщин, то белая фуражка солдата. Изредка раздавался сдержанный смех и неясный прерывающийся говор. По гладкой площади перед тюремными воротами, тяжело ступая, проходил кто-нибудь из надзирателей или на высоком крылечке своего особнячка появлялся

начальник в расстегнутом кителе, с красным лицом и скрывался в тени палисадника.

Внутри казармы шли деревянные нары, на которых ворохом громоздились кучи всякого тряпья. Здесь находились одни женщины. Некоторые из них задумчиво ходили по казарме, а многие на нарах копались над шитьем или пили чай.

Две пожилые женщины — одна с длинным сухим лицом, другая обрюзглая, курносая, — поджав под себя ноги по-турецки, тихо переговаривались:

— Вот тоже муравли... — схватывает мой слух слова одной. — Что здесь за муравли! Вот у нас, в Пензенской губернии, — муравли так муравли!.. Толстые, здоровенные... Здесь на что ни поглядишь — все не такое, как у нас... Одно слово — Сибирь.

— На то она и Сибирь, девка... — слышится другой голос, более слабый и грустный.

Напротив них, на других нарах, женщина в татарском платье, мрачно поглядывая на окружающих, качает на руках грудного ребенка. Грязный дым едкой махорки плавает по казарме, а в громадные, заделанные решеткой окна врывается солнце, рассекая дымную муть огненными полосами.

Неподалеку от татарки сидят две женщины и пьют чай из жестяного самовара. Они обливаются потом, дуют на блюдечки и задумчиво разговаривают. Хотя говорят они тихо, но слова их я слышу очень ясно и четко.

— Теперь у нас, на Полтаве, вишни поспели. Батько на пасеке сидит. Брат Онисим чи поженился и на селе, чи еще на залезной дороге... Долго писем немае.

— Ой, и я не знаю, что диется у нас... — слышится другой вздыхающий голос. — Не знаю... Душа болит. Не пишут... Ничого не пишут... Мабуть, померли, а мабуть, проклинают...

Рядом с ними несколько таких же пожилых женщин о чем-то оживленно ведут беседу, посмеиваясь.

— Как я его рубанула, так и — готово. Так и не пикнул.

— Легкая у тебя рука, девка... — с завистливой усмешкой откликнулась старообразная женщина, не отрываясь от шитья. — А я так своего с трех раз прикончила... Живущой был, проклятый!

— Ну, я тут, обнаковенно, озлилась, — спокойно продолжала первая. — Почему, дескать, я ударила тебя, а ты не того... хоть бы застрамил...

— Вот судят нас, на каторгу ссылают... — озлобленно перебила их красивая молодуха, кряжистая и сильная. — А душу они мою знают? А судьбу мою видят? Воля-то своя у меня есть или нет? Человек я или скотина? Я не каюсь, а еще больше сатанею: пускай каторга, а гордостью своей и волей своей не поступлюсь...

На кучке тряпья лежит женщина с темным лицом и лихорадочными глазами. К ней подходит сморщенная старуха с жиденькими седыми волосами.

— Надёжа! А Надёжа!

Но женщина не отвечает, словно глухая.

— Вот бессчастная... — обращается ко мне старушка. — Лежит уж так не одну неделю... словно паралик ее разбил. С ней я вот три года — и только два слова от нее и слыхала: «Дочечка! Олечка!..» Дочурку от нее оторвали... чужие люди... С мужем своим маялась — истязал он ее и ребенка бил. Ну, она его зимой в пургу пьяного на улицу выволокла, а он там и замерз. От дочурки-то она ни одного письмеца не получает. Вот и мается. А по ночам по казарме, как покойница, бродит. Должно, обезумела от тоски.

Старуха дотрагивается до ноги женщины и опять ласково зовет ее.

— Надёжа! Отзовись, милая...

Но женщина лежит как мертвая.

— Вот... хоть и Надёжа, а надёжа-то умерла в сердце...

А я смотрю на эту старуху, которой, должно быть, лет шестьдесят, и недоумеваю: какое она на старости лет совершила преступление?

Вскоре узнал, что эта мягкосердая старуха и в тюрьме и здесь, в вольной команде, никогда не унывала: и на работы выходила охотно, и за больными

ухаживала, и утешала женщин в тоске. Жила она, как дома, спокойно, чистоплотно, как-то легко и безгрешно. Так, вероятно, жила и с сыном, который работал мастеровым по столярному делу, и с невесткой. Нянчила и растила двух внучат. Только сын иногда запивал, а с работы не прогоняли его, потому что отличный мастер был. И вот однажды спознался он по пьяному делу с одним жуликом, который соблазнил его сбывать фальшивые деньги. Скоро сын одумался и хотел отшить от себя этого проходимца. Но тот был опытный негодяй. Он пришел к ним пьяный, принес две бутылки водки. Сын не выдержал и распил с ним эту водку. Пьяные они поссорились. А когда сын отказался участвовать в фальшивомонетном деле, непрошеный гость пригрозил ему доносом. Началась драка, и в этой драке обезумевший сын схватил топор и зарубил недруга. Невестка выбежала с детьми на улицу, а старуха едва привела в чувство сына, пораженного убийством. Чтобы спасти его и не погубить семью, она твердо сказала ему и невестке, что вину возьмет на себя. Тут же пошла в полицию и заявила, что зарубила фальшивомонетчика, который хотел вовлечь сына в преступное дело, что убила она его потому, что он принуждал сына войти к нему в компанию и бросился на него с ножом. Так она и очутилась здесь, на каторге.

В самом углу казармы одиноко сидит какая-то восточная женщина со смуглым худым лицом. Она плачет, низко наклонив голову. Старуха подходит и к ней и гладит ее по плечу.

— Ты, Марьям, все плачешь да плачешь... не надо, милка...

Марьям поднимает голову, глядит на нас исподлобья черными красивыми глазами и, улыбнувшись, отвечает едва слышно:

— Да, плачу! Болит сердце, бабушка... — Она прижимает ладонь к левому боку. — Ой, как болит!.. Сама знай, другой не знай... Никто не знай...

— Знаю, знаю, родная!.. — утешает ее старушка. — Вот ночком приду к тебе, полежу с тобой и угомоню немножко.

— Да, да!.. — жалобно лепечет девушка, улыбаясь сквозь слезы. — Ты — моя мама... Без тебя я умру... Ты одна только знаешь мой горе...

Кто-то из женщин озорно крикнул на всю казарму:

— Наша клушка-старушка рада крылья распустить: явится человек с воли — она своих цыплят в нос ему тычет...

В ответ кто-то обрывает ее:

— Не трогай нашу мамашу, потаскуха! Морду бить буду. Она — святая. При ней мы — люди, а не твари.

Но прежний голос надрывно кричит:

— А она мне своей праведностью душу истерзала... Она стыд во мне бередит... Зачем мне стыд, ежели я стерва каторжная?

Молодая миловидная женщина с бледным злым лицом стоит на коленях и сжимает ладонями голову. А напротив, на нарах, подобрав под себя ноги, сидит женщина с большим узлом золотых волос на затылке и старательно стегает теплое синее одеяло.

— Ага, не выдержала!.. — говорит она удовлетворенно, взглянув на подругу. — Сама же первая нашу старушку звать к себе будешь.

И эти выкрики никого не тревожат в казарме: должно быть, все привыкли и к ссорам, и к слезам, и к тоске подневольной жизни.

К моему появлению, как к человеку с воли, все слепо равнодушны. Почему это? Я не заметил ни одного любопытного или взволнованного взгляда. Только кое-кто из этих женщин проводил меня исподлобья недобрыми глазами. В их прищурке ясно виден несмешливый вопрос: «Чего нужно здесь этому непрошеному гостю?» Не потому ли это общее недоброжелательство и слепое равнодушие, что «воля» обидела их на всю жизнь, сделала отверженными, лишила их «всех прав состояния» и погасила мечты о счастье? Вот они будут скоро разосланы под тем же конвоем на места поселения, но и там, среди крестьян, они будут такими же «каторжанками», ссыльно-поселенками, лишенными прав на десятки лет. И молодость погибла в тюрьме и будущее — без свободы, без приюта, когда всякий из «вольных» может сделать с ней, беззащитной, всё что

угодно. Каждая из этих женщин не ожидает ничего хорошего от «воли». Может быть, это сознание своей отверженности и возбуждает в них враждебное чувство к «вольной шпанке», которая была ненавистнее тюремщиков, — надзирательницы сами были похожи на них, арестанток, а «вольные» приезжали и приходили со стороны как будто для того, чтоб издали и сверху поглазеть на узниц с состраданьем счастливцев и подразнить их своим превосходством.

Те женщины, которые омертвели от отчаяния и тоски, лежали или сидели на нарах, глухие и слепые, а те, кто хотел забыться от тюремной неволи (а казарма была той же тюрьмой с теми же надзирателями и с поверками), тихо мечтали о родине, о былой жизни, хотя и были жестоко выброшены из этой жизни, и мечты их похожи были на грустные песни. Эти, вероятно, тоже не замечали ни грязных нар, ни духоты, ни железных решеток, ни возни, ни криков соседок. Но другие женщины, которые копошились над шитьем, над рукодельем и издевались и над хлопотливой старушкой и над собою, нарочно напяливали на себя арестантскую одежду и назойливо щеголяли в ней, хотя казенные вещи отбирали у всех, у кого было приготовлено свое платье. Они подчеркивали свое мстительное самолюбие вызывающей игрой самоунижения: мы — каторжанки, мы — лишены всех прав, какими пользуетесь вы, тюремщики и «гражданские люди»; вы стараетесь убить в нас человеческое достоинство, но мы плюем на вас и на ваши казематы, а каторжные саваны будем носить назло вам. Эти драчливые мысли и чувства не трудно было разгадать — они бунтовали в глазах, в походке, в манере держать голову запрокинутой. Такое впечатление осталось у меня от первого посещения барака. Несколько дней я пытался попросту, по-сердечному подойти и поговорить с женщинами, но встречал или испуганный взгляд, или враждебное молчание, или насмешливо-злой отпор: «Чего тебе надо? Чего здесь не видал? На нас, каторжных да проклятых, нечего глядеть: мы ведь, по-вашему, не люди; мы — адово племя. А вы там, за сопками, чистенькие, праведные... женился бы, что ли, на какой-

нибудь из нас да увез бы с собой в свой подлый рай...»

Такая отчаянная женщина обычно обжигала меня ненавистью в глазах и хохотала, довольная своей грубой выходкой.

Но однажды в такую минуту, когда я растерянно стоял перед женщиной в арестантском платье, но с завитым чубиком на лбу, миловидной и привлекательной, и не знал, как держать себя с ней, рядом со мной вдруг очутилась та крупнотелая певунья с гордым лицом, одетая в новое вольное платье, которую я заметил на полянке в кругу женщин.

— Ты чего это раскудахталась, бесперая курица? — сказала она спокойно, твердо, низким голосом, и по этому уверенному голосу я почувствовал, что эта женщина — сильного характера, крепкой воли и знает себе цену. Она с улыбкой уставилась на товарку, а потом искоса взглянула на меня и неожиданно наступила своим башмаком на опорок подруги. Та сразу же окоченела, словно шутливо-спокойный голос оглушил ее. Но ненависть не угасала в ее застывших глазах.

— А чего он... душу мытарит... Примчался не знай отколь... Балаган мы для него, что ли... Пусти меня, Наталья, — я уйду...

Не снимая башмака с опорка женщины, Наталья уже строго, но по-прежнему тихо проговорила:

— Этого человека приютила наша мамаша. Поняла? Мамаша врагов не привечает. А зачем он приехал сюда к нам — об этом знать тебе без пользы. Ты сама себя мытаришь — в казенщину обряжаешься. Кому хочешь досадить? Ты бы лучше человека в себе показала. Гордость-то свою труднее сохранить. Иди и сейчас же сбрось свою хламиду!

Она сняла башмак с ноги подруги и проводила ее усмешливым взглядом. Вдогонку она крикнула:

— И живо, Ольга, приходи песню петь: не хватает твоего голоса. Не забудь — хорошенько приоденься!

Ольга, не оглядываясь, торопливо скрылась за углом барака.

— Девка с гонором, только не выучилась властвовать над собой. Балаганит, а палачи издеваются.

Палачей надо бить самым дорогим в человеке — гордостью и умом. Вечно доказывать, что мы лучше их, потому что это выстрадали. Тут у нас в своей землянке Варя с подругами живет. Хорошие бабенки. Настенька там — этакая мечтающая девчонка. У них и узнаете, что у нас самое дорогое, без чего жить нельзя.

Эта высокая женщина как-то сразу стала близка своей искренностью, умной простотой и личным достоинством. Ее глаза смотрели на меня честно и прямо.

— Вы уже не обижайтесь на нее, на Ольгу-то, — девка сама в обиде на свою жизнь. Никак не могла вымуштровать себя. А здесь, на каторге, надо и себя школить, с собой бороться. Такие, как она, страдают до смерти. Некии и руки на себя накладывают. Она уж один раз повеситься пыталась. Как будто озорует, а на самом деле себя мытарит. Только меня и слушает да нашу старушку-разгильдеевку. Она, старушка-то, словно ей гостинцы приносит.

— Надо иметь большую душевную силу, чтобы сохранить себя и вытерпеть хотя бы этот кошмар в вашем бараке.

На это мое замечание она ответила сдержанной усмешкой, но брови ее, по-мужски густые, скорбно сдвинулись.

— На то и каторга, чтобы заживо казнить людей. Ведь каторга — это пытошная. В этой яме — и за стеной и в казарме — люди и с ума сходят, и уродуются на всю жизнь, и с собой кончают иль мертвецки застывают — ничего не видят и не слышат. Ну, и палачей подбирают те же палачи на свой аршин. Один старшой — бешеный пес — чего стоит! Вместе с Пахоруковым-разгильдеевцем пришел. Одна Варя перед ним не гнется и не ломится.

— Но вы, Наташа, своим спокойствием и достоинством на тюремщиков действуете, вероятно, как укротительница зверей. Я думаю, что вам труднее, чем другим.

— Ну, что вы!.. — она засмеялась и неожиданно покраснела от смущения. — Мне-то особенно легко живется: я здесь — среди людей, сама себе хозяйка, и никто мне погибелью не грозит. На этой каторге я себя

и нашла. И не я, а палачи наши, эти бессрочные каторжники, у коих ключи-то гремят, как кандалы, помогли мне. Ведь ничего-то у них впереди нет: подохнут, и только. А я вот — не смейтесь! — тут, в Мальцевке, свободу обрела, а через полгода я на вольном поселенье сад насажу, из России деревца выпишу... Мечта моя.

Я встречался с ней несколько раз, и как-то так выходило, что не я, а как будто она искала встречи со мной. И каждый раз я открывал в ней что-то новое. Около нее всегда теснились после работы и в праздники молодые женщины, которые казались мне веселыми и беззаботными. Все они одевались прилично, даже с желанием щегольнуть и полюбоваться собою. А в казарме Наташа вела себя как атаманша; она властно приказывала звучным и твердым голосом:

— Эй вы, гнилушки! Опять завоняли... и в тюрьме воняли и куксили и на полуволе гниете... Ну-ка, все выползайте из норы на солнышко!..

К ней подбегала Родионовна, артельная старушка, и сердобольно защищала всех:

— Ты уж, Натальюшка, не терзай их: истосковались у них душеньки-то по родной землице...

— Ну, ты, Родионовна, сама их растравляешь — сказки утешительные рассказываешь... А раз убили себя для прошлого — в прошлое не вернетесь. Родная-то землица всех нас, как сор, выбросила. Не родная она нам земля, а на шею — петля. И будь она проклята! Надо на этой, новой, земле счастье добывать. Разве там, у злой мачехи, лучше? Ведь ползали бы в собственной крови, как черви...

Она заставляла всех получше одеться и выгоняла на улицу, а на тех, кто не шевелился на нарах (они и на работы не выходили), она и не глядела.

— А этих покойниц ты уж, Родионовна, сама похоронишь! Убери их отсюда, а то они смердят больно...

— Что ты, что ты, Натальюшка! Как тебе не грех бессчастных-то добивать?.. Много ли им, милая, надо-то — только кровинку сердешную.

Наталья жестко отвечала:

— У меня сердце — не для покойниц. Я берегла и питала его для себя и для живых. Посоветуйся с нашей мамашей из поселка. У нее такое же сердце, как у тебя, только поигривистей. Так в складчинку и будете мертвецов воскрешать. Я соберу с миру по нитке, а вы найдите конуру и спрячьте там этих бессчастных.

В одну из таких минут та женщина, которая, как тяжелобольная, словно в бреду звала свою дочку, оторвавнную от нее в России, вдруг вскочила на колени и крикнула:

— Никуда я отсюда не пойду. Я с Натальей буду: она мне роднее, чем сестра. Я — не мертвая. Я жить хочу...

Наталья радостно ахнула и бросилась к женщине, а та сорвалась с нар и с рыданьями кинулась к ней на шею.

— Ну, вот... ну, и воскресла, — растроганно смеялась Наталья и целовала рыдающую женщину. — Ах ты моя родная!.. Татьянушка моя! Ну, сейчас ты мне всех дороже... Поплачь, поплачь: эти слезы самые хорошие — счастливые, живые слезы...

И всюду уставились на них потрясенные женщины и улыбались. Только Родионовна была спокойна, словно давно ждала этого события. Она гладила Татьянушку и что-то ласково причитала. А я впервые увидел Наталью, всегда ровную, твердую и, казалось, безжалостную, такой порывистой, взволнованной и бурной в своих чувствах, и, вероятно, больше всех изумлен был этой ее переменой.

— Ну, а вы, полтавки, — ликуя, крикнула она пожилым украинкам, — еще на волах по былью плететесь? Еще не все вишни да кислицы поели? Может быть, сейчас очухаетесь?

И я видел, что на этих всех обездоленных женщин действовала она с неотразимой силой — именно своей бодростью, любовью к жизни, верой в солнечное будущее, в свободный и радостный труд для себя.

Родионовна одобрительно кивала головой, словно кланялась ей, и молитвенно улыбалась.

— Так, милка, так... Доброе-то слово — крылатое, а злое — рогатое.

— А я, Радионовна, и злым словом не гнушаюсь. Меня тут кое-кто дьяволицей величает. И правильно: когда это дьяволица без рогов да без крыльев бывает? Кого и на крыльях вознесу, а кого и на рога посажу. Ольга! — крикнула она подруге, которая уже сняла с себя тюремную обряду. — Полетим, девка, песни петь да вот и Татьянушку подхватим.

Украинки сидели равнодушные и безучастные и по-прежнему вели свой тихий разговор, должно быть о родине.

Все в казарме, кроме больных и Родионовны, которая кашеварила на всех, работали на тюремных огородах или на заготовке дров на зиму. Среди них были и искусные мастерицы — белошвейки, портнихи, кружевницы... От «черной работы» их иногда освобождали и посылали работать на дому у тюремного начальства.

Белошвейкой работала Ольга — и здесь и в Горном Зерентуе — и всегда нарочно наряжалась в арестантское облачение. А когда ее спрашивала чиновница, почему она является не в своем платье, она заносчиво отвечала:

— В каком же мне платье являться, ежели я каторжная?

— Но ты уже в вольной команде.

— Наша воля в команде — тоже под штыками да под надзирателями. Мы не можем и шагу шагнуть, чтобы саранку сорвать. А сюда меня тоже под конвоем надзирательницы привели.

И она стояла перед барынькой, как пленница, с покорно-злым лицом и жгучей ненавистью в глазах. Так рассказывала мне о ней Наталья. Однажды жена помощника начальника Зерентуйской тюрьмы, молоденькая и кокетливая, шутя сказала ей, посмеиваясь:

— Ты смотришь так, словно хочешь зарезать меня!..

Ольга спокойно осадила ее:

— Режут мясники, а я предпочла мерзавца отравить — и без крови и без рева.

— Ой, какая ты страшная женщина! — ужаснулась

барынька, но всматривалась в нее с веселым любопытством.

— Нет, — скромно и убежденно возразила Ольга.— Я была самая простая и чистая девушка, только жизни не пожалела, чтобы отомстить за измену и злодейство. — И вдруг дерзко спросила: — А вы бы как на моем месте поступили?

Барынька смешалась, покраснела и торопливо приказала:

— Садись! Работа — на столе.

Как-то в воскресный день мы с Натальей стояли в зарослях молодых березок и кедров недалеко от казармы. На полянке никого еще не было, зато в казарме раздавались песни, хохот и, кажется, кто-то плясал под скороговорку. Наталья, как обычно гордая осанкой, прислушиваясь, с радостным блеском в глазах, проговорила:

— А ну, вот и хорошо... Возилась, возилась, а своего добилась. Слышите, как Танька с Ольгой распотешились? Вот год уж, как я с ними в этом бараке душу свою закаляла. Сначала Ольга-то так же валялась, как Танька, потом зачудила. Боюсь, как бы Танька сейчас не взбесилась и не стала чего-нибудь выкидывать. Здесь с молодыми всяко бывает. Мамаша и меня словно из проруби вытащила. Она всякие муки и страхи перенесла и знает нас всех, как себя. Для каждой из нас у нее готово слово в сердце. Глядят на нее, дивуются: и песни с нами поет и радостью волнует — какие вы, мол, родненькие, счастливые! Жизнь-то у вас на воле какая светлая да радошная будет.

— Да и другая старушка у вас, кажется, никогда не унывает, — пошутил я.

— Ну, та у нас — нянька. Та больше утешает да уговаривает.

В этот раз я решил, что настал момент узнать и ее судьбу. Я попросил ее рассказать о себе. Она вздрогнула, отшагнула от меня и отвернулась.

— Не скажу... зачем вам знать? — отчужденно оборвала она меня. — У наших баб одна судьба — родиться бесправной, быть рабой у мужа, а любовь обреклась на позор... Вот вам и весь сказ. Прощайте!

И она твердо и с достоинством пошла к казарме. Но вдруг остановилась, подумала и усмехнулась.

— Одно скажу: здесь преступниц нет — были одна-две, да мы их выжили. Здесь только неудашливые. Ну, да мы свое возьмем! Мы ведь и через сопки чуем, как земля трясется от войны... увидим и молонью.

Я подбежал к ней и в волнении протянул ей руку.

— Наташа, отчего же вы не хотите проститься со мною по-дружески?

Она охотно взяла мою руку и даже встряхнула ее в крепком пожатии.

— Вы правы, Наташа: ваше предчувствие оправдается. Верно, земля трясется и поглотит всех настоящих преступников и злодеев. До свиданья, Наташа! Может быть, напишете мне?

Она не ответила, только очень хорошо улыбнулась и быстро пошла к казарме.

По дороге к своим старикам, последним из разгильдеевцев, я услышал далекую песню. Звучный волнистый голос Наташи покрывал голоса подруг.

1904

3. ТРИ В ОДНОЙ ЗЕМЛЯНКЕ

Землянки вольной команды находились в полуверсте от тюрьмы, на склоне маленькой сопки, густо заросшей боярышником, березками и шиповником. Серенькие комочки самодельных хаток цепко прилипали к каменным выступам горы и карабкались вверх, настороженно косясь своими слепенькими оконцами на белую стену и грузные кирпичные здания централа.

Мазанки ютились одна около другой, утопая в зеленых кустах, и заботливо кутались в худенькие низкие плетни, сделанные слабыми, неумелыми руками.

Здесь лаяли собаки и кричали ребятишки.

Хотелось увидеть где-нибудь играющий ручеек или девушку, одетую в яркое платье, в глазах которой отражалось бы небо.

Кругом громоздились сопки, увенчанные обломками скал на вершинах. Пологие склоны гор знойно волновались в едва уловимой трепещущей дымке. Она струилась со дна зеленой пади. А тут была благодать!.. Точно кто-то огромный и радостный охапками бросил сюда молодую зелень, пахнущую весною и цветами, чтобы скрыть гниющее болото, которое хрипело и булькало у меня под ногами, когда я шагал по косматым трясущимся кочкам.

Тюрьма была далеко и не казалась такой жуткой, как прежде. Все — от крошечного белого цветка до пылающей лазури, с тихо плывущими прозрачными куд-

ряшками облаков — жило своею великою жизнью, своею особой великой правдой.

За белой стеной, на склоне голой горы, пластался деревянный барак, где ютилась вся остальная масса вольной команды. Еще выше и дальше в ущелье горели на солнце красные кучи разведок и отвалы серебро-свинцовой руды. Там начинались рудники, которые уходили дальше в падь на много верст и пронизывали все эти сопки своими бесчисленными темными коридорами.

Лениво шагала вдоль стены серая фигура солдата с ружьем на плече. Вероятно, ему хотелось бросить всё и уйти в лес. Должно быть, осточертело ему бесцельно ходить по одной и той же дорожке, по одним и тем же своим следам в вынужденном одиночестве и молчании. По черным и зеленым квадратам огородов, распластанных между тюрьмою и землянками, бродили согнутые белые фигуры каторжниц и черные фигуры надзирателей и надзирательниц.

В землянках мне нужно было проведать трех знакомых каторжанок. Они жили в одной из ближайших мазанок, карабкающихся на сопку и хватающихся за кусты шиповника. Найти их было нетрудно: их гнездо зарывалось в ласковую зелень цветущего палисадника.

Я свернул на улицу.

Из-за плетня первой землянки смотрело на меня остренькое изумленное личико молодой рыжей еврейки. Она неотрывно следила за мною и с сияющей улыбкой порывалась что-то сказать. Когда я сравнялся с нею, она не утерпела и крикнула:

— Вы до землянки, да? До знакомых, да?

Она была готова перелететь через изгородь от радости и странного желания помочь мне. Я удовлетворил ее любопытство, и она счастливо улыбнулась и заторопилась:

— Я — разом... я — с вами... Вы ж знаете их землянку? Я вас проведу... Вы с воли, да?

— Да, я приехал на свидание.

— И вы свободно так едете? И опять поедете, да?.. В городе жить будете, да? Мой муж тоже может ехать...

по билету до Кутомары и до Алгачей. Он купил лошадь и ездил по этой дороге, может, сто раз... Он счастливый!.. Сейчас тоже ездит. Сегодня он сказал мне: у нас, Мира, никогда не было лошади, а теперь — лошадь, и я в тысячу миллионов раз счастливее всех. Я могу ездить и кричать: быстро! вперед!.. А я ж сама в тысячу раз счастливее его, потому что мой муж будет ездить на лошади до людей. Он страшное дело любит людей...

Она не шла, а плясала около меня. Почему она пристала ко мне, человеку чужому, и сразу же пустилась в откровенности? Очевидно, она обладала редкой способностью чувствовать свою близость к людям и радоваться каждой новой встрече с ними.

— Вы ж знаете, да?.. Дарью, Варвару, Настеньку?.. Настенька и Дарья страшное дело желают покататься на лошади. И мой муж покатает их. Ах, он ужасно любит делать приятное человеку!..

Она мне нравилась своей бодростью и простодушной веселой откровенностью. Я с удовольствием смотрел на ее торопливые, несдержанные движения и слушал ее немного вздрагивающий голос.

— Ах, как я уважаю нового человека! Мой муж понимает это. Мира, — говорит он, — мы увидим, может, сто тысяч разных народов. Не плачь и не робей!

Мы подходили к низенькой старенькой хижинке, с маленьким палисадником, в котором у самой стены хатки молодо тянулись вверх березки и лиственницы. Сквозь темную канву плетня призрачно скользили синие и белые пятна, и слышались тихие певучие женские голоса. А у стены, почти у самого входа, на низкой широкой табуретке сидела Варвара в грубом холщовом платье и с суровой настойчивостью стучала молотком по деревянной доске, лежащей на коленях. Она не изменилась за этот год: то же темное лицо, те же седые остриженные волосы, как у мужчины. Только скулы сильнее выпячивались в стороны, да еще глубже проваливались глаза.

— Ах, знаете... — изумленно прошептала Мира, — с нею говорить можно тогда... — а вот спытайте! — тогда можно, когда вы глухой и немой. Мой муж верно

сказал: «Мира! эта женщина — осота: она по капельке выпустит с тебя всю кровь, но и тогда не дастся».

Мы подошли к ней вплотную, но она осталась неподвижной и спокойной, продолжая бить молотком по мокрой коже на деревянной доске. Только острые пронизывающие глаза кольнули меня предостерегающим вопросом да веки судорожно задрожали от напряжения.

— Варвара, ты ж видишь? — крикнула Мира. — Ты ж видишь — гость...

— Какой там гость! Везде поспеешь, Мирка...

— А почему же не поспеть? Большое дело! Если хочешь поспеть, почему не поспеть?

Варвара не дослушала ее и опять посмотрела на меня настороженным холодным взглядом.

Я протянул ей руку и спросил:

— Забыли?

Она дрогнула, изменилась в лице и бросила на землю работу. Радостно улыбнулась и стиснула мою руку.

— Вот уж... не ждала-то... Всего жду, а вас не ждала.

Я заметил, что она борется с собою, чтобы не выдать своего волнения и радости. Стараясь быть спокойной, она отвернулась и стала медленно складывать в ящик свою работу. Небрежно, словно принуждая себя, она говорила:

— Все-таки приехали... за пятьсот верст! Подумаешь, много удовольствия от нас!.. Настенька часто вспоминает... А говорит о вас, словно хороший сон рассказывает.

— Ах, Варвара! — крикнула укоризненно Мира. — Ты чего ж хотишь, а?.. чтоб я радовалась и смеялась за тебя, да?

— Шумишь больно, Мирка. Иди в сад!

Мира рванулась что-то сказать, но осеклась, махнула рукою и убежала в палисадник.

Да, Варвара такая же, как прежде, — суровая и упрямая. Она посмотрела на меня и усмехнулась. В глазах неуловимо играли яркие искорки.

— А где же Дарья и Настя?

— А по своим местам.

— Чую, Варя, по-старому бунтуете.

Она выпрямилась и блеснула глазами.

— Они думают, что я пардону запрошу... О! долго будут помнить, окаянные...

Она вытерла руки о фартук и посмотрела в сторону тюрьмы ненавидящими глазами.

— Уходить вам отсюда надо, Варя. Как получите вольную, так и удирайте. Изуродуют вас здесь.

— Ни в жизнь! По крайности, я знаю, с кем драться. Это вы Настю по губам помажьте. Она до сих пор Ивана-царевича ждет.

Она взяла меня за плечо и слегка подтолкнула вперед.

— Пойдемте-ка в наш сад. Вот они, ослицы. Уже унюхали, что вы приехали.

Через плетень смотрели радостные лица Дарьи и Настеньки. Глаза у Дарьи утопали в слезах, и круглая голова ее, схваченная повойником, тряслась от волнения.

— Господи! Расхороший мой! Радость-то какая!

Настенька молчала и смотрела на меня исподлобья сияющими глазами. Они были большие, круглые, посаженные немного наискось. В черных лучах ресниц они казались зачарованными, точно видели что-то свое, сказочное, неземное.

Мы вошли в палисадник.

Настенька поздоровалась со мною молча, как во сне, с немой восторженной улыбкой.

Она отошла от нас в глубину садика и остановилась около молоденькой березки, пряча в ней свое лицо. Стояла она немного изогнувшись, с высокой грудью и красивой талией, и я чувствовал, что под легкими белыми складками ситца томится и напрягается молодое здоровое тело. У нее было немного бледное лицо и резкие морщины около носа. Точно человек болел долго и недавно поднялся с постели. Чудилось, что на ее длинных ресницах призрачно дрожали искрами маленькие капельки слез. Нижние веки и вздрагивающие ноздри немного припухли и покраснели.

Очевидно, она недавно плакала — не здесь, а где-то наедине с собою.

— Ну, каким духом пахнет, ослицы? — грубо спросила Варвара. — Настенька! чего прячешься, как невеста?

Настенька дрогнула от шутки Варвары и растерянно улыбнулась.

— Дикая ты... — тихо сказала она и отвернулась.

— Живем вот... — певуче пожаловалась Дарья, — маемся... ждем, как гамаюны.

— Всё по своей клетушке тоскует, — кивнув на Дарью стриженой головой, насмешливо заметила Варвара. — На яйцах сидеть больно охота.

— Чем худо, Варварушка? Благодать! — скромно и строго ответила Дарья. — Не всем же пустолайками быть... Ишь уколола!

А Варвара только лукаво усмехнулась. Дарья сейчас же забыла об этой царапине и с лаской матери посмотрела на меня, улыбаясь сквозь слезы.

— Я и не пустолайкой могу быть, Дашка, — огрызнулась Варвара, — а зверюгой дикой. Никому не позволю себя укротить ни обманным словом, ни ко́рочкой. Я и самого бога близко не подпущу.

— А господину старшому можно, Варвара, да? — лукаво съязвила Мира, перебивая ее. — Можно, да?.. Он страшнее самого бога.

Варвара скользнула холодным взглядом по лицу Миры и ничего не ответила, точно не слышала ее слов.

— А вы знаете, да? — крикнула мне Мира. — Это страшная женщина. Разве не правду сказал мой муж?..

— Мирка! — оборвала ее Варвара. — Не видишь? Муж приехал.

Мира испуганно сорвалась с места и со всех ног бросилась к выходу.

— Боже мой! Какой скандал!..

Посмеялись.

— Надоела девка...

Настенька по-прежнему прижималась к березке и смотрела куда-то в сторону от нас: не то на облачко, горящее над лиловой горой, не то на золотую ленту дороги, которая вилась по склону зеленой сопки.

— Ну, за самовар, ослицы! — с веселой строгостью приказала Варвара. — Так и быть, на этот раз приготовлю я. А ты, Дарья, поклохчи гостю, раз в свою кошелку впустила. Настя! царевна-королевна! друга милого не жди...

Настенька покраснела и улыбнулась.

— Бесстыдница ты... грубая... Уйди!

Она отошла к самому плетню и стала смотреть через него в призрачно волнующуюся даль.

Варвара усмехнулась и ушла.

— А вы поглядите-ка, — мягко заговорила Дарья, и в ее печальных, много плакавших глазах тихим огнем загорелся восторг. — Господи-батюшка! милости-то сколько! Ржица-то у меня какая! колосится... Скоро нальется... Жать буду. Подсолнышки расцветут... подсолнышки-солнышки, младенцы милые! Это вот грядка — огурчики. Цвет уж дали, звездочками горят... А это вот — лук-стрелок, божий охотничек. Морковка-кудрявочка... красная нарядница... А вот, около Настеньки, — картошечка-путальница...

Она пела трогательную песенку о земле, наклоняясь и лаская пальцами крошечные пучки бодро растущей травы. Дряблые ее щеки едва заметно покрывались мутными пятнами румянца.

Эта простодушная деревенская баба попала на каторгу за убийство мужа. Молоденькой, неразумной, выдали ее по бедности за вдовца на двоих детей. Одна лошаденка, одна коровенка да развалющая дедова изба. Муж — пьяница, оборванный, матерщинник. Смертным боем стал бить. Прибегали соседи и отливали ее водой. А он залезал в сундук и тащил ее добро, привезенное с собою, и пропивал. Обычная доля всех деревенских страдалиц.

Вся работа по хозяйству обрушилась на нее одну. И пахала, и сеяла, и сено косила, и хлеб убирала, и коров доила, и успевала присмотреть за детьми.. И рада была, когда муж выходил на двор и брался за топор или вилы. Она говорила тогда робко и радостно:

— Ежели бы, Митрич, всегда так... уже я бы, как гамаюн, избу-то, как царский дворец, украсила.

А он хрипло ругался, презрительно плевал в се сторону и бубнил ни к селу ни к городу:

— Команда бесштанная! дура! Погоди, кулаки обломаю... Натешусь — может, тогда бормотать не будешь, а ноги мои станешь лизать. На то и баба, чтобы на ней кулаки чесать.

И все, что она приобретала, что создавала своими силами, — все рушилось, обращалось в ничто, все падало ей на голову в виде побоев и истязаний...

Не вытерпела и зарубила его топором в припадке отчаяния. И вот здесь она живет четыре года.

В тюрьме работала она в казенных огородах, а когда пришла в землянку, устроила себе свой огород и насадила свой сад.

А теперь она мечтает о том, как выйдет на поселенье, как найдет себе здорового мужика и как будет служить честно и упорно и земле и ему.

В этом крошечном палисаднике все радовало ее глаза: все было зелено, ядрено и сильно, и все сверкало на солнце. Стройно и густо тянулась вверх матовая упругая солома ржи и вздрагивала развертывающимися колосками, а огурцы ползли к ее ногам.

Она взяла меня за локоть заскорузлыми рабочими руками и, захлебываясь, лепетала:

— Вот лягу около ржицы-то и слушаю: шуршит, шепчет... Зароюсь руками в землицу-то и бормочу: землица-матушка! землица-утешница! А на сердце-то радошно-радошно... И неволи будто нету, и страху никакого...

— Даша! — тихо отозвалась Настенька. — А может, и вправду нет, а?

— Милая ты моя! — приласкала ее Дарья. — Да ведь вон они, палачи-мучители...

Настенька помолчала немного и опять сказала задумчиво:

— А все-таки, Даша, нет...

И когда я смотрел на них обеих и слушал их поющие голоса, мне тоже казалось, что на свете нет ни ужаса, ни насилия, ни страшных застенков, ни палачей.

Настенька оторвалась от плетня и легко, плывущей походкой прошла мимо нас и скрылась за калиткой. Таким же скользящим шагом неслышно проплыла она мимо палисадника и утонула в кустах шиповника.

— Одна всё Настенька-то, — торопливо и ласково сказала Дарья. — Тесно тута-ка у меня ей, девочке. Рази ей такую жизнь-то надо?

— Вам тоже, Даша, надо бы иную жизнь. Вот найдете хорошего человека...

Она испуганно взмахнула руками.

— Это тута-ка? Нет тут такого человека. Тут сгубленный народ. Мужик-то, он — на земле. Его не отдерешь от земли-то. Он — в работе... в крестьянском труде.

Она стояла около меня, крепкая, дюжая, долговечная. И я чувствовал, что та сила, которая живет в ней, непреоборима: не сломить, не взять, не подчинить ее никому и никогда.

— Вот он, садочек-то. Родная земля тута-ка: с собой принесла... около сердца хранила, дедов-прадедов слезами улитая. Три раз рушил всё... старшой-то. Не смей, говорит, своего иметь, ежели ты каторжанка. Шашкой рубал, ручищами, сапожищами... А вот... цветет и живет в радости. Охранила землица-то, и меня хранит. С малых лет я ее трудница-работница.

Глаза ее наполнились слезами умиления, но не потушили горящего восторга. Слезы катились по щекам на землю, но она улыбалась.

Из лощины между кустами боярки медленно поднималась по дороге в гору белая группа каторжниц. Они везли огромную черную бочку. За ними так же медленно следовала черная фигура, не отставая и не приближаясь. Опутанные своими белыми саванами и привязанные к длинному дышлу телеги, эти молодые и старые женщины шли, как слепые. Склонив голову на грудь, они с каждым шагом ритмически колыхались вперед и назад и пели печальную песню.

Со стороны тюремного огорода донеслись хриплый бас и ругательства. А когда он оборвался, печальная песня зазвучала тихо и жалобно, как похоронный напев.

— Старшой лается... как утро, так своей саблей и гонит. Ух, зачем такие злодеи родятся, господи! А ведь старик — в гроб глядит.

Где-то на тюремном дворе грохнула тяжелая дверь, загремели запоры, и грустную тишину знойного дня вспугнул брякающий звон кандалов.

В землянке было хотя и темно, но чисто и пахло цветами. На двух маленьких оконцах висели коленкоровые занавесочки. Столик в углу был покрыт белой скатертью, а земляной пол усыпан свежей цветущей травой. За красной ширмочкой смутно виднелись в полумраке узенькие нарки, покрытые клетчатыми одеялками. У противоположной стены, около столика, еще нарки с постелькой, белой и пышной. Это был уголок Настеньки. Над постелькой стена была украшена разноцветными карамельками и картинками из «Нивы» и «Родины». Около нарок, на полу, стояли, опираясь о стенку, пяльцы с неоконченной работой. Настенька готовила тонкую работу на семью старшого и начальника тюрьмы.

Варвара широкими шагами ходила по землянке, заложив руки за спину, и о чем-то думала. Встретила она нас беспокойным взглядом и с заметной тревогой в движениях. Она была чем-то возбуждена.

— Проходите... садитесь! — торопливо и сердито пригласила она меня.

Дарья пытливо и опасливо посмотрела на нее и молча прошла за ширму.

— За посуду, Дарья! — сурово приказала Варвара.

Она порывисто остановилась посреди комнаты и раздраженно крикнула, смотря в окошко:

— А на поверку я не пойду... слышишь?

— Твое дело — хозяйское, Варварушка... — покорно сказала Дарья, подходя к столу.

Варвара усмехнулась чему-то своему и немного погодя коротко бросила:

— Не хочу!

Она вдруг загорелась, закипела, стала выше ростом, бодрее и смелее в движениях.

— А ежели ты, Дарья, пойдешь на звонок и ежели кликнут, скажи, что Варвара, мол, не захотела... Не захотела — и всё! Не вздумай брехать — глаза выцарапаю. Скажи, не хочет, мол, Варвара, и баста... Слышишь?

Она блеснула злыми глазами и взмахнула рукой:

— Они — меня, а я — их!

И опять заходила по землянке большими шагами.

Дарья прислонилась к стене около стола и, сложив руки на груди, участливо кивнула на Варвару.

— Вот она какая у нас! Озлобилась сердцем-то...

Варвара остановилась, положила руку на левую сторону груди и спокойно сказала:

— Покамест это вот сердце не лопнет — живая не дамся им, живоглотам.

И озорно засмеялась.

— Я уж и не знаю, где я живу: не то здесь, не то в карце. У меня тут свой карец есть. Так и говорят — Варваркин карец.

Она опять широко зашагала, с ожесточенным лицом и сжатыми кулаками.

— Девять годов терзают. Изо дня в день. Доконать хотят, а я живущáя, как кошка.

— Да разве в этом спàсенье, Варварушка? — робко проговорила Дарья. — Ведь истерзают, деймоны.

— А ты думаешь, в твоей куриной кошелке спáсенье-то?

— Плюнь на них, палачей, Варварушка, и уезжай отсюда.

— Квакай Настьке, а не мне. Я, может, думами своими моря-океаны прошла и теперича, может, насквозь всю землю вижу. И все они для меня теперича — грызуны. Я не квочка: в хлевушок прятаться от них не побегу, а назло им здесь жить буду. Мне отсюда уходить некуда; я здесь вон с теми связана, которые воду на себе возят.

Она остановилась передо мною с побледневшим лицом и порывисто погрозила куда-то в сторону кулаком.

— Душу обохалить хотели... самые подлые, как старшой этот. Думали, что пардону запрошу. В карце

морили и истязали. Волосы рвали, как щетину, а тело каблуками, леворвертами мытарили. А я молчала. Не плакала, не стонала — нет. Очухаюсь и в хари им — тьфу!

Она замолчала, отвернулась и, заложив руки за спину, опять заходила по комнате.

Дарья молчаливо и сосредоточенно стала приготовлять посуду, изредка вздыхая и шепча что-то вздрагивающими губами. Несколько раз она отрывалась от стола и ласково, просительно посматривала на Варвару. Но Варвара не замечала ее взглядов и ходила с опущенной на грудь седой головой.

— Где же Настя-то? — не поднимая головы, спокойно спросила она, а Дарья с торопливой готовностью ответила:

— Где же ей быть-то? Там, в кустах, должно. Одно ведь место-то у девочки.

— Иди тащи ее!

Дарья молча и тихо вышла.

...Что делает теперь там, среди зелени и розового цвета, эта задумчивая и грустная девушка? Может быть, плачет, или поет в мечтах, или сердцем рассказывает себе солнечные сказки?

Хотелось как-то нежно дотронуться до сердца Варвары и зажечь в ней искру светлой радости.

— Вот вам осталось уже немного, Варя, — попробовал я ободрить ее. — Мы скоро увидимся на воле. Вы будете далеко от этого ужаса.

Она усмехнулась и махнула рукой.

— Я тут вечная. Чего там... Полгода осталось до срока. А останусь здесь до гроба. Уж очень кровью прикипела к этому проклятому месту. Я тут по крайности местью живу. Пять раз из команды в тюрьму запирали. Один раз в кандалы заковали. Вольна, вишь, очень! А я еще злее делаюсь. Они, тюремщики-то, даже оторопели. Хлопотали, чтоб меня на поселенье выслать до срока, да я им, когда узнала, прямо в лицо брякнула: не уеду, не дам вам покою! На проклятье я вам прислана...

— Тяжелый вы крест взяли на себя, Варя... и бесполезный. Одна вы ничего не сделаете.

— У всякого свой крест. А почуять, что несешь его, и полюбить... это только тому на долю дается, у кого душа горит ненавистью.

— А как вы этот крест почуяли, Варя?

Она посмотрела в окошечко, подумала о чем-то и улыбнулась. В глазах загорелась яркая искра и осветила ее худое лицо затаенной усмешкой. Маленькими пятнами выступил румянец на щеках.

Точно испугавшись чего-то, она отвернулась от меня и опять зашагала по землянке. Потом вышла на улицу, принесла кипящий жестяной самовар, поставила на стол и заварила чай. На мгновение застыла около стола и с прежней непотухающей усмешкой в глазах проговорила, словно вспомнив что-то приятное:

— Вот тут... в землянках... есть человек, который тоже почуял в себе этот крест. Оно, ежели сердце горит, — характер выдаст. Из-за этого своего характера и в каторгу попал. Не любил никакой руки на себе — ни легкой, ни тяжелой. Почует свободно вожжи — любо-весело! А наложит кто-нибудь руку, да начнет прижимать, да аркан на шею — сейчас же на дыбы и весь огнем горит. Много ли, мало ли время прошло, только забастовка случилась. На фабрике он работал. Страсть любил веселье и озорство. И товарищ был верный: всегда впереди всех. Однова старшему мастеру, кляузнику, ведро краски на башку вылил. А перед забастовкой к хозяину впереди всех пошел и всё наружу ему выложил. Хозяин и лисой с ним и волком, а он перед ним — гора. И вот в эти-то дни кто-то пристукнул старшего мастера. Парня-то — по подозрению — в острог... его и еще двух. Винись, говорят, и винись: кроме тебя — некому, все улики против тебя. Тут и краску эту не забыли и припаяли ему покушение на хозяина. А он смеется, и ни слова — и у следователя и на суде. Так и закатали в каторгу. Двух-то выпустили, а его закатали.

— Ты о себе-то, Варя, расскажи.

Она пожала плечами и усмехнулась.

— Вот и я такая же была... Убивать никого не убивала, а на каторгу погнали как убийцу. В ту же

шкуру попала, как и парень этот. Нравом-то я была веселая, смелая, правду-матку выкладывала прямо в упор. Да и поозоровать охотница была большая. Тоже на фабрике работала. Красивая, статная была. А старший мастер, холуй хозяйский, бабник был большой. Попробовал он меня в своей конторке запереть, так я ему всю морду изодрала. Конечно, всех рабочих и работниц взбулгачила. На его совести много было девичьих слез. Был случай, когда он одну девушку до петли довел. И вот нашли его однова в нашем предместье с проломленной башкой. Любил с потерянными вожжаться. Нашли железку в крови в нашем палисаднике. Ну, арестовали меня. И тоже так: все улики против меня. Нашлись и свидетели-негодяи... Так я с бунтом и добрыкáлась до каторжных мест. Да так и буду брыкаться и бунтовать до гроба жизни.

Настенька вошла бесшумно и легко. Ее темные глубокие глаза сияли тихой радостью, словно она прислушивалась к далекой тревожной песне. Она села на свою постельку и взглянула на меня с ласковой улыбкой. С ее приходом светлее и уютнее стало в землянке, нежнее и слаще стала пахнуть цветущая трава и даже самовар стал ворковать ласково и мило.

— Господи! Душно-то как... темно-то! — тихо пожаловалась она и потянулась к открытому оконцу.

Варвара усмехнулась и буркнула:

— Погоди малость, потерпи до белокаменных палат. Прискачет Иван-царевич и увезет тебя на борзом коне.

— Не смейся ты, Варя... Пожалуйста, не надо...

— Она ведь шутит, Настенька, — ласково утешила ее Дарья.

Настенька помолчала, вздохнула и улыбнулась.

— А мне что-то хорошо нынче... страсть! Словно будто перед радостью. И понять не могу, отчего бы это? Сейчас я даже с цветами разговаривала.

Она сконфузилась и покраснела.

— Какой же вы разговор с цветами вели, Настя? — осторожно спросил я.

Поднимая и опуская глаза, она вздрагивающими руками играла с розовым цветком шиповника и говорила:

— Как живые, для меня они всегда живые... дети словно... Розочки, говорю, миленькие, спасибо вам за ласку! Вот солнышко мне светит, облачка плывут... хорошо! И как мне охота вольной ласточкой полетать...

— Это еще зачем? — насмешливо спросила Варвара. Она села к столу, налила себе чаю в синюю кружку и громко откусила кусочек сахару. Глаза ее любовно смеялись Настеньке.

— А так... полетела бы куда глаза глядят. Я людей бы необыкновенных поискала... и не таких грубых, как ты... Чтобы не было каторги... цепей проклятых...

Я уже знал ее мечты: она так же рассказывала себе сказки и в прошлом году. Она тосковала, как птичка в клетке, и создавала себе свой радостный мир — прекрасный и волшебный. Она жила только призрачным будущим. Но в милых тоскующих ее глазах мерцало печальное прошлое.

...Маленькая она была, робкая, тихая, а в мастерской ее мучили все: и хозяйка и мастерицы. Рвали за волосы, до синяков щипали тело, хохотали над ее слезами и кричали визгливо:

— Настенька!.. Настенька!.. Настенька!..

И когда приходила мать, она билась у нее на руках и рыдала в отчаянии и тоске.

Однажды она вырвалась из рук хозяйки и убежала. Долго бежала, сама не зная куда... На край света бежала, туда, где нет ни мастерских, ни хозяек, ни злых мастериц, ни сиротливого мучительного одиночества.

Росла. И не переставала мечтать о вольной жизни и сладкой ласке.

Потом поверила в мечту о близком счастье: не то во сне, не то в тоскливых думах почудилось ей, что ищет ее прекрасный молодой человек. А когда встретила его, ей было только шестнадцать лет. Он служил приказчиком в магазине готового платья. Ходил он

с тросточкой, в мягкой шляпе, говорил звучные непонятные слова и прижимал ее руки к своей груди.

Стала жить им и ради него.

Товарки узнали ее тайну. И впервые почувствовала она настоящий ужас от завистливых и злых насмешек. Мастерица Федоска, грубиянка и песенница, набросилась на нее с ножницами и поранила грудь. Насилу отняли. В больнице лежала. Тосковала по нем и ждала. Но он не пришел, и сердце ее сжала ревность и тяжелое предчувствие.

И вот увидела она однажды Федоску под ручку с ним в саду. Обманутая, опозоренная, она не находила себе места. А над ней злорадно глумились мастерицы.

Как-то вечером поймал он ее на улице, крепко обнял и зашептал:

— Убей ее... отрави!.. Это она нас разлучила. Не мила она мне. Только ты мое счастье. Не жить вам вместе на свете: изведет она тебя. Убери ее с своей дороги, и мы будем праздновать чудную любовь. А если осудят тебя, я пойду в Сибирь вместе с тобой.

И так улещал и одурманивал ее изо дня в день.

Долго она терпела злые издевки, плевки и побои Федоски и решилась. Как она, глупая, была обманута!

...Настя вздохнула и пропела сама себе:

— Ах, как хочется счастья! И как хочется верить: придет оно, беспременно придет... И всё, что пережито, — и эта травля и тюрьма, — покажутся только страшным сном.

— Ничего! — ласково протянула Дарья, устраиваясь около стола. — Ничего, Настенька! Выйдешь вскорости, землица будет... Она пригреет, матушка... С хорошим человеком потрудиться на земле — великая радость.

— Ну, какая это радость на твоей земле?

— Господи! да Настенька! — изумленно закудахтала Дарья. — Роднуша! слова-то какие!

Варвара молчала и сурово пила, точно не слышала ничего. Потом подняла голову и сердито проговорила:

— Не понимаю тебя, Настя. Плетешь какую-то ерунду. Ничего не будет по-твоему: и на поверку

утром и вечером ходить будешь, и работищу ворочать, и каторжного клейма не смоешь. Не покоряться надо, не бредить о том, чего нет и не бывает на свете, а драться без пощады, чтобы всем чертям было тошно. Гордость свою надо крепко держать. Сломили, растоптали гордость — пропал человек.

Она быстро поставила блюдечко на стол и расплескала чай. Жесткие глаза ее вспыхивали злым огоньком.

— На ножах с ними надо, дьяволами. Всегда и на всяком месте! чтоб жизнь им была невмоготу... Мстить до самой смерти. Я скована с ними, и я сгорю не головешкой, а молоньей. Зато и испепелю их, проклятых, с ума сведу...

— Не выдержит сердце такой жизни! — вздохнула Настенька. — Нет, Варя, — не в этом счастье. Зачем калечить душу? Зачем жизнь свою пытками губить? Мне иной раз поплакать хочется... одной... Сесть под кусточек и поплакать. А то песни петь охота, — какие на воле пела, когда швейкой была. Ведь человеку-то очень мечтать хочется. Не может человек без надежды, без мечты о счастье жить.

Глаза ее наполнились слезами.

— Подале от них надо, от этих псов, — безмятежно сказала Дарья. — Они — по себе, а ты — по себе. Это верно, Настенька, без надёжи и жизни нет человеку. А вот гляжу я на нашу Варю-то и чую ее хорошую душу: она ведь тоже верой жизнь свою красит.

— Ну, ты... молчи уж, квочка!

Настенька встрепенулась и умоляюще посмотрела на меня.

— Скажите вот... Не верят они мне... Есть же все-таки сторона такая, где нет всего этого — ни каторги, ни крови, ни мук... И люди там прекрасные. Ведь правда, есть такая жизнь?

Я утешил ее:

— Если и не знают люди такой страны, она скоро откроется. Живет такая страна — трудовой народ ее увидит. Страдания и борьба за счастье не пропадают даром.

Настенька просияла и улыбнулась мне благодарно.

— Да, да! Я тоже верю. Как же без мечты жить? Мне даже снится такая сторона.

Варвара вскочила со стула и опять быстро и широко зашагала по землянке.

— А я, царевна-королевна, шкуру свою дешево не продам. Я и так свободна. Вся тут! Дралась и драться буду — в этом только и счастье нахожу, а не в пустых твоих снах да воображениях. Разные мы люди.

Дарья спокойно пила чай.

Да, это были разные женщины.

В комнатку ворвалась Мира и в отчаянии схватилась за голову. Платок у нее свалился, рыжие волосы рассыпались, и она, шатаясь и крича, как безумная забегала по землянке.

— Боже ж мой! Боже ж мой! И что ж это такое! И какое мы исделали зло? а? И разве мой муж не знал, что значит умно смотреть в глаза?.. О боже ж мой! Боже ж мой!

— Ну, чего всполошилась, Мирка? — осадила ее Варвара.

Настенька со страхом в глазах встала с табуретки. Варвара настороженно и сурово ждала, когда Мира успокоится. Дарья безмятежно пила чай. Вероятно, Мира не впервые влетала к ним такая же бурная и растерянная.

— Говори толком, а не визжи, Мирка! — строго приказала Варвара. — Лошадь, что ли, мужа улягнула?

— О нет! нет! Муж только что приехал... Не тогда, когда ты меня выпроводила. Подъехал и крикнул: «Мира! Я — дома. На этой лошади, Мира, можно объехать весь свет». И, о боже! сам старшой... схватил камень и — в ногу нашей лошадке, и она... она...

Мира опять закричала и забегала по землянке.

— Да не визжи же, ну!

— И она... она захромала... Боже мой! А мой муж забыл снять шапку... Бросился к лошадке и о шапке

забыл. А старшой... о, я умру сейчас!.. о милые подруги!.. старшой... как страшно бил моего мужа по лицу!..

Она сорвалась с места и выбежала так же внезапно, как и прибежала.

Варвара твердой поступью пошла к двери. Не оборачиваясь, она строго сказала:

— Придет и сюда, пес брехливый... Ну, да я сумею с ним разделаться.

Дарья растерянно и жалко смотрела вслед Варваре и с мольбою тянулась ко мне, точно просила у меня помощи. Настенька, бледная, сидела на своей кровати и остановившимися глазами смотрела в окно на лиловые горные склоны, обрызганные алыми саранками, как кровью.

— Господи! — шептала Дарья, не отрывая взгляда от Варвары. — Хоть бы мимо-то пронесло... Беда-то какая! Уйди ты, Варя, спрячься! Не трожь его, лешего!

Варвара твердо стояла на пороге, заложив руки за спину, и в пристальном ожидании смотрела на улицу.

Старшой остановился за порогом, прищурил глаза и обшарил внутренность землянки. Варвара не трогалась с места, сохраняя прежнюю позу.

Это был дюжий старик, с лохматыми седыми бровями и торчащими в разные стороны седыми усами. Такое обилие прямых торчащих волос делало его похожим не то на паука, не то на старого злого пса. Он оттолкнул Варвару в сторону и шагнул через порог.

Увидел меня и остановил на мне лохматый взгляд.

— Кто такой? С воли?

— А тебе что? — сказала Варвара, становясь около него. — Что елозишь, как Кащей, по чужим углам? Чего тебе здесь нужно?

— Лахудра! — заорал он, сотрясая свое грузное тело. — Не возражать! Мало тебя утюжили, дармоедку?

Варвара побледнела, вытянулась вся, но глаза ее

играли злой насмешкой. Не отнимая своих рук из-за спины, она дерзко ответила старшому:

— Ну, не ори больно-то! Не страшно. Аль не видишь, как над тобой, старым дураком, хохочут?

— Запорю! — задыхаясь от ярости, прохрипел старшой. — Все мясо с костей сдеру!

А Варвара гордо стояла перед ним и усмехалась. Казалось, что она выросла от жгучей ненависти к этому свирепому старику, деспотическому охранителю каторжного порядка.

Дарья, как больная, поплелась за занавеску. Настенька неподвижно сидела на кровати, и лицо ее судорожно подергивалось.

— Встать! Не видишь, кто пришел? Вольная команда — такие же арестанты.

Настенька покорно встала с застывшими глазами. Варвара бесстрашно била словами старшого:

— Палач ты! Не тело наше, а душу в тюрьме казнил. И здесь истязать хочешь? Жаба старая!

А он, страшный и дряхлый, равнодушно ответил:

— В карцере задушу, дармоедку! Не ты первая, не ты последняя. Сколько я вас на тот свет отправил — не пересчитать.

Я стоял между ею и им и говорил:

— Послушайте, оставьте женщин! Чем они вам помешали?

— Что-с? Каким здесь пóбытом очутились? Кто вам дал разрешеньице? Ага, господин начальник-с? Покоряюсь. Но и я имею-с выслугу: на Каре-с был. Примерная каторга-с. Политики передо мной шапки ломали. Иных и розгами сек. Всяких зверей укрощал-с. Там, где я-с, — трава вянуть должна. Вот-с.

— При вашем положении это нетрудно, — согласился я, — но женщины-то вас не трогают. Зачем же вы их обижаете?

— Поставлен обижать и унижать. Без этого я не службист. Я — раб и слуга моего анператора. Я — наказанье для лишенных прав состояния.

Из-под седых пучков бровей жутко смотрели льдистые глаза и подозрительно ползали по мне.

— Я вас должен выдворить: недопустимо быть без надобности у каторжанок вольному человеку.

Дарья навзрыд плакала за ширмой.

— Плачет, хы! Овцы-с! Чей огород? Завтра пришлю срыть. Баловство-с! Недопустимо-с каторжанкам вольными делами тешиться. Тут — огород-с, там лошадки-с...

Варвара, бледнея от гнева и злобы, крикнула ему:

— Хоть бы сто таких палачей было, как ты, беззубый бес, — не страшно! Покамест живы — будем разводить огород и забавляться.

Дарья тяжело вышла из-за занавески и грохнулась на пол.

— Господин старшой! Огородик-то для пищи... Не зорите... труда-то сколько!

Старшой довольно ухмыльнулся...

Варвара яростно толкнула Дарью ногою.

— Дарька, встань! Прочь отсюда!

Дарья, рыдая, ушла за ширму.

— Сгинь, варвар! Жива не буду... Лучше сгинь... а то... ей-богу!..

Варвара схватила кипящий чайник и бросилась к старшому.

Я перехватил ее и повернул обратно.

— В карцер с поверки! — с прежним равнодушием прохрипел старик. — В кандалы закую. Из моих рук ты не вырвешься.

— Ну, да и я же вам покою не дам, проклятым!

— Укрощу-с, будь уверена. Обломаю-с... в дурочку обращу.

— А я замаю тебя, старый палач... задохнешься... до кондрашки доведу...

Я вывел старика на дорогу к тюрьме и пошел с ним рядом. Он был почему-то очень доволен, что я провожаю его.

— Вот-с они какие! Те две — не в счет: овцы-курицы. Моей выучки. Они уже на всю жизнь расчесаны под мой гребешок. — Он захихикал по-старчески визгливо. — А это — Варька — зверь. И я — зверь, только из ада. Еще не было случая, чтобы в моих руках раз-

ные зверюги не обращались в овечек. Я любого умника идиотом делал. А то и до смерти засекал. Бывало, и сами вешались. До всего доводил. А Варька ползать будет в моих ногах... или рехнется... А скорее я ее закандалю и засеку.

Я расстался с ним на тюремном дворе и быстро прошел к квартире начальника: я надеялся, что начальник усмирит этого безумного изверга, хотя бы из опасения, что я могу «протащить их в газете».

В землянке была угрюмая тишина.

Настенька лежала на своей белой постельке и горестно плакала.

Дарья, должно быть, ушла в свой огородик.

Варвара, строгая, бледная, стремительно ходила по комнате. Как слепая, она прошла мимо меня с ожесточенными глазами.

Настенька села на кровати, схватила мою руку и застонала:

— Родненький! Милый! Увезите меня отсюда! Освободите меня из этого ада! Пять лет... пять лет распинали меня. Душу всю вымотали...

Я гладил ее руки и говорил ей о скором ее освобождении, о радостях, которые ждут ее на воле, о ее молодости, о ее солнечной вере в счастье. Я рассказывал ей сказку, как ребенку, а она затихала, успокаивалась и судорожно всхлипывала.

А Варвара говорила сама с собою непримиримо, твердо, словно гвозди вбивала:

— Они уж только грозят... уж руки отсыхают... Ни в жизнь не дамся! Они меня уж хорошо почувствовали. Нашла коса на камень и лопнула. Я сильнее их, хоть и поседела раньше время... Я их в страшных снах душить буду. А от их кнута моя душа, как сталь звенит. И друг мой милый, парнишка, со мною... вот тот, о коем рассказывала...

Она подошла ко мне и засмеялась.

— Вот. Видите, как мне хорошо? Словно я гору сдвинула. Вот оно в чем счастье мое!

Вдали, из ущелья, выползал мохнатый полусумрак.

Он поднимался по левому склону сопки вплоть до вершин и тушил там солнце. Из пади плыла прохлада и запахи молодого леса и цветов. Где-то в красных отвалах породы брякали кандалы.

В казенном огороде по-прежнему покорно ползали по черным и зеленым квадратам белые согнутые фигуры и так же неотступно и неподвижно сторожили их черные тюремщики.

Навстречу шли молодые и старые женщины, одетые в саваны, и медленно везли огромную бочку. Казалось, они никогда не распрягутся из этого тяжелого дышла и вечно, не переставая, будут возить жирную мокрую тушу. Они молча посмотрели на меня, замедлили шаг и скорбно запели.

А кругом все жило своею огромной жизнью, своею особою великою правдой.

1905

4. МАЛЮТКА В КАТОРЖНЫХ СТЕНАХ

Старый надзиратель, тот самый, который бушевал в землянке трех женщин, проводил меня до ворот в каменной стене, с пятью толстыми зубцами над створами, и грозно проворчал: «Допуск на тюремный двор и в камеры вольным запрещается». Но так как начальник приказал ему впустить меня в тюрьму для осмотра камер и не сопровождать дальше ворот, он смотрел на меня волком. Я видел, что он не одобрял начальника, а подчинился ему по привычной субординации. Он подозрительно оглядывал меня волчьими глазами, но лицо искажал угодливой ухмылкой. Он боялся меня, как человека, который печатается в газетах, а таких людей он не встречал никогда, но знал, что они обладают неотразимой силой «протаскивать» грешников в печати. Как всякий живодер и палач, он повелевал целой толпой каторжниц и каторжников. Он с наслаждением садиста надругался над такими смелыми и неподатливыми женщинами, как Варвара из вольной команды, но трусливо притворялся услужливым перед человеком, который, хоть и скромный, обыденный на вид, обладал, в его глазах, большей властью, чем сам начальник каторги. Даже одно загадочное слово «литератор» вызывало в нем страх и трепет. Впрочем, и сам начальник тюрьмы, разгильдеевской выучки, в конце концов оказался калекой после расправы над ним кандальников, — даже он держал-

ся перед «литератором» с кроткой предупредительностью.

Старшой хрипло пожаловался:

— Трудная и опасная у меня служба. Разбойники на разбойниках. Жизнью своей рискуешь.

— Это женщины-то, невольницы-то ваши, — разбойницы? Ну, не смешите! Я видел, как вы свирепствовали над беззащитными.

— Господин литератор, не поверите — это такой народ, что каждая из них готова растерзать меня.

Он нажал кнопку где-то сбоку, и калитка распахнулась с железным визгом. Молодая, круглолицая, со строгим лицом надзирательница заслонила собою проход. Она с изумлением быстро оглядела меня и уставилась на старшого.

— Пропусти и проводи по камерам этого господина, — недовольно распорядился старшой. — Он в газетах пишет. И чтобы ничего недозволенного не допускать.

Надзирательница как будто не слышала грозного его предупреждения, отступила в сторону и официально пригласила меня:

— Пожалуйте!

Я перешагнул порог, и она с грохотом захлопнула калитку.

— Я не допускаю сюда этого зверя. Требую, чтобы и другие надзирательницы закрывали перед ним дверь.

— Вот как величаете вы свое начальство!

— В камерах сейчас нет никого — все на работе. Да они вам и не нужны: ведь они такие же, как и те — в вольной команде. Только здесь ночью под замком.

— Вы давно здесь служите?

Она усмехнулась и вздохнула, потом взглянула на меня строго, но с печалью в глубине глаз.

— Служу... именно служу... Им служу... а не палачам. Уж больше года живу с ними. Ведь все они не злодейки, не преступницы, а просто несчастные. Впрочем, некии из них даже радуются, что в каторгу попали: избавились от бабьей неволи. А девчата перемучились от своего позора и оставили его там — в ненавистных родных местах. Я ведь пошла сюда, на

страду эту, по совести. Я — из Нерчинского завода, недалеко отсюда. Отец учителем был. Училась и я, тоже мечтала учительницей быть. Да вот насмотрелась здесь на этих пленниц, и душа у меня перевернулась. Вручили мне ключи от человечьих клеток и приказали: «Сторожи! Знай, что это — каторжницы, а каторжницы перестали быть людьми, потому что они лишены всех людских прав, и можешь делать с ними что угодно».

Вдоль правой каменной стены тянулось деревянное почерневшее от времени здание, похожее на сарай, с окнами, закованными железными решетками. За ним пласталась такая же сарайная изба, с такими же окнами в решетках. Вдали, у задней стены, близко друг к другу стояли не то амбары, не то какие-то хранилища, и только в широко открытую дверь одной из изб видно было, как ярко полыхает в печке огонь и черная тень то заслоняет его, то исчезает, сливаясь с тьмой.

Голенастая девочка лет шести с криком вскочила с травы и бросилась в кухню, с ужасом в глазах оглядываясь на нас. Надзирательница улыбнулась и остановилась, вглядываясь в огненный распах двери.

— Это — Глаша. Она родилась здесь и за стены ни разу не выбегала.

— Почему же? Не пускаете? Запрещено?

— А вон видите, как она улепетывает?

— Отчего же все-таки? Боится вас с ключами?

Надзирательница опять улыбнулась, и в то же время лицо ее опечалилось.

— Как раз она нас-то, тюремных барбосок, и не боится. Ее потрясает ужас, когда открываются ворота или даже калитка в воротах.

— Что же ее пугает?

— Застенный мир — не запертый. Вот вы, нежданный, негаданный, явились сюда — в эти каменные стены, — она и скрылась без памяти в какую-нибудь узенькую щелку.

Надзирательница спохватилась и направилась к открытым дверям первого деревянного здания. Со спины она, в тюремной черной форме, подпоясанная широким

ремнем, со связкой тяжелых ключей в руке, вдруг стала жуткой, словно и меня вела в эти узилища. Как-то не вязалось это ее тюремно-надзирательское обличье с ее строго-печальными глазами и девичьей молодостью. А когда она обернулась ко мне и понимающе улыбнулась, я почувствовал, что отсюда ей уже не уйти.

Я вошел вслед за нею в просторную камеру с двумя длинными рядами нар, примыкающих к стенам. На них постели были покрыты серыми суконными одеялами. Так как окна были открыты, воздух в камере был легкий и чистый. И пол был хорошо промыт, не видно было и смрадной принадлежности закрытых камер — параши. Я не видел такой прибранности и чистоты даже в казарме вольной команды. Надзирательница или не заметила моего удивления, или не подала виду, что заметила; она крикнула кому-то в даль камеры:

— Рыбкина! Беги-ка сюда. Этот приезжий господин хочет узнать, как вы здесь живете.

Из-за белой широкой голландки показалась маленькая курносая женщина во всем белом и побежала к нам с изумленной улыбкой. Она покорно застыла около надзирательницы и поклонилась мне в пояс, не угашая улыбки.

— Я не знаю, чего и сказать-то, Вера Петровна.

— Вы давно находитесь в заключении?— спросил я ее и в душе изругал себя за этот неосторожный вопрос.

Но она с прежней застывшей улыбкой охотно ответила:

— Да вот уж седьмой год нахожусь здесь. Тут у меня и дочка родилась: беременную меня сюда пригнали.

— Значит, эта девочка — ваша дочка? Она при моем появлении моментально скрылась.

Надзирательница Вера Петровна пояснила:

— Нет, она не от вас скрылась, а оттого, что я калитку распахнула. Это — странный ребенок. Как только отворяются ворота или калитка, она кричит от страха и забивается в самые глухие углы.

— Может быть, ее кто-нибудь сильно перепугал?

— Ну как же это можно, — встрепенулась Рыбкина. — Глашеньку все любят, и она ко всем привязчива. Для нее все женщины — свои: она словно в родной семье. А в Вере Петровне души не чает. Даром что ребенок, а чует душеньку ее и защиту нашу.

Вера Петровна сердито выпрямилась и вскинула голову.

— Ну ты, Рыбкина, не болтай вздора. От меня особой милости не ждите. Разве не я своей строгостью заставила вас в камере чистоту и порядок ввести и поддерживать? Разве не я добилась, чтобы вы обуздали варначек, которые вами командовали? Правда, я их в карцер не сажала, зато хуже карцера вы с ними расправились.

Неожиданно в камеру вбежала та голенастая девочка, которая в ужасе скрылась за кухней. Белобрысая, курносенькая, она с ужасом в широко открытых глазах спряталась за спиной матери. Я уже несколько дней хранил в кармане коробку мармелада в надежде, что девочку я увижу вблизи и обрадую ее этим гостинцем. С высокого склона сопки я постоянно видел ее на дворе. Я вынул коробку и ласково позвал ее, но она не откликнулась. Вера Петровна с сердитой лаской прикрикнула:

— Глашатка! А ну-ка, вылезай из-за мамкиной юбки и иди ко мне. Вот дядя принес тебе гостинец — конфетки. Получай!

Девочка со страхом в широко открытых глазенках выглянула из-за юбки матери и юркнула за печку.

Рыбкина, судорожно улыбаясь, оглянулась и, тупо всматриваясь в меня, тихо и покорно разъяснила:

— Вот кто во дворе нашем — только не из вольных, — тех не боится и даже веселится и озорует. А вот от вас замерла: сейчас забралась в щель за печку и лежит как неживая.

— Почему же это? — удивился я, пораженный ее словами.

— А вы — с воли... и в вольной одежде. Она ведь здесь родилась, в этих стенах росла. Видит высоко над стенами сопки... Они, как небо, далеко и высоко.

К нам ведь вольные не приходят. А вы — незнаемый из неведанной воли, а она — страшная до смерти.

Вера Петровна задумчиво пошутила:

— Ежели бы все наши заключенные каторжанки так ужасались застенной воли, лучшей бы доли им и желать нельзя.

Я попросил позволения пройти по камере, чтобы увидеть девочку вблизи.

Вера Петровна сказала:

— Все женщины на работах. Воду возят в огороды, землю копают в саду, на рудниках крутят лебедки, руду наверх поднимают. Рыбкину оставляют здесь: у ней ребенок, да и больна и слаба для тяжелых работ.

Рыбкина совсем не похожа была на каторжанку. Не было в ней той постоянной испуганности и забитости, которой добиваются от каторжниц тюремщики. Около меня шла легкими и мягкими шагами молодая миловидная женщина, бледная, с застывшей, неугасающей, покорной улыбкой.

— Как ваше имечко, Рыбкина?

Она вскинула на меня встревоженные глаза и отвернулась.

— Я — Рыбкина, а от имени отвыкла. Мы — каторжницы, а не люди. С меня только недавно кандалы сняли.

— Но все-таки не откажите назвать себя по имени.

— Не растравляйте меня, — больным голосом, словно в бреду, ответила она. — Да и вам до этого нет никакого интересу. У меня вон и ребенок, которым наградил меня один разбойник, родился в тюрьме. Он знал здесь только одну игрушку — мои кандалы. Гремит ими и смеется. Она даже плакала, когда меня расковали: отняли у нее игрушку — железные путы мои. Уж очень весело они звенели в ее ручонках.

У нее впервые блеснули в глазах жгучие искры, и лицо судорожно задрожало. Она как будто сейчас только заметила меня и отступила на шаг, всматриваясь в меня с пристальной отчужденностью.

— Любавой звали меня, — усмехаясь, громко произнесла она это имя. Потом неслышно засмеялась и

добавила: — А может, и Забавой... Я мешаю эти имена: их было у меня много.

— За что же вас осудили и надолго ли?

— На восемнадцать лет. За всё — за что хотите...

— Но ведь женщин в кандалы не заковывают, Любава.

— Это кто вам сказал? Заковывают надежно, — конечно, таких, как я, — долгосрочных и опасных преступниц.

— Какая же вы опасная? Женщина, как все. Мне же кажется, что вы по характеру добрая, общительная и не способны на преступления, а тем более тяжкие.

Она уже держала себя развязно и мерила меня вызывающими взглядами.

— Мне тоже когда-то казалось, что я не способна на преступление. А вот любуйтесь на самую лютую преступницу.

И она впервые засмеялась громко, но так, что вот-вот заплачет.

— Любава! Не забывайся! Девочка умеет и слушать и запоминать. Ты нарушаешь наш уговор.

Рыбкина вздрогнула и сразу же преобразилась — смущенно потупилась, съежилась, и лицо ее потухло и оцепенело.

— Виновата. Простите меня! А господина попрошу больше ни о чем меня не расспрашивать.

— Где же ваша девочка? — обратился я к Любаве и к надзирательнице. — Можно мне посмотреть на нее хоть издали?

Надзирательница кивнула мне головой и не сдержала улыбки. А Рыбкина отчужденно и равнодушно ответила:

— Ну что ж, глядите, коль вам позволено. Только вы все равно не найдете. Вы ее сразу же вольным страхом ошарашили. Вы и сюда ужасный для нее дух принесли. Даже я чую этот ваш вольный запах.

Я обошел большую кирпичную печь и не обнаружил ни подпечка, ни запечка, ни борова наверху.

— Куда же она исчезла?

Любава стояла с бездумно застывшим лицом. А надзирательница лукаво улыбалась.

— Непостижимо... — изумлялся я. — Не разрешите ли мне эту загадку?

— А ее здесь нет, — скучным голосом пояснила Рыбкина.

— То есть как нет? Она же сейчас пряталась за вами, а потом скрылась за печкой.

Надзирательница кротко приказала Любаве показать мне, куда ускользнула девочка. Но Рыбкина как будто не слышала голоса надзирательницы и не пошевелилась.

— Ты не поняла меня, Любава? — так же кротко произнесла надзирательница.

— Не пойду и не покажу, — заупрямилась Рыбкина и оттолкнула меня враждебным взглядом. — Тут вам не фокусы показывают. Мой ребенок тоже человек... и не хуже других вольных праведников...

Я смутился и взволнованно поспешил успокоить ее.

— Ну, как вы могли подумать, Любава? Извините меня за неосторожность. Но у меня и в мыслях не было оскорблять или обижать вас.

Надзирательница шагнула к ней и строго одернула ее.

— Ты забылась, Рыбкина. Ты не среди жиганов. С гостем так не обращаются.

Но я сразу же перебил ее:

— Я ее хорошо понимаю, Вера Петровна. Переносить каторжную неволю много лет, да еще и ребенок не знает, что такое свобода за каменными стенами, — это тяжелая драма.

При последних моих словах у Любавы задрожал подбородок, и широко открытые глаза налились слезами. Тяжелые капли скатились по щекам и упали на руки, сложенные на груди. Она медленно и как будто бессознательно отвернулась и тихо пошла к своей койке.

Мы с надзирательницей вышли на дворик. Вера Петровна помолчала, оглянулась и задумчиво остановилась.

— Шесть лет провела она в этих стенах, в камере за решетками и под замком. Женщина на вид безобид-

ная, смирная и с другими женщинами живет в дружбе. Ее любят и к девчушке все привязаны. А не подумаешь, что эта Любава Рыбкина двойное убийство совершила: сперва мужа, а потом свекра топором зарубила. Мужа-пьяницу — за зверское истязание, а свекра — за насилие. Свекор принудил ее с ножом в руке. Так с ножом несколько раз и насиловал ее. Застала их свекровь и до полусмерти избила ее. Ну, она и его топором. Вообще на воле это была самая несчастная женщина. Как видите, она миловидная, приятная, хочется говорить ей хорошие слова от сердца. Да она такая и есть на самом деле. Преступница-то не она, а те, кто мучил ее и насилием принуждал к разврату. А по слепому закону ее осудили как тяжелую преступницу.

— А ребенок-то чей?

— Ну, это тоже — тяжелый случай. Партия каторжан, как это нередко бывает, месяца на три задержалась в Тюмени. Ах, тяжко об этом рассказывать. Вы сами видите, какие в тюрьмах, особенно в каторжных, бывают звери, вроде нашего старшого. Одним словом, и на воле и в тюрьмах для женщины только одна судьба — насилие и часто страшное. Для тюремщиков каторжанка лишена права на самозащиту. А если она будет отбиваться и хотя бы нечаянно ударит начальство, ее либо удавят, либо увеличат срок каторги и закуют в кандалы. Дальше и говорить не стоит: вы и без того хорошо все понимаете.

Правда, я и раньше знал о жестокости и самовластии тюремщиков, но такого издевательства над несчастными женщинами я не представлял. Любава же была просто великомученицей: годы выносила насилия и издевательства пьяного мужа и свекра, а в каторжных тюрьмах и пересылках все эти псы и палачи считали своим неотъемлемым правом блудить с каторжанками и всячески эксплуатировать их.

Но меня удивляла и сама надзирательница Вера Петровна: почему она работает здесь, в этом проклятом месте, с ключами в руках охраняя в камерах всех этих несчастных женщин и девушек, изгнанных из жизни и бесправных на целые годы, даже тогда, когда их

пригонят на вольное поселение? Я осматривал ее пристально и недоуменно, и она догадалась, о чем я думаю.

— Вы не удивляйтесь. Эти страшные стены в две сажени вышиной пропитаны слезами, стонами, тоской и мстительной злобой. Я пережила здесь два самоубийства. Кончали с собой самые молодые: для них эта каторга была уже смертью. Пришла я сюда по убеждению. Раньше, с молоду, училась, читала, жила среди политических. И вот пошла сюда: душой изныла, сил не было терпеть, как человека медленной смерти предавали. Ведь только в этом застенке появляются тираны и палачи. Бесправие и беззащитность — почва для садистов, для безумных пыток и убийства человека заживо. Вот и пошла, чтобы защитить женщин. Они всегда были бесправны и беззащитны. Я очень хорошо изучила их и знаю, какие они умные и хорошие. На воле мало женщин и девушек, которые сравнялись бы с ними по беспощадности ума. Этот старшо́й издевался здесь над женщинами каждый день. Все дрожали от одного его голоса и вида. Я исподволь сумела вытеснить его отсюда. Пришлось завоевать себе доверие начальника. Вы, должно быть, уже знаете, что каторжанки чуть не убили его в Алгачах. С тех пор рука-то у него на привязи. И страх поразил его навсегда. Вот он и рад, что нашел во мне строгую надсмотрщицу. А я потребовала, чтобы и ноги старшо́го внутри стены и в камерах не было, если он, начальник, не желает, чтобы среди заключенных не было самоубийств или кровавого бунта. Кроме того, мол, время настало другое: на войне японцы нас бьют, рабочие в России бастуют, а революционеры и министров убивают... Пахорукий, до смерти напуганный расправой над ним «втемную», очень даже рад был такому обороту дела. Он и распорядился приказом, чтобы старшо́му ход был закрыт в тюремные стены. После этого старшо́й совсем озверел и срывает свою злобу на тех, кто в вольной команде.

— Да, это страшный человек, — согласился я. — Но ему и отпор хорошо дают. Я опасаюсь, как бы он не довел кое-кого до расправы над ним.

— Знаю. О Варваре говорите. Не беспокойтесь: ее голыми руками не возьмешь, да и она не будет больше с ним цапаться, — я это сумею устроить. Она — умная и сильная баба, и мы с ней уже понимаем друг друга. Он туда и ходить не будет.

— Кто же ему запретит? Ведь по своему положению он волен распоряжаться своей властью где ему угодно.

Вера Петровна засмеялась.

— По виду — страшный, а как всякий палач — трус. Он и меня, малорослую, боится. А Пахорукий с ним расстаться не хочет: верный барбос.

Внезапно к надзирательнице подскочила Глашенька и прижалась к ней. Она враждебно поглядывала на меня и, схватив связку ключей на железном кольце, прижимала их к груди. Я хотел ее приласкать. Но она отпрянула назад и с ужасом в глазенках залепетала:

— Прогони его: он же оттуда... Возьми ключи-то и выгони его... а там люди с бородами... страшные... как волки. Ведь они, волки-то, тоже там, за стенами... на сопках.

И она, голенастая, патлатенькая, быстро убежала и скрылась в черной дыре открытой двери в кухню.

Из разговора с надзирательницей я узнал, что девочку ни разу не выводили за толстые и тяжелые тюремные ворота, и она не видела никого, кроме каторжанок в камере и надзирательниц. Эта малютка была для них единственной отрадой: для каждой из каторжанок Глаша была дочкой. Они наперебой ласкали ее, играли с нею в нерабочее время — по вечерам и в праздники. Когда в обед или вечером в открытые ворота по две в ряд шагали во двор каторжанки в одинаковых по-летнему холщовых бушлатах мимо надзирательницы у ворот и меж двух конвойных солдат, девочка пряталась в кухне и выглядывала из-за косячка. Но как только ворота закрывались и грохотал тяжелый замок, девочка выпрыгивала из черной дыры кухни, летела навстречу женщинам и исчезала в их толпе с радостным визгом. Для каждой из заключенных женщин эта малютка, которая родилась и

росла в тюрьме и которая не знала другой, вольной жизни, была единственной, неповторимой радостью — радостью, необходимой в условии многолетнего заключения. Но для девочки этот небольшой двор без единого деревца, без зелени, окруженный высокими каменными стенами, был подлинным свободным миром: здесь она чувствовала себя как в родном доме, среди родных женщин. Там же, за крепкими, как скалы, стенами — неведомый, страшный мир, окруженный близкими и далекими сопками, откуда долетают через стены и тяжелые, окованные железом ворота хриплое рычание бородатого старшого, топот солдат с ружьями и окрики седого начальника с рукой на перевязи. А когда распахиваются ворота или отворяется калитка, врезанная в ворота, малютку до ужаса поражает воздушная пустота скалистых далей, заросли кустарников и песни каторжниц, похожие на рыдания.

Девочка жила и знала только свой тюремный двор: этот ее мир в крепких каменных стенах был для нее и колыбелью и родиной, где она сжилась с каждым камешком, с каждым закоулком, и в старых деревянных бараках — в многолюдной камере и в душной кухне, похожей на большой амбар, — все было привычно и мило от рождения. Почему же девочка не выносит жизни и простора за воротами тюрьмы? Почему страх перед тем, что происходит за стенами, леденит ее сердчишко? Неужели у нее не пробуждалось любопытства и желания узнать, какие люди живут среди сопок, что это за женщины вольной команды, что это за таинственные кусты и что это за собаки, которые лают где-то далеко? Только галки да воробьи были обычными гостями во дворе около кухни. Живой и постоянной подругой была для нее и бочка на дрогах, в которую каждый день впрягались родные женщины и привозили ее обратно, полную воды.

Но в прошлом году малютку потрясло одно событие. Однажды в тюрьму ворвался огромный старшой впереди двух надзирательниц. Его жирное лицо, заросшее звериными волосами до самых волчьих глаз, всегда приводило в трепет каторжниц. Ребенка обычно перед поверкой прятали в кухне у старухи бессроч-

ницы, которая любила малютку, как внучку. Но на этот раз мать не то замешкалась, не то отважилась оставить дочурку у себя на нарах.

— Встать, суки! — зарычал старшой. — Становитесь на поверку! Живы еще? Никто не удавился? Никто в рудник не сверзился? У меня и это бывало... Ничего, ничего... я всяких укрощал.

Он хрипло ворчал и был доволен, что перед ним все они молчали покорно и тупо. Вдруг он заметил малютку на нарах и ринулся к ней.

— Эт-то что такое?! Почему в тюрьме этот крысенок? Чей? Выбросить! Вон!

Любава без памяти кинулась к ребенку и прижала к груди, а девочка завизжала и задохнулась от плача и с безумным ужасом смотрела на страшное чудовище, которое ворвалось к ним из-за ворот.

— На место! Руки по швам! Взять ее в карцер вместе с ее псенком! Родить в каторжной тюрьме... Это неслыханно! В карцер!

Каторжницы застыли, как в столбняке, оглушенные страхом. Но Любава с девочкой на груди стояла у своих нар и успокоительно гладила ее по спинке.

— Это за что, старшой?! — истошно крикнула она. — Чем досадил тебе ребенок? С нами, каторжанками, ваш брат обращается как с потерянными и насильничает с кулаком и плеткой. Вот и ребенок... Не меня, а того подлеца с золотыми погончиками надо карать.

Старшой совсем озверел: он с вытаращенными глазами и с поднятым кулаком пошел к Рыбкиной, которая обреченно и бесстрашно смотрела ему навстречу, защищая обеими руками малютку. Но он не дошел до Любавы: перед ним выросла новенькая надзирательница.

— Опомнитесь, старшой! Что вы делаете? Нарушить закон и инструкции я не позволю. И не допущу, чтобы вы потеряли свой авторитет. Опомнитесь!

— Прочь от меня, дура! — заорал старшой, хотя видно было, что он поражен этой надзирательницей. Он затопал сапогами, но стал изумленно озираться. — Порядка не знаешь... Марш на свое место! Я тебя вышколю, чтобы другим не повадно было!

— Успокойтесь, старшой. Поймите, вы сейчас себя

губите. Опомнитесь! Что внушал вам начальник? Мы с вами не здесь будем разговаривать.

Она смело взяла его под руку и отвела назад, к другой надзирательнице, которая сдавала ей дежурство. Он бессознательно подчинился, но свирепо тряс бородой и рычал, пораженный неожиданным бабьим сопротивлением.

Вдоль рядов стоящих женщин пролетела девочка. Женщины проводили ее с испугом в глазах. Вдогонку за ней бежала с помертвевшим лицом Любава, протягивая вперед руки.

— Глаша, милка, назад! Назад! А то он убьет тебя.

Но девочка подскочила к старшому и стала яростно колотить ручонками по его ногам.

— Уйди! уйди! — безумно взвизгивала она. — Прогоните его! Прогоните!

Любава подхватила ее под мышки и отбежала с нею к своим нарам. Новая надзирательница, Вера Петровна, не отходила от старшого, и все заключенные поняли, что она сразу же не дала ему размахнуться и показать свой звериный нрав. Она как будто охраняла его тюремную значимость и била по его самолюбию, но лицо ее, строгое и небоязливое, и голос, решительный и по-женски успокаивающий, обезоружили его.

— Господин старшой немного погорячился, — сказала она официально, как полагается говорить с заключенными. — Он привык к строгому режиму на каторге. А у вас режим не кандальный и не каторжный. Господин старшой, не беспокойтесь: я сумею навести порядок.

Старшой и в эту минуту не мог опомниться, хотя он был опытный тюремщик и никогда не терялся даже при ревизии высокого начальства. А тут совсем неожиданно и смело новая надзирательница, молодая бабенка, а может быть и девка, не похожая на простую женщину, нарушая привычную субординацию, обращалась с ним, старым служакой, как с ровней. И строгость его, и угрозы, и свирепость не произвели на новенькую убийственного впечатления. И он после некоторого колебания, вероятно, решил, что она, свеженькая бабенка с неломким характером, не просто слу-

чайно попала на свободное место, а прислана из Горного Зерентуя по особому указу. Об этом он не успел узнать, а начальник почему-то не уведомил его, только приказал:

— Проводи вот новую надзирательницу на дежурство. Глупостей не позволяй себе, да и баб из вольной команды забудь. Никакого рукоприкладства. Это — не на Каре, не разгильдеевское время. Мне же указание было... Понял о чем говорю?

— Так точно, ваш-бродь!..

И начальник и он, должно быть, чувствовали, что времена изменились, что те события, которые происходили в России, — движение рабочих масс в Петербурге и их расстрел, убийство министров, забастовки, — не просто бунт, а какая-то грозная сила, непонятная и кромешная. Старшой молча после вмешательства новенькой проследил за поверкой и с освободившейся надзирательницей вышел из тюрьмы.

А девочка сразу успокоилась и весело забегала по камере от нар к нарам и щебетала с женщинами. И каждая из них привечала и ласкала малютку. В эти минуты она чувствовала себя радостно, свободно, а каторжницы забывали о своей доле—невольниц и рабынь.

Я наблюдал надзирательниц на работах каторжанок и на огородах, и на рудниках, и на подвозке воды. Это были молчаливые женщины средних лет, с темными, бездумно застывшими лицами. Одетые в мешковатые бушлаты, перетянутые ремнем, они шли вместе с каторжницами, которые везли бочки с водой или стояли, когда заключенные работали на огороде и на рудниках на взлобке за казармами вольной команды. А поодаль скучали конвойные солдаты с ружьями под мышкой. Эти надзирательницы казались мне одноликими, бездушными и жуткими в своем нечеловеческом безмолвии. Долголетняя тюремная муштра, привычное дежурство с ключами в руках перед ночными камерами под замком, постоянное заглядывание в волчки в дверях, окованных железом, превратили этих женщин в автоматы. Я наблюдал их каждый день и ни разу не заметил, чтобы глаза их вспыхивали от улыбки или от гнева.

Но Вера Петровна появилась в этом каторжном мире тюремщиков и тупых надзирательниц из иного, давно позабытого мира, где нет ни кандальных цепей, ни грохота тяжелых замков, ни конвойных, ни свирепых старших истязателей. Пришла она хоть и одетая в тюремную форму, но такая живая, бодрая, без тревоги и боязни в лице. Глаза ее доверчиво и дружески улыбались и как будто сияли светом в этом мрачном каземате. Говорила она звонким голосом и к каждой надзирательнице и каторжанке подходила одинаково пытливо и душевно. Всех она поразила и взволновала. Сначала старые надзирательницы растерялись и как будто обмерли. С той же вечерней поверки, когда она усмирила старшого, надзирательницы несколько дней обсуждали шепотом это событие, а потом со своей старшой пошли к начальнику Пахорукову. Они вытянулись перед ним и доложили, что новенькая совсем не считается с их режимом и даже старшого огорошила. Как им быть дальше, ежели рушится давний, не ими заведенный порядок? Сегодня она, дикошарая, старшого одернула, а завтра и их начнет конфузить перед каторжанками, а там она и каторжанок на них натравит. Сюда всегда назначали вышколенных или покорных женщин. А эта совсем не подходит к их распорядкам. Начальник похвалил их за приверженность к тому режиму, который он утвердил со своим верным слугой — старшим, и, довольный, улыбнулся в седые усы.

— Работайте так, как и до сего времени работали, никаких перемен нет и не будет. Но время сейчас тяжелое и опасное. Война идет к концу — поражение за поражением. А в России смута. Солдатня бежит с фронта и громит станции. Надо нам только полегче... не орать, карцер пока отменить. Нам сейчас нельзя суровость к заключенным проявлять. Хоть они и за каменной стеной, но слухи к ним прилетают на хвостах воробьев. А новенькая будет все выполнять по инструкции, и она же не допустит ни бунта, ни беспорядков в тюрьме.

Так рассказала мне Вера Петровна по дороге к воротам.

Я оглянулся в надежде встретить девочку, но она исчезла бесследно.

— Глаша всегда убегает в свои закоулки, если я или женщины, которых угоняют на работы, идем к воротам. Ей мерещится ужасная воля за воротами, очевидно в образе старшого или какого-нибудь людоеда.

— А скажите, Вера Петровна, как скрылась девочка из камеры? Я так и не могу догадаться.

Вера Петровна засмеялась, и смех ее, по-девичьи лукавый, совсем был некстати в этих каторжных стенах.

— Да она и не выбегала из камеры. Она спряталась под нары и проползла там до самой двери.

— Вас несомненно любят женщины. В их несчастной судьбе вы приносите им отраду и надежду на будущее.

— Не скромничаю, — ответила она с гордостью. — Я облегчаю их тяжелую неволю человеческим к ним отношением, а в этом и сама получаю удовлетворение. Ведь я пошла в эту живую могилу по влечению... Именно в прошлом году добилась, когда повеяло беспокойством в стране: начальство по глупости своей меня не пускало, а сейчас приняло охотно.

Она открыла и распахнула калитку, и я вышел на широкую площадку перед тюрьмой и домом начальника. Грохот замка оторвал каторжный застенок от свободного простора, где открыты и дали и дороги. А малютка никогда не знала иных просторов, кроме тюремного двора и клочка неба над каменными стенами. Это узилище — ее родной мир, и каторжницы — ее родная семья. А там, за стенами, за воротами, — страшная, таинственная «воля», где воют волки по ночам, ревет по-волчьи старшой, топают сапогами солдаты, далеко поют женщины под охраной надзирательниц и солдат. Здесь же, в стенах, все привычное и близкое, и никто не разрушит стены и не сорвет замки с тяжелых дверей. Тут-то и есть у нее настоящая свобода и детские радости.

1905

5. БРОДЯГА

Горячим солнечным утром я шел по дороге от Горного Зерентуя до Мальцевского рудника. Лиловые увалы сопок в развалинах скал и в осыпях камней и щебня мерцали хрустальным маревом. Направо вздымалась пологая гора, покрытая бархатной зеленью кустарника, среди которой местами громоздились серые глыбы, как обломки древних замков. Налево, вдали, возвышалась другая сопка, голая, коричневая, усеянная небольшими кучками камней и осевшими холмиками красной земли — остатками давнишних приисковых разведок. Я дышал и не мог надышаться этим чудесным воздухом Забайкалья.

Позади, глубоко внизу, теснились мазанки вольной команды, дальше, за маленьким обрывом, желтели солдатские казармы, а в стороне, за высокой белой стеной, возвышалось длинное двухэтажное каменное здание мужской тюрьмы.

Сколько кандальников томится за этими бесчисленными окнами в железных решетках!.. Многие из них будут греметь цепями долгие годы, многие умирают в этих казармах, закованные в железо. И вот это поселье рядом с каторжной крепостью в незапамятные времена выросло из осевших здесь каторжников, отбывших срок заключения и превращенных в крепостных кабинетских крестьян. Вместе с церковным звоном гремят и цепи, и эта перекличка колоколов с канда-

лами уже с давних пор привычная музыка для здешних людей — и арестантов и «вольных рабов».

Подъем на сопку был длинный и утомительный. Не доходя до перевала, я свернул к густой заросли кустарника и сел отдохнуть в его тени. Всюду в маревной дымке толпились гигантские курганы сопок с гладкими зелеными склонами, усыпанные желтыми и оранжевыми пятнами осыпей, глубокими падями. А здесь передо мной алой россыпью кудрявились саранки — забайкальские лилии. Тугими желтыми розетками прижимались к земле странные жирные вилочки, похожие на кактусы, и сплошным ковром рассыпалась бархатная вязь кружевного лужка. Как странно: почему в этой удивительной стране, с полярными бесснежными морозами, растут так обильно цветы, которые я знал только на Кавказе и Украине? И почему воздух здесь особый, не такой, как везде — по ту сторону Байкала, и дышишь им ненасытно? И странное нагромождение гор — не хребты, не гребни вершин, а огромные, застывшие в начале времен пузыри земной пучины, беспорядочно рассыпанные в бесконечных пространствах, и елани между ними перепутаны, как лабиринты.

Вдали, в ложбине такой пади, виднеется большое село — Нерчинский завод, а над ним, правее, высоким караваем поднимается гора Благодать, где когда-то в глубоких рудниках, гремя цепями, надрывались в непосильной работе декабристы. Теперь эти рудники заброшены и, вероятно, давно завалены землей. Но изба, где ютились декабристы, приземистая сибирская изба, срубленная из вековечных лиственниц, стоит до сих пор, черная, вросшая в землю.

Сквозь ветки кустарника я увидел высокого человека в серой арестантской куртке, в вольном картузе с светлым козырьком, в больших неуклюжих «босовиках». Дочерна загорелое лицо, заросшее рыжей бородой, показалось зловеще-умным. Он нес под мышкой что-то завернутое в бумагу и тихо, речитативом пел какую-то песню. Он заметил меня, остановился и хриплым басом сказал:

— Ага!.. Не скучно будет отдохнуть.

Он подошел и зорко осмотрел меня холодными глазами навыкате.

— Значит, на Мальцевский шагаете? Тюрьма овечья... бабья... без гордости...

— А разве есть тюрьмы, которыми можно гордиться?

Усмехаясь, он ответил:

— А как же? Порядочная тюрьма тем сильна да крепка, что окована железом кандальных законов. Там и орлы геройские — на всю каторжную Россию славятся. Там начальство на цыпочках ходит. Власть у него только в кокарде: сила-то не в кокарде, а в кандальном трезвоне. Ну, а бабья тюрьма — овечий загон иль каторжный монастырь. Эти монашки и кандалов не знают, и головешки им не бреют. Да и дела-то их чепуховские: одни — за убийство мужей, другие — девки — за младенцев, третьи — за отраву из-за ревности... Здесь они только и годны для мужской надобности: помоложе да поприглядне отдают в прислуги холостым и вдовым тюремщикам и чиновникам, а они пропойцы и бьют их нещадно.

Мне было неприятно слушать его холодные циничные слова. Этот развязный и своевольный человек, должно быть, прошел огонь и воды.

— Не все же покорные овцы, — возразил я. — Вот хотя бы Варвара, ее голыми руками не возьмешь. Она и своих подруг в обиду не дает. Ее и свирепый старшой укротить не может: она ни кандалов, ни карцеров не боится.

Он засмеялся, и глаза его вспыхнули злым весельем.

— Варварка — волчиха, верно. Я к ней в гости хожу для услаждения души. Умная, дьяволица. И себя строго блюдет. Пробовали погнать ее на сожительство к фельдшеру, к человеку образованному, но пьющему, а она забунтовала: «Я человек, а не подстилка». Фельдшер подошел к ней, пожал руку и сказал: «За честь вашу уважаю, а за человека — спасибо». И ушел. Даже старшого подтолкнул перед собой. Старшой забесился и хотел с кулаками на нее, да фельдшер заслонил. А тот орет: «Это какой такой человек?

Это ты — человек? Ты — каторжная шпана, лишенная прав состояния. Какой же ты человек?» А она ему так и режет в бороду: «Да уж не такой, как ты, зверюга. Ты здесь сам на цепи, как злой кобель. По себе судишь. Взгляни на господина фельдшера — вот он человек-то: он душу мою и силу сразу почуял. И я низко ему кланяюсь». Да, Варварка — не какая-нибудь плакса, а варначка по характеру, только с душой праведной великомученицы. Спрашивается, зачем я здесь болтаюсь? Я — тоже в вольной команде, и давно бы тут духу моего не было, да вот из-за нее, из-за Варварки, время теряю: около нее кружусь, как дикий конь на приколе. Думал ее взять себе в подруги — уйти с ней через тайгу в Россию или на Алдан, на золото — старателем. Только ничего не добился — не желает бродяжить, а решила здесь воевать с тюремными псами и из баб страх выгонять — человека в арестантах воскрешать. Чепуха! Убитого не воскресить, а кляча борзым конем не будет. Встретите ее, передайте мое ей почтение, с любовию низкий поклон... А перед вами... — он ткнул себя в грудь и с достоинством знающего себе цену человека небрежно отрекомендовался: — а перед вами — известный здесь Хоробров, по разным же тюрьмам — под разными кличками, а больше под натуральной видимостью.

Он искоса взглянул на меня, проверяя, какое произвел впечатление. О «вечном каторжнике» и «Иване» — бродяге Хороброве — я не раз слышал здесь, как о знаменитости, которым гордится каторга. Это — человек, для которого нет ни кандалов, ни тюремных стен. Больше полугода он не был за решеткой, а кандалы не держались на его ногах. Тюремная администрация боялась его, потому что он, как старый тюремный волк, сразу же становился повелителем в кандальном мире. Чтобы предотвратить всякие «эксцессы», администрация делала ему уступки и льготы: он свободно ходил по корпусам как главарь и вожак. При нем тюремное начальство было уверено в спокойствии тюрьмы. В партиях арестантов, которые пересылались в Забайкалье, он следовал до самого места, и не было ни побегов, ни бунтов, если начальник конвойной команды

не обкрадывал арестантов и не свирепствовал. Рассказывали, как Хоробров в одной партии испугал и усмирил начальника конвоя. На длинном пешем пути от Сретенска до Горного Зерентуя с первого же дня начальник стал морить голодом партию, издевался не только над кандальниками, но и над солдатами и на этапах приказывал конвойным приводить к себе женщин. Хоробров, как обычно, сразу же стал вожаком «шпанки». Конвойные считались не с начальником, а с ним. Он явился к начальнику и даже не обратил внимания на его пьяный рев, а прямо и решительно заявил, что, если он не перестанет грабить арестантов и приставать к женщинам, партия не сдвинется с места, да и ему, начальнику, несдобровать. Говорил он спокойно, твердо, внушительно. Начальник в пьяном бешенстве бросился на него с кулаками, но Хоробров так сжал и вывернул его руки, что начальник упал на колени и заорал, что расстреляет его. Хоробров также спокойно, но угрожающе предупредил его, чтобы он лучше подумал о своей безопасности и законности и потребовал выдавать довольствие полностью, к женщинам не приставать и не пьянствовать. «А чтобы жить в мире и добром согласии, надо теперь же договориться». — «А кто ты такой, чтобы я с тобой договаривался? Ты — каторжник, ты — падаль, которую я раздавлю своим сапогом». — «А я — Хоробров, которого знают и почитают во всех тюрьмах». Начальник трусливо застыл в изумлении и, укрощенный, отрезвевший, пробурчал: «Договорились. Знаю, в Горном кляузничать не будешь. И знаю, что поверят тебе, а не мне».

В тюрьмах Хоробров не допускал издеваться над слабыми, красть вещи друг у друга и жульничать в карточной игре. С таким негодяем расправлялись «втемную», а это было равносильно казни: «темная» или убивала, или калечила на всю жизнь.

Я верил таким рассказам о Хороброве: люди говорили о нем с уважением, как о редком человеке, как о справедливом и верном товарище, как о честном и самоотверженном вожаке — защитнике и хранителе человеческих и артельных прав. Варнаков и профессио-

нальных грабителей и убийц он терпеть не мог и требовал от тюремного начальства держать их отдельно. И начальство охотно выполняло это его требование, зная, что в тюрьме не будет беспорядков.

По рассказам каторжан и каторжанок, я представлял его высоким, сухощавым и ловким человеком с жестким и властным лицом, умными, проницательными глазами, со стремительной и легкой походкой. Но передо мной сидел самый заурядный человек с нагловатой усмешкой в выпуклых глазах, какая обычно застывает у завсегдатаев тюремной каторги, которые видали всякие виды и которым нечего терять. Не понравились мне и его развязность и самохвальство.

— А почему вы — в вольной команде? — спросил я его. — Ведь вы, как беглец и бродяга, должны отбывать многолетнее заключение.

— Ну, об этом давайте не говорить, — строго ответил он, хотя глаза его усмехались по-прежнему нагловато и себе на уме. — Для нас царские законы — не препоны: они, как камни на дороге, — их можно обойти или перешагнуть через них. А в вольной команде я уже три месяца гуляю — из-за Варварки. Она и мне не уступит в характере и даже вот с моей силой и волей не посчиталась — самовластная: и воевать с палачами желает и подруг своих не хочет покидать. Да и бродяг ненавидит: беспутные, говорит. А я без свободы жить не могу: на свободе у меня — вздох, в казематах — выдох. Летами — под небом, на природе, а по зимам — в казематах. И без своих кандальников уже не живу. Варварка — по мне: ее не согнешь и не сломишь, но ей со мной не по дороге. У ней и ум и глупость без натуги уживаются: дерется храбро с такими зверями, как волк-старшой, а бабью артель сбить около себя не может — сердце жалостливое: как бы бабам худо не было. Да и бабы-то — коровы.

Воздух горел солнцем, и горячий ветерок налетал пахучими волнами. А на дне пади бурые избы поселка и грязные корпуса тюрьмы похожи были на каменные обвалы и многолетние оползни, куда загнали закованных в железо пленников, где ютятся в гнилых трущобах

одичалые потомки каторжников. Но здесь, на высоте, свободно и раздольно, и земля цветет и дышит благоуханием, а в голубой бездонности небес реют на распластанных крыльях два орла и кружатся в широком разлете.

— Ух, какая вольготная птица! — залюбовался ими Хоробров. Он бросил картуз на траву и, закинув голову, следил за полетом орлов. — Вот она, свобода-то! А человек с разумом своим да фокусными руками только и делает всякие клетки да тюрьмы. Да и жадность у него особенная, человечья, — к наживе. А я, должно быть, выродок: мне ничего не надо, кроме свободы. Я и в камерах, в артели, могу чувствовать себя вольготно: кандалов для меня нет, и замков, и стен нет. Не верите? Думаете, хвастаю? А что есть сильнее правды и верности? Когда меня в первый раз втолкнули в каземат и заковали в кандалы, я просто омертвел от страха, ума лишился: жизни уж нет, каменная могила, а люди в цепях, с бритой половиной головы — не люди, а оборотни, жуткие уроды, и я уж не я, а мертвец. Убивающая власть — и тюремщики черные, и солдаты черные, и судьи черные. А эти уроды кандальники, как пауки в банке, смертным боем дерутся, обкрадывают друг друга, в карты мошенничают, последнюю рубашку сдирают и готовы один другому горло перегрызть. Одеревенел я, и все равно мне было — догола ли меня обдерут, искалечат ли, убьют ли... А самый злой враг для заключенных — это нервач и тоскляк. Кандальникам сила нужна, вера да хитрость. Они каждый день — в борьбе, в схватках с тюремщиками. Тут человек характер выковывает, ум точит. Человек без свободы жить не может, а такие люди и в казематах свою кандальную свободу создают. Так вот я чуть не пропал — какими только игрищами меня не пытали!.. Молодой был, здоровый, сильный: не дерись со мной — одним ударом на землю валил. И вот опомнился, взорвало меня, рассвирепел и первого же мучителя, этакого верзилу, кулаком сразил. Кувырнулся он и распластался без памяти. И тут же подошел ко мне этакий тощенький старичок, вековечный кандальник, главарек артельный, отвел меня к себе на

нары, ощупал меня со всех сторон и засмеялся. «Ну вот, говорит, очухался, воскрес. Знал, говорит, что ты неломкий, голову на плаху не положишь, жизнь свою дешево не отдашь. Душа у тебя горячая, нрав дерзкий. Хоть тебя и в цепи заковали, а свободу из души не вырвали. Значит, и людей любишь. Я тебя настоящим человеком сделаю». И великую тайну через него я постиг: свобода-то истинная не вокруг нас, а в самом человеке — в уме его, в воле его, во власти его над собой и над людьми, а такая власть крепка содружьем и верностью. Такой человек словно владеет разрыв-травой: для него нет ни замков, ни цепей. Такой и я талант в себе таил, а разбудил его и вознес меня этот самый вековешный кандальник и бродяга-старичок. Никакой каземат уж не держит меня, и никто меня не ловит. А хожу когда хочу и куда хочу. Все тюрьмы и каторга меня знают и встречают, как Стеньку Разина.

— А за что же вы в каторгу-то попали?

— А так, по молодости лет. Из-за девчонки. Влюбился, ангелом ее считал, тронуть боялся, как бы не обиделась. Дурачок был. А она хохочет и мной помыкает: что прикажет — сделаю. Обирала меня по-ангельски, и я за счастье считал и деньгами ее веселить и украшать всякими финтифлюшками. Зашел я к ней вечером, а жила она одна и белошвейкой считалась. Вхожу и вижу: сидит она на коленях у пьяного балбеса, голая, и обнимает его и хохочет, как от щекотки. А балбес этот был сыном богатого торговца готовым платьем. Когда-то мы с ним одноклассниками в реальном были. Бездельник, запивоха, блудник. Я тоже был из богатого дома — один у отца да сестра с нами жила вдовая — жадная, все хозяйство в своих руках держала: и мануфактурный магазин, и склады, и вела всякие сделки и расчеты. Отец доживал последние дни — с постели не вставал. А она держала его взаперти и докторов не допускала. Я совестил ее, сам пытался врачами его окружить, а она с приказчиками и дворником меня вытолкала. Ну, давала денег и подзуживала на разгулы. Конечно, баклуши бил с этим балбесом, кутил и развратничал. И вот как увидел

я эту картину — ангела-то моего голого на коленях у болвана, — одурел, света невзвидел, словно громом меня оглушило. Девка вскочила, завизжала: «Пошел вон, дурак! Как ты смел без уговора вломиться ко мне?» И шлеп-шлеп меня по щекам. А балбес ржет и усы крутит. Не помню, что и как было — ума лишился. Только одно мелькнуло в глазах: лежит на полу этот мой соперник в крови, а ангел мой забился в угол с вытаращенными глазами и дрожит. А я вместо дома в тот же день в полицейском клоповнике сидел. Потом через сутки заперли меня в тюрьму. Сестра, должно быть, рада была, что освободилась от меня. А вскоре, еще до суда, и отец умер. Осудили меня в каторгу на восемь лет. Сестра не только на свиданье в тюрьму не приходила, но и на суд не явилась и даже на адвоката денег пожалела. Зубами я заскрипел от ее подлости и, как зверь, метался от жгучей мести. Вот в это время я и затосковал и душой заболел, как только впервые кандалами загремел. А потом ожесточился, осатанел. Мытарили меня по всем тюремным статьям, а я как будто ничего и не чувствовал. Но однажды как сквозь сон увидел длинного детину с дьявольскими глазами и желтым лицом. Сразу понял — атаман. Вскочил я на ноги, шагнул к нему, размахнулся и так срезал его кулаком, что он в воздухе перевернулся. Растянулся на полу и не дрягается. Вся орава в разные стороны попятилась. Тут этот мудрый старичок и подхватил меня под руку. А вожак полежал маленько, потом встал и побрел к своим нарам. И первые слова, которые старичок мне сказал, крепко в память врезались: «Негоже быть человеку едину. Силен человек не телом, а делом и умом зрелым. Я уж двадцать годов в кандальном мире. Мир этот мой, я и умру здесь. Чем за стенами тюрьмы вольный мир лучше нашего? Там человек — сирота. Истинная свобода — в воле твоей властной, когда ты сам себе владыка, и людей вот этих силой своей умной вокруг себя собьешь в нерушимую крепость. Будь горячий, как огонь, холодный, как лед, и твердый, как камень. Вижу и чую тебя — будешь таким: наставлю тебя, открою тебе все науки, проведу тебя через огонь и воды. И первая запо-

ведь: будь всем этим своим людям — родной брат». Рассказывать нечего о его науке — это наука особая, там много всяких хитростей, смелостей, выдумок. Надо быть душой и телом арестантом, чтобы тебя хватило на всех и чтоб воля твоя была законом. Квелый старик был, маленький, лысенький, лет семидесяти пяти. А появился он в нашей камере, как в свой дом возвратился: всех он будто давно знал, а что кандальники без него делали — словно сам свидетелем был. Ведь тюремный народ по России не только меж собой своим телеграфом пользуется, а и с волей проводами связан. И тогда же я понял, что этот старичок — везде свой человек, что он везде — отец, генерал и судья. Явился в кандалах, с улыбочкой и к каждому с ласковым словом подходил. Подошел и ко мне, пронзительно оглядел меня и по плечу похлопал. «С тобой, говорит, у меня потом особый разговор будет. Погляжу, как ты своим характером распоряжаешься».

С полгода шли мы с ним по пересылкам, и он словно в меня свой дух вложил. Успокоился я и сам себе удивлялся: как это я силу свою раньше не чувствовал, как волей своей на людей не действовал? Раньше, когда я баклуши бил, не знал я, что с собою делать, тратил себя на кутежи да глупую любвишку. А тут нашел себя: старик как будто спрятался за меня, а я день за днем стал входить во все наши дела и порядки. Старичок улыбается и помалкивает, словно я по его внушению расту и возвышаюсь. Был среди нас отчаянный и бывалый ракло, рецидивист, карточный шулер. Всех обыгрывал, последнюю рубашку сдирал, разувал всех, и все это барахло продавал арестантам в других камерах или менял на табак. И все его боялись, и все одурело рвались к нему, чтобы отыграться, хоть и знали, что он шулер. Всех он опутал, все у него были в руках, и стал он командовать всеми, как хозяин. Один раз он принудил краткосрочника поставить на кон свое имя и каторжный срок в обмен на свое имя и долгосрочность. Я не стерпел, подошел к ним и приказал прервать игру и встать. Игрок выхватил откуда-то финку, подкинул ее и пропел: «Коля, не шали!» Но я схватил его за руку и так сдавил, что

нож полетел на пол. Он наступил на него ногой, но я завернул ему руки назад и рванул их кверху. Он заорал от боли и упал на колени. Нож я сунул старику, но он вложил его мне в руку и сказал: «Нож этот храни: он передается из рук в руки уже много лет. С этим ножом ты везде будешь вожак. Этот негодяй обжулил кого-то в карты». Все бросились на картежника, как звери. И как-то случилось, что я крикнул на них, как власть имущий, и все разошлись послушно. Явился начальник тюрьмы, и я потребовал, чтобы убрали шулера из нашей камеры. С тех пор я и свободу по-настоящему узнал.

— Что же это за свобода в кандалах да еще настоящая? — иронически спросил я его. — Однако в тюрьмах-то вы не засиживались.

Он снисходительно усмехнулся и проверил меня пристальным взглядом. В выпуклых бронзовых глазах его чувствовалась сила и твердая воля человека, который провел большую, страшную жизнь и привык к борьбе не на живот, а на смерть и который насквозь видит людей и умеет повелевать ими.

— Надо быть мастером свободы и уметь распоряжаться ею, — ответил он убежденно и поучительно. — Вы думаете, что у вас в городах и деревнях свобода? Ошибаетесь. Нет у вас свободы. Ваша вольная жизнь — в цепях, под недреманным оком тюремщиков. И бежать вам некуда. Каждый день, каждый час вас могут схватить и расправиться с вами так, что от вас и тени не останется. Свобода вашего вольного человека — один обман, а в душе постоянный страх. Настоящую-то свободу почувствуешь, когда победишь и вытравишь страх навсегда. Страх — это самый жестокий, самый свирепый палач, который истязает человека пытками даже во сне. Вот этот палач и мучил меня в первый год со дня ареста. А когда я после случая с игроком стал надо всей кандальной шпанкой и начал как будто повелевать и собой и людьми, я словно выздоровел от тяжкой болезни, а ужас за свою жизнь улетучился, как дым. Много я тогда дум передумал и как будто впервые узнал самого себя. Прошлая жизнь была дурацкой, пустой, как у всякого

бездельника — сынка богатого папаши. А здесь, в камере, меня заставили драться за себя, и я открыл в себе такую силу, о какой и не догадывался. Не говорю о драках, когда валил людей и топил их в крови, но шулеров, прохвостов ненавидел. Взять хотя бы случай с картежником, который хотел меня зарезать. Я легко с ним справился и ножом-талисманом завладел. Вот он! — Хоробров выхватил финку из кармана и ткнул пальцем в ручку, обтянутую кожей, на которой в нескольких местах блестели какие-то знаки из золотой вязи. — Не ради озорства и атаманства силу показал, а жулика, мерзавца изничтожил. С этого дня все в камере и во всей тюрьме меня признали за главаря. А потом в пути на этапном привале мы со стариком сняли кандалы и ушли в тайгу. Конвой вместе со своим начальником от чалдонской араки одурел, а я подхватил ружье с патронташем у храпевшего дневального, и ночью добрались мы до бурятского улуса. У моего старичка там давнишний дружок был — Шамбай: у бродяг таких дружков много по Сибири. Оделись у него в бурятскую лопатину, сели на лошадок и вместе с его парнишкой в тот же день добрались до Аргуни. Парнишка с лошадьми ускакал домой, а мы черной ночью переплыли на маньчжурский берег.

— А почему вы в Маньчжурию бежали? — спросил я. — Ведь там вас могли сразу же схватить и переправить обратно.

Хоробров засмеялся от моей наивности и, вглядываясь в далекие сопки, скороговоркой пояснил:

— Какая же цена бродяге, если он не имеет повсюду надежных друзей? А в Маньчжурии можно и паспорт добыть, и деньгу зашибить в компании контрабандистов, а потом податься в Россию. Старик скоро покинул меня. Сунул немного деньжонок (там русские деньги тоже в ходу были), дал мне направления и наставления и подбодрил: «А теперь ты сам своей судьбы хозяин. Свою фамилию забудь, а по тюрьмам будешь Гуран, а на воле — Иван, то есть зовись как хочешь. О Гуране слава должна все

тюрьмы облететь, чтобы я успел услышать. И я буду знать, что моя наука впрок пошла. Силу и атаманство не для своей корысти носи, а для кандального люда». И скрылся. А я через месяц уже мчался в вагоне в Россию. Личность свою я изменил, и в своем городишке меня никто признать не мог.

Ночком явился к раздобревшей сестре, которая ворочала большой торговлей, выстроила новый дом с магазином, новые склады и недавно застраховала их на крупную сумму. В праздник, когда никого из прислуги не было, кроме старика дворника, я вошел к ней, как привидение. Она была неробкого десятка и строго крикнула: «Кто вы такой? Как вы смели зайти без спроса? Что вам угодно?» — и выхватила из столика револьвер. Но я смело подошел к ней и пошутил: «Так-то ты, сестрица, своего единокровного братца встречаешь! Положи-ка пистолетик свой обратно и давай поговорим по душам». Тут она как смерть побледнела и послушно положила револьвер на стол. Я взял его, а она подумала, что застрелить ее хочу, онемела и замахала руками. Патроны я вынул и положил револьвер опять на стол. «А теперь, сестрица, давай мирно счеты сведем». Сразу она очнулась и гордо встала: «А ты вором в мой дом пробрался! Значит, с каторги убежал? С каторжником у меня нет никаких счетов: был брат, да сплыл, он лишен всех прав состояния. Уходи и больше ко мне — ни ногой. С тобой у меня один разговор — предам тебя полиции». Поглядел я на нее с такой улыбочкой, что она вся задрожала, но я тихо, мирно утешил ее: «Полицией меня не стращай, купчиха: я ведь не прежний дурачок. Тогда ты отшила меня от дома, спаивала, чтоб идиотом сделать и завладеть отцовским капиталом. Добилась своего по-бабьи грубо и подло. Я — на каторге, а ты стала купчихой первой гильдии. Магазин на весь город, дом на широкую ногу и новые склады из сосны... И застраховала в двести пятьдесят тысяч». — «Откуда ты знаешь? — захорохорилась она. — И не твое это дело. Ты — каторжник, ты всего лишился. Мстить, что ли, надумал — жизни лишить меня хочешь? Хорошо, я откуплюсь от тебя, убийца: дам тебе пять

тысяч — и скройся подальше». А я шучу: «Жадна, жадна, купчиха! Нет, сестра единокровная. Пятью тысячами не откупишься. Дешево свою особу ценишь. Я подороже оценил тебя: двести пятьдесят тысяч и то цена малая». Вижу, пришла в себя, сообразила что-то и даже не удержалась от коварной улыбки. «Такой суммы, говорит, у меня даже на текущем счету в банке нет: все деньги в деле. Посиди здесь, а я сейчас в контору пройду и приготовлю чек». И встала веселая — так вся и заиграла и ключами зазвенела. Я тоже весело усадил ее на место, выщелучил из ее руки ключи. «Не беспокойся, говорю, сестрица. Деньги-то здесь у тебя — в несгораемом отцовском шкафу. Я уж сам открою его и возьму только себе на расходы». Она так и обмерла, но шепчет, как перед смертью: «Грабить? Каторжник!» А я отвечаю шутливо: «Да ты не завидуй мне, сестрица: скоро сама на каторге закрасуешься». Баба она была храбрая, а от жадности — и бешеная. «Грабь, мерзавец, издевайся надо мной, беззащитной, в этот час. Но ты не успеешь и ног отсюда унести, как будешь схвачен полицией». — «Ну зачем же, сестрица, так волнуешься? Умная женщина, а грозишь по-дурацки. Я ведь насквозь тебя вижу и мысли твои, как по букварю, читаю: знай, что я прошел всю тюремную науку. Со мной играть тебе не советую». Открыл я знакомый мне с детства несгораемый шкаф, в котором напихано было много всяких бумаг. Выдвинул ящичек, где отец деньги хранил, и увидел целую кучу золотых империалов. Захватил я горсть, а из клеточки выше — пачку бумажных денег, захлопнул дверку, и ключи положил в карман. «Вот видишь, как я благородно с тобой обошелся. А теперь прощай! Скоро увидимся с тобой в другом месте». — «Ключи отдай, разбойник!.. — обезумела она. — Ключи мои, ключи! Казнить тебя мало!..» И вдруг заревела и забилась в своем кресле. Револьвер я взял с собой и строго предупредил ее: «Из этой комнаты никуда не выходи, если дорожишь своей жизнью. За тобой будут следить этакие зоркие парни. А ключи будут лежать вот здесь, на подоконнике, до утра». Я открыл окно и тихо сказал во тьму: «Гляди в оба, корешок!

Купчихе и шевельнуться не позволяй». Она, как оглушенная, упала в кресло. Я оборвал телефонные провода и с час обливал и огромные амбары, и магазин, и дом приготовленным керосином с нефтью. За полночь поджег в разных местах, благо, что все постройки были деревянные, сосновые. В какие-нибудь полчаса все бушевало огненной бурей.

Не возмущайтесь. Сжечь сестру я не думал. А попугал ее, чтобы выиграть время. Правда, месть моя была немного жестокой, но это была справедливая месть. Кто меня, дурака, забулдыгой сделал и до убийства довел? Она. Зачем? А за тем, чтобы обо мне и помину не было. Из-за жадности и страсти к наживе она и отца доконала. И я должен был отомстить ей — не поджогом, нет, поджог — это чепуха. Ее надо было, как злодейку, погнать по той же дороге, по какой она меня погнала. Такая поганая гадюка много бы еще людей погубила. Эти денежные крокодилы только и существуют для того, чтобы душегубствовать и из крови барыши делать. Нет, ее самое в поджоге обвинили, чтобы большие страховые деньги получить, и осудили в каторгу. Она сейчас здесь, в Мальцевке, спасает душу.

— А как же вы с ней-то встретились?

— Очень просто. Для меня она не существовала и желания видеться с ней не было. Мне только было интересно взглянуть, как подействовала на нее каторга. Иду я как-то к Варварке, вижу — каторжанки везут большую бочку с водой на огороды, а в передней паре с лямкой на груди — она, сестра. Проходил я близко от них. Постарела, перевернула ее лихая беда, но лицо, как у безумной. Уставилась на меня, взвизгнула и рванулась ко мне. Надзирательница осадила ее окриком, а она протягивает ко мне руки и кричит: «Брат! Игнаша!..» Я как будто удивляюсь и спрашиваю: «Что прикажете, мол, сударыня? За кого вы меня принимаете?» — «Неужели, говорит, ты не признаешь меня, брат?» — «Вы, говорю, ошиблись. Была, говорю, у меня сестра, только она — в России, богачка. Она, подлая, и отца доконала и меня подвела под каторгу. Но судьба ошиблась: нужно было не

меня, а ее в каторгу закатать». — «Так это же я, говорит. И мне такая доля выпала. Ты отомстил мне — всю душу мою перевернул». — «Знать, говорю, вас не знаю, сударыня перевернутая. А зовут меня не Игнаша, а Иван Бесфамильный». Подруги ее хохочут, а надзирательница подлетела к ней, заорала и ткнула ее кулаком в спину. Правда, была минута — сердце у меня дрогнуло: расквитались с ней, в одной она со мной шкуре. Можно, мол, и на свиданье пойти. Да вдруг сама узел разрубила — взбесилась и закликала: «Зверь! Злодей! С какой бы радостью сожгла я тебя в пожаре, который ты мне устроил!» Посмеялся я и с веселой душой пошел своей дорогой.

Хоробров смеялся и сейчас, и в лице его не было ни ненависти, ни злорадства: оно было спокойно и добродушно.

— Вы как будто хвастаетесь своей жестокостью, Хоробров, — упрекнул я его, желая проверить, как он сам относится к своему поступку. Он с умным недоумением вскинул на меня глаза, словно не ожидал такой глупой оценки, и поучительно ответил:

— Всякий справедливый суд жесток. Зло за зло — получается благо. Одним хищником стало меньше. Деньги дают силу и власть, это — кровь и страдание. Как видите, я это на себе испытал. А сколько гибнет людей в когтях этих хищников! Я только заставил эту бабу пройти по тем же мытарствам, по каким она направила меня. Эта наука — полезная.

— Но ваша расправа — злая личная месть.

— Пускай так, но волков бьют при всяком удобном случае.

— А почему вы не признались сестре? Что значит эта ваша игра?

Он усмехнулся с веселым задором в глазах.

— А так... ради забавы... Ну, да это — побоку! А охотно и откровенно я говорю с вами потому, что вы меня, как человека, слушаете и верите мне. Верит мне только тюремная шпанка, а люди на так называемой воле меня боятся, не верят и стараются улизнуть. На этой подлой воле люди привыкли притворяться,

лгать, обманывать, драть шкуру и сосать кровь из ближнего своего. Ну, а вот вы меня не испугались и по молодости своей и любопытству к людям, как, извините, ребенок в душу мою хотите войти. Вот я и исповедуюсь перед вами и перед собой. Для меня — это событие, потому что случай этот в моей беспокойной жизни первый. Интересно проследить свои похождения, как что-то новое и удивительное, поэтому и словоохотливость обуяла. Нескучно жил: есть что вспомнить, есть о чем песню спеть. Человек потому и человек, что ему судьба велела бороться — волю свою проявлять.

Рассуждал он с увлечением, но меня интересовало другое — факты его жизни, его приключения, его дальнейшая судьба.

— Какая же у вас была борьба? С кем и за что? — подстегнул я его. — В тюрьме вы волю свою проявили, а дальше? Ну, сестру спалили и надели на нее каторжный бушлат. А какие же у вас подвиги?

— Я не подвижник, — огрызнулся он. — Я самый обыкновенный из всех бродяг, которых зовут Иванами, а чалдоны — варнаками. Значит, и приключения жизни их самые варнацкие. Мы живем по своим законам и ходим по своим дорогам. А народ нас не гонит, не травит, а привечает и уважает. Везде для нас — и кров и стол. Заборов и запоров нигде нет, и даже в зимовьях дрова и харч находим.

— Как же вы существовали, когда находились в бегах?

— Работал изредка, когда туго приходилось, а то больше на правах птицы небесной. А то так: придешь в деревню какую, узнаешь, что здесь живет какая-нибудь вдовушка молодая... ну и войдешь к ней. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Отдохнуть можно?» — «Можно», — говорит. Ну, и сижу. Разговоримся... Ночую. Ну, потом устроюсь этак у нее и живу — согреваем недельки две друг дружку. Придет время — уйду. Конечно, пожалеем один другого. Но больше, как птица божия, ношусь по всем концам света белого. Эх вы, молодой человек! не знаете, что значит ходить, быть бродягой... И другу и злому врагу

не желаю испытать этого. Никого вокруг тебя нет — ни жуликов, ни честных людей. Только видишь травку, небеса, солнышко, птичек небесных, насекомых там разных. Приятно этак и грустно. Хорошо! Или вот в тайгу зайдешь... Глухо, темно, жутко и даже этой, понимаете, свободы страшно. Идешь это, знаете, и захохочешь, как безумный. Обернешься назад, поднимешь кулак и крикнешь во все горло: «Сволочи вы эдакие! Для чего вы только живете? Живоглоты, людоеды!.. Обожретесь, мерзавцы! Ямы, пропасти людям роете, но сами же грохнетесь туда».

Одного такого распорядителя жизни здорово я напугал. Очень забавно было. Пришел я в одну станицу на Дону. Поступил к богатому казаку в работники. Не знаю уж, какая у меня фамилия была: я ведь легко паспорта добывал. Ну-с, живу неделю, месяц... Казак лавку имел. Сволочь порядочная. За какой-нибудь десяток гнилой воблы или ведро винограду готов был заморить человека на работе. Деньгами редко платил. Дочка у него была молодых лет. Связался я с ней. Живем. Стала вдруг меня она уговаривать жениться на ней. Мне это не понравилось, да и к бродяжеству потянуло. Поехали мы однажды с хозяином в Новочеркасск. В ночь выехали. Он — в фаэтоне, я — на козлах, за кучера. По дороге под дождем слез я с облучка, отстегнул фартук у кибитки, сказал: «Прощай, хозяин! Расстаюсь с тобой, мироедом. Наскучили мне твои подлости, грабитель». — «Не дурачься, говорит, вези...» Ругаться начал. Я и говорю: «Далеко не уйду, а поймать тебе меня не удастся. Дочку и ребеночка ее храни. Мы немножко любили с ней друг дружку. И если узнаю, что ты ее обижаешь, сожгу все твое добро и тебе несдобровать». Он, конечно, волком взвыл. «Застрелю, говорит, как собаку». И за револьвером полез. «Не дури, говорю, грабитель. Не нарывайся на пулю». Схватил я его за горло, вынул у него из кармана пистолет и говорю: «Сам видишь, что слов я на ветер не бросаю. А слово мое — это дело. Запомни крепко, что я тебе сказал». Ну, он, конечно, обезумел от страха — дрожит и плачет. «Вынимай говорю, бумажник!» Вынул. Взял я у него заработанные

деньги — рублей пятьдесят — и сунул ему бумажник обратно. «Все, говорит, возьми, только пощади!» — «Мне, говорю, твоего не надо: я свой заработок беру». Револьвер его в сторону бросил, а ему крикнул: «Гони!» Ударил он по лошадям и скрылся во тьме.

Хоробров замолчал и почему-то вздохнул. О чем мог вздыхать этот бывалый бродяга?

— А что вы делали в Маньчжурии? — спросил я его.

— А так... ходил... смотрел. Там скучно: все чужое, знаете, не наше... Года четыре назад я шел там с одним политическим. Встретились мы с ним на Амуре. Господин такой сухой, но смелый. В Америку путь держал. До моря не дошел — умер. В чахотке был. К вечеру дело было. «Стой, говорит, товарищ! Идти больше не могу. Умирать собрался. Пришел конец мне». — «Не болтай, говорю, пойдем...» — «Нет, говорит, не могу, сядем». Сели. Горы кругом, лес, камни. Тихо, только ветки трещат да ручей недалеко по камням журчит. Сидит он на камне и голову взял в руки. «Товарищ, говорит, рой могилу мне». — «Ты, говорю, с ума сошел?» — «Рой, говорит, чтобы я видел. Боюсь, что ты меня, как падаль, оставишь. Перед ногами моими рой!» С собой я носил тяжелую рогатину и с финкой, конечно, не расставался. Рою, из сил выбиваюсь, а он глядит и кровью харкает. Вижу — встал, зашатался, руками что-то ловит и хрипло бормочет. Потом грохнулся. Всякое я видел, всякое испытал — отупел, а страшно мне стало. Вскочил я, смотрю, лежит он и тихо говорит что-то... Изо рта кровь сочится. Нагнулся я — слушаю: мать поминает и еще какое-то имя... что-то невнятно о революции шептал... Потом замолчал, вздрогнул и кончился.

Хоробров быстро поднялся, молча подал мне руку и, не оглядываясь, легко и уверенно пошагал по дороге вниз.

Я смотрел на его коренастую фигуру и думал: сколько их бродит по Руси, этих русских агасферов, вечных странников, по своим путям-дорогам, гордых, независимых и по-своему свободных и в тюрьме и на воле. А вольная жизнь, то есть тот общественный пра-

вопорядок, в котором живут миллионы людей и который охраняется полицией, жандармами, солдатами и церковью, для них — та же тюрьма и каторга: кандалы звенят по всем городам и весям, люди прикованы к рабскому труду бессрочно, а кнут и петля приготовлены для них уже с детства. В своих мечтах о свободе я тоже хожу, как этот агасфер, но ищу к ней других путей.

1905

6. В ДОРОГЕ

Нанятый мною накануне муж Миры, Исай, подъехал утром к моей квартире и, быстро войдя в избу, громко распорядился:

— Ну, поедемте! Давайте вещи!

Он подхватил мой чемодан и вышел. Старики проводили меня до самой калитки.

— Больше не жалуйтесь, дедушка, — шутливо сказал я, пожимая ему руку. — Вы с бабушкой живете не напрасно. Праведная у вас жизнь.

Старик улыбнулся в бороду, а старушка гладила меня по плечу и сквозь слезы напутствовала:

— Живи с солнышком, соколок... а от солнышка и душа цветет. Поезжай со светлой душой!..

Пока мы ехали поселком, собаки гнались за нами целыми стаями и с диким лаем бросались на нас, заглушая стук и грохот колес. Они точно не хотели меня отпускать от себя, как пленника, и старались удержать, как беглеца.

Мы поднимались на крутую каменную сопку, накаленную солнцем, и мне казалось, что от этих камней обдавало меня знойной окалиной.

Позади, внизу, на склоне горы разбросаны были тюремные постройки, некоторые из них утопали в зелени деревьев, а мрачные темные здания бараков и самой тюрьмы, обнесенной высокой белой стеной, зловеще пластались поодаль одна от другой. Влево, из-за

горы, виднелись крайние избы поселка, жалкие, жилые, полуразвалившиеся.

На высоком крыльце тюремной кухни белой толпой теснились каторжницы. Вот торопливо летают белые платочки над головами. Вероятно, они прощально приветствуют меня. Я помахал им шляпой и почувствовал, что эти невсдомые женщины внутри каменной стены приветствуют не меня, а свободу, которая волнуется за этой стеной.

Мы поднялись на вершину сопки, и лошадь остановилась, чтобы отдохнуть. Гористая пустыня, дикая, суровая, окружала нас со всех сторон без конца и края. Очень далеко за сопками узенькой ленточкой сияла Аргунь, а за нею в сиреневой дымке мерцали берега чужой страны — Маньчжурии. Небо было воздушно-синее, теплое и такое молодое и блистающее, какое бывает только в Забайкалье. И чудилось, что густой пахучий воздух, который ощущаешь всем телом и который волнует душу радостью и ликованием, льется с небес.

— Ну, поехали! — окликнул меня возница и вскочил на козлы. — Хороший день — хорошие думы. Люди — везде люди, а жизнь и в неволе — жизнь. Здесь и кандалами играют разудало. Я вот осужден в каторгу... — ожесточенно прохрипел он. — Четыре года прогнил в этой вот тюрьме. Теперь нахожусь в вольной команде. Ге! я никогда не ныл и не скулил. Жена со мной живет — Мирка... бодрая всегда, молодец баба!..

Лошадь, припадая на задние ноги, медленно и зыбко сходила по пепельной дороге вниз, по склону горы, к Горному Зерентую. Группы каторжников, в грязных холщовых рубахах и штанах, шагали куда-то в сопровождении бородатого надзирателя.

— Здесь у народа — свой норов, — заговорил опять Исай. — Здесь люди сбиваются в тесную кучу и свои распорядки имеют. И не кандалами скована эта человечья куча, а своей волей и своим разумом. Здесь свои законы, а они покрепче и погрознее государственных. Но зато и люди оттачиваются, как ножи. Вот сейчас война с японцами. Ни один из этих братков

не позарился на свободу: вызывали охотников в солдаты, никто не пошел. За кого драка — за барское царство? за торгашей живым товаром — человечьей кровью? За эту каторжную тюрьму? Я одно знаю: в каторге и дураки делаются умными. Здесь — самый умный и сильный народ. Барское царство боится смелых и даровитых людей и заковывает их в цепи.

Я спросил, за что его осудили в каторгу, и он, смотря куда-то вбок, ровным, бесстрастным голосом ответил:

— За то, что негодяев и вредных людей терпеть не мог... за то, что одного из них пришиб, как гадину поганую.

Вокруг нас, теснясь и напирая друг на дружку, возвышались дикие голые сопки, и их коричневые неподвижные груди были усыпаны беспорядочными кучами серых уродливых камней с резкими, почти черными оттенками. Кое-где сиротливо между камнями невесело тянулась вверх белая лента маленькой чахлой березки, и ее молодые зеленые листочки, блестя на солнце, трепетали в какой-то непостижимой тоске.

— Кого я особенно не терпел, так это шабаёв и блудодеев. Ох, как не любил!.. Из-за этих обманщиков и здесь очутился. На большой срок осудили, говорите? Может, оно действительно на немного бы осудили, да я с прокурором в суде поссорился... Издеваться надо мной захотел, мошенником и пройдохой изобразил: убил, дескать, сукина сына и гада из корысти. Ну, я вскочил и заорал на него: ты не прокурор, не судья, а негодяй, сам торгуешь человечиной. И плюнул на него со своего места. Ну и закатали на двойной срок.

Он обернулся к лошади, махнул кнутом, глухо прикрикнул на нее. Слегка дернув телегу, лошадь затрусила редкой ленивой рысцой. Отовсюду лилась песня невидимых жаворонков, и реяли орлы в небесной вышине.

— Когда я учился, — продолжал Исай, — учитель, бывало, говорил нам: «Вы, говорит, всегда добивайтесь, чтобы дорога вам была свободной и ши-

рокой. Если, говорит, вы смело пойдете, а перед вами препятствие какое — перепрыгните, а то и разрушьте его...» И вот, сколько я ни жил на свете, я только и встречал одно препятствие в обманщиках и угнетателях.

— Да ты расскажи, как дело-то было... — попросил я.

— Не люблю рассказывать о своей жизни — тяжело. Была у меня, видите ли, сестра. Молодая девушка, красавица. Ах, какая красавица! Мы — простые люди, картузная мастерская у нас была, бедно жили, да! Сестра у модистки одной в мастерицах была. У ней жених был, мой товарищ. Хороший, честный человек. И вот... раз увидел ее, сестру, один охотник за черепами. Он красивых девушек соблазнял и уводил в публичные дома. Только этим и занимался. Ну, увидел ее, сестру мою, познакомился нахрапом на улице. Маклером себя выставил. Предлагает ей место швеи в один богатый дом в Николаеве. Это от нас верст за двадцать по железной дороге. Неопытная была, молоденькая... Согласилась. Соблазнилась хорошим жалованьем — нам даже не сказала, с кем имеет дело. Семья не стала держать ее: почему не поехать на хорошее место? Заехала за ней какая-то женщина. Отца у нас тогда уже не было, жива была только старуха мать, ну и мы с Мирой. Так вот... уехала и как будто в воду канула: ни слуху ни духу. Проходит этак месяца два, и вдруг получаю письмо доплатное. Пишет она, что ее тово... обманули, что попала в известный дом... Своим я ничего не сказал. Собрал немного денег и поехал в Николаев. Пришел в этот дом, как простой посетитель. Вижу сестру в зале, в мальчишеской одежде пляшет. Мигнул ей, чтобы тово... не выдавала меня... Ну а потом будто бы пошли к ней... да темным коридором пробрались кое-как в ворота, сели на извозчика и — гайда!..

— Ну а этот, маклер-то? — спросил я.

— А я убил его.

— Где же он был?

— А он в Николаеве жил. Отправил я сестру в вагоне домой, а сам пошел к нему на квартиру. Сестра

знала, где он жил, в богатом доме жил, прохвост! Сколько же ты, думаю, обманул и погубил девушек, мерзавец, чтобы они тебе наплакали твое богатство? В доме горничная смазливая такая и нахальная, не иначе любовница его, с рывка объяснила, что барина дома нет — в клубе он, и подмигнула мне с улыбочкой: знаю, мол, ваши дела. А у меня душа горела и пальцы в кармане закоченели на ручке кинжала. А кинжал мне один кавказец подарил по дружбе. Ну, пришел я в клуб, спрашиваю у швейцара: «Здесь находится такой-то?» — «Тут», — говорит. «Доложи, говорю, до зарезу надо». Ушел, а я жду. Все кругом огнями сияет — электричество. Жду и — дрожу весь. «Убью, думаю, тебя, и людям жить будет легче». Вижу, идет. Впереди он, а сзади швейцар. Меня даже стошнило, когда увидел его: старый, худущий и морда, как у обезьянки... А глаза, как иголки: хитрые, пронзительные, в прищурку. Сходит с лестницы и спрашивает: «Что угодно?» А я подошел к нему, схватил за жиденькую бороденку да как садану по горлу-то... «За сестру расплата! — кричу. — За кровь — кровь!» Захрипел он и грохнулся. Тут швейцар заорал. Выскочили люди. Вязать начали, да я сказал, что не убегу. «Я, говорю, доволен, что вредного гада уничтожил». Когда меня повели, я пихнул его еще ногой. Вот и всё. У меня на душе легко, потому — хорошее дело сделал. Вредных животных всегда истреблять надо.

— Ну, а с сестрой что?..

— Дома живет с матерью. Жених отказался от нее. Должно, шьет и собой торгует — мать кормит. А может, и совсем избаловалась. Нам, труженикам, бедным людям, один удел — бесправье. Я вот раздавил одного злодея и живоглота, а он затерзал и до петли, до яду десятки, а может, и сотни девчат за долгие годы довел. Ему мирволили и почитали за кровавые деньги, а меня за этого душегуба в каторгу закатали.

Он замолчал и ушел в себя. Я не хотел тревожить его. Перед моими глазами мелькали тени. Вот молоденькая еврейка — красавица, пленяющая всех своею

красотою, вот гаденький старичишка, сухой, ехидный, с жидкой бороденкой, с лисьей поступью, с острыми ястребиными глазами, торгующий живым товаром. Вот брат, молодой парень, очищающий жизнь от «вредных гадов». Когда же, наконец, разразится гроза, которая потрясет мир и пламенем своим испепелит хищников и паразитов? Пусть эта война российских разбойников против японских разбойников обратится в войну простых людей — солдат, оторванных от трудовой жизни, против деспотизма, барства и алчного барышничества.

Мы ехали падью. С обеих сторон возвышались голые каменистые сопки, пылающие жаром, а позади дымилась пыль желто-коричневым удушливым облаком. Навстречу нам солдат с ружьем на плече и свернутой шинелью поперек туловища конвоировал бледного молодого человека в серой одежде и кандалах. Оба они весело разговаривали и смеялись.

«Какой молодой! — думалось мне. — За что он попал сюда?»

Исай снял картуз и помахал им, остановил лошадь и крикнул по-приятельски:

— Когда душу молодую солнышко греет — и кандалы смеются.

Солдат сначала нахмурился, но не утерпел — опять засмеялся и тоже остановился. А закандаленный парень настороженно проверил взглядом Исая и проговорил нараспев словами Лермонтова:

— Что ищет он в стране далекой? Что потерял в краю родном? Целый мир — мои палаты... Для вольной души нет ни стен, ни цепей... А вот мой спутник — бедный невольник, и я это доказал ему.

— Куда этот невольник ведет тебя, вольного?

— На войну — воевать желаю.

— Как! — изумился Исай. — Из-под ружья — под ружье? На грабиловку?

Солдат опамятовался и заорал:

— Ну ты болван! Аль по кандалам соскучился? Гони клячу своей дорогой.

Но Исай сделал вид, что не слышал его окрика, а парень с притворной серьезностью ответил:

— Я гармонист и певун. Желаю вольные песни петь невольникам.

И, размахивая руками, пошел дальше, играя кандалами.

— Орел! — в восхищении крикнул Исай. — Он там навоюет... не поздоровится воеводам... Неробкий парнишка! Гневный!..

Он лукаво подмигнул мне со смехом в глазах и со свистом взмахнул кнутом.

1905

АСПИД

Черная ночь окутывала нас густой тьмой, и только редкие и тусклые огоньки парохода да в беспорядке рассыпанные звезды на темном бархате неба не мигаючи смотрели на палубу. Мутно-желтый свет из круглого оконца трюма падал на взбудораженную колесами воду, и она убегала назад бурным пенистым потоком. Среди беспорядочно разбросанных вещей — брезентов, цепей, канатов и какого-то мусора — бродили пассажиры, и их приглушенные вздохами парохода голоса казались тревожными и невнятными, как бред.

Я плыл на этом стареньком пароходе с чужим паспортом и, как всякий «нелегальный», ускользнувший от полиции, старался казаться незаметным.

Между ящиками и тюками на корме неподалеку от меня стояли три человека и как будто ссорились между собою. Сначала я не мог разобрать, о чем они спорили, но старческий дряблый голосок, злой и веселый, словоохотливо рассказывал что-то и визгливо посмеивался.

— Много их там положили... хе-хе! Много. Сколько радости было! Как туши валялись. Поработали... хе-хе! Потешились на славу!

— А чему вы радуетесь, старичок? — сердито спросил глухой бас. — Вам о душе бы думать да о грехах, а вы ликуете над трупами. Умирать пора, дед.

— Поживем еще... порадуемся, хе-хе!... Повластвуем... Домохозяин я... Дом внаймы отдаю... А у меня приют имели рабочие... забастовщики. Соберутся это у одного там, Петром звали, и шипят, как шептуны... хе-хе! Ну, а я гораздый петли распутывать. Призвал полицию — их всех и арестовали. Не гогочи, не беспардонничай!..

— Ну, уж вы тово... — недовольно заворчал высокий человек глухим басом. — Хорошо, что ли, шпионить да доносить? Можст, вы наклеветали на них... А у них — семьи, дети...

— А я их, семьи-то эти, на улицу выбросил. Крамолу я не терплю... а душой послужил вере православной и престол-отечеству.

— Черная у тебя душа, старик, — угрюмо отозвался глухой бас. — Зловещая душа.

— Черное-то богу угодно... — хихикая, перебил его старик. — Иереи, монаси и сам преосвященный в черноризье облекаются...

— Это верно, — снасмешничал юношеский голос,— от чертей их не отличишь.

Старик добродушно отшутился:

— Черти-то все рыжие да красные. Они сейчас — клоунами в цирках ломаются да крамолой людей одуряют. Это их промышление. Ведь господь-то еще когда их сверзил на землю за крамолу! Ну и нам велел его божье дело делать. По воле божьей власти утверждаются, а рабы подчиняются господам своим и умножают их достояние. Крамольники же — бесии, наущенные красными дьяволами, — возымели дерзость сверзить престол-отечество и похитить мое достояние.

— По твоим словам выходит, старик, что достояние-то твое создали и умножили тебе рабы... — с усмешкой в голосе подсек старика глухой бас. — А рабы-то не хотят быть рабами. Они хотят свободно трудиться и быть свободными людьми.

— Рабам не дозволено быть свободными людьми. Им по воле божьей и самодержавной власти положено служить господам своим и пребывать в крепости. А вы кто такие будете-с? — вдруг строго спросил старик.

Высокий человек скромно ответил:

— Не беспокойся, мы не бесии, а люди.

— То-то, то-то... А то куда ни ткнешься, везде — пролетарият, да товарищи, да граждане... А попросту — рвань, бездомники, безбожники... проходимцы и разбойники...

— А чем они тебе-то досадили, старичок? — насмешливо спросил его юношеский голос. Это был коренастый парень — должно быть, силач. — Ведь это — люди, которые честно зарабатывают хлеб. Вот ты дрожишь за свое достояние, хочешь еще более богатеть, но они тоже хотят, чтобы их не грабили, чтобы им тоже жилось хорошо.

Старик не только не обозлился, но развеселился еще больше. Он захихикал, заиграл руками.

— Слушаю вас, гляжу и помышляю, не адвокаты ли вы случайно? Адвокатишки горазды узоры на заборе разводить. А позвольте-с, чего они понимают в торговых и доходных предприятиях? Всякое даяние, сиречь достояние, — благо, и всяк дар, сиречь прибыток, исходит от отца светов. Умей добывать его, умей умом своим, сноровкой своей и мудростью умножить таланты; не проедать, не пропивать, а извлекать из гроша алтын. Так установлено евангельем и нашим православным законом. На то и власти поставлены. Есть хозяева, обладатели капитала, есть рабочие люди, алчущие и жаждущие труда, неимущие, великое их множество. Не будь нас, благодетелей, питающих эту голытьбу, все они подохли бы, как тараканы, от бесхлебья и стужи. И вот взбрело им в башку — заставить своих кормильцев и благодетелей отдать им свое достояние, отказаться от своих прибытков. Для этого стали устраивать забастовки, бунты, замахнулись на власть предержащую, дабы свалить трон и изгнать священную особу государя императора. И чума эта охватила, как поветрие, всю Россию. Довели до страшной смуты, до общей погибели — до революции. Вот те самые, коим я дал приют и пристанище, — пролетары-бродяги, пролетающие по всем дорогам и весям. Как же тут, господа адвокаты, не душить, не истреблять их, как поганых крыс? Сына не пожалел, родительской любовью пожертвовал. Студент-путеец... На паровозе

ездил... Ну и сдружился с этакими пролетарами, с забастовщиками... К нему гурьбой врываются и за полночь о чем-то зудят, бормочут и песни поют. Товарищами друг друга величают. А какой им Коля мой товарищ? Затянула его эта шайка: только и пропадал с ними, от своего круга отбился. Со мной все молчит, хмурится... и ни одной копейки от меня не брал. Взорвало меня. Обида! Воспитывал его, можно сказать, в страхе, учил разбирать людей, почитать родителей. А тут вдруг беда!.. По нескольку дней не вижу его, а придет и запирается в своей комнате. И вот однажды перехватываю его и вместе с ним вхожу к нему. «Коля, говорю, учись различать людей. Знайся с людьми хорошими, а не с такими босяками». А он: «Я, говорит, не понимаю тебя, папаша...— И зубы на меня скалит.— И что, говорит, значит — хорошие люди?.. Ты, говорит, человек старого порядка и все меряешь своим аршином. Ты, говорит, ничего не понимаешь, кроме стяжания. Сколько ты людей по миру пустил! Мамашу заел, сестру Таню уморил, как Кащей. Я ненавижу твою жизнь».

— Твердый парень! — заметил коренастый молодой человек.— Не трус. С убеждениями. Значит, ты много постарался, чтобы из сына врага себе воспитать.

Старик говорил как-то странно: он похохатывал, но слова его дребезжали злобно, ядовито, и он представлялся мне костлявым, с хищным носом, с дрожащей козлиной бородкой и властными пронзительными глазами. Вероятно, он никому не давал покоя, хватал людей на улице и вонзался в них, как шершень. Должно быть, так он затерзал и жену и дочь, а за рабочими, своими квартирантами, следил, как сыщик, и с ядовитым хохотком приводил к ним полицию. Так же, вынюхивая, выискивая, он вцепился и здесь в этих двух пассажиров. Куда он плыл на этом морском пароходе? На охоту за добычей, гонимый страстью хищника?

— А я, хе-хе... и сына не пожалел... Ежели пошел против отца, против церкви и трона — нет ему жизни в нашем вертограде. Союз русского народа во главе с государем, под покровительством сил небесных — могучий хранитель устоев твердыни российской. Он не

щадит никого — ни бунтующей черни, ни супротивников, ни близких. Это грозное воинство истребило множество бешеных собак — краснофлажников и забастовщиков, не щадя своей родной крови. Так я в жертву принес и моего Кольку. Тоже ходил с красной тряпкой на тросточке. В октябре это... во время этого проклятого бунта. Идут, и не одна тысяча... Только одни обнаженные головы да красные флаги. Поглядеть со стороны — сердце замирает... Колька тут же, глаза блестят... выше как будто и ростом стал. А в воздухе словно стон стоит от этой ихней марсельезы. Прорвался я к нему — вцепился в него и кричу: «Домой, домой пошел, негодяй!..» А он отшвырнул отцовскую мою руку и вытолкал меня из босяцкой своей толпы. Как варом меня ошпарило. Мой сын открытым врагом стал. Света невзвидел я и домой поплелся. Пристав, Иван Николаич, встречается. Летит, как будто собаки за ним гоняются. «Куда?» — мол. «К забастовщикам, говорит, казаки на усмирение высланы. Бойня, кажись, будет». — «Голубчик, говорю, Кольку моего там охраните». — «Нельзя, говорит, потому — толпа... Не разберешь. Уж вы сами». — «Ежели, говорю, нагайками будут стегать, так это хорошо. Посечь бы его, говорю, не мешало — хорошенько. Может быть, образумился бы, подлец». Убежал он, только рукой махнул. Вдруг слышу — выстрелы, шум, гиканье, топот... Бросился я туда, сердце колотится, ног под собой не слышу. Выбежал на Садовую. Толпа — все одно как при землетрясении. Рвачка, столпотворение вавилонское, да и только. Люди не видят никого, не слышат, бегут, на столбы натыкаются, падают, кровью некие испачканы. Страх! А выстрелы — как горох рассыпаются. Стоны, вой, крики — беда! Вижу — Колька с той же красной тряпкой бежит, без фуражки, лица на нем нет. И орет: «Товарищи, товарищи! Отомстим, товарищи, за подлое разбойничье нападение!» Бросился я к нему. Вижу, казак гонится за ним, шашкой замахивается. «Сюда, Колька, кричу, сюда!» Сверкнула шашка, промахнулся казак. Упал мой Колька, на него и еще человек пять. Казак дальше пронесся. Схватил я Кольку за шиворот, увидел казака с нагайкой

поблизости. Вертится на одном месте — лошадь заноровилась. Трясу за шиворот Кольку и кричу: «Казак! Сюда, казак! Всыпь ему, мерзавцу, погрей его хорошенько, подлеца!» Чувствую, кто-то ударил меня по лицу, упал я. Не помню уж, что дальше было. Только у дома своего очнулся. Харя в крови, на бороде и усах шматки целые. Человек я степенный, в городе уважаемый, у владыки — под благословением, казначеем в «Русском союзе». И вдруг измордовали меня босяки пролетарские, Колькина шайка.

— Ведь демонстрантов-то разогнали, — напомнил высокий. — Это казаки тебя так обработали или твои же союзники.

— Хе-хе, адвокатики... Уж не бунгарей ли вы защищали?.. А то, может, от погрома улепетываете? — съехидничал старик, наступая то на одного, то на другого.

Силач усмешливо ответил:

— Нет, старче, мы обвиняем. Мы требуем казни для злодеев.

Старик весь встряхнулся, и мне показалось, что он подпрыгнул и захихикал от радостной неожиданности.

— Вот, вот!.. Великий у вас долг — винить, карать, казнить!.. Я сына своего кровного не пощадил — заклал его, отдал его праведному палачу, супостата, поднявшего меч на отца своего.

— Значит, его растерзали в той свалке, в которой и тебя отмолотили? — недобрым голосом спросил высокий человек.

Старик сокрушенно вскинул руки.

— Если бы растерзали, я бы не панихиду, а благодарственный молебен отслужил бы. Нет. Остался жив и невредим. А вместо него, как оповестили меня, рядом со мной лежал убитый казак. Нет, хе-хе! На баррикаде красовался... под красной тряпкой... Командовал своими босяками, палил из ружья в солдатиков и бомбы кидал. Ну, конечное дело, раздраконили эти ихние оградки из кадушек да всякой рухляди, хоть солдатики-то своими телами не одну улицу замостили, а перед баррикадой на заводской улице, где Колька атаманствовал, один за другим и солдаты и полицей-

ские лежали... Два офицера здесь головы сложили. Ну, а как пушка грянула по этим свалкам да пробрались по переулкам к этим разбойникам, — тут их и пригвоздили. Немного их уцелело, немногим удалось улизнуть. А Кольку, раненого, с его дружками я накрыл в ту же ночь в своей баньке. А чтобы не спугнуть их, тайнообразующе пошел к приставу Ивану Николаичу, а он пригнал офицера с солдатами. Конечно, военный суд был. Кольку да еще двух бунтарей — его сподручных — приговорили к казни. На фаэтоне везли его... Конвой человек в двадцать верховых... с обнаженными шашками, а с ним — четыре солдата с офицером и тоже с саблями наголо... Сидит между ними Колька в рваном пиджачишке, в студенческой фуражке... бородкой оброс... И не это меня по сердцу ударило, а глаза его: и не глаза, а черные ямины, и в них огонь страшный померещился. И тут же в лице его без кровинки и в глазах его, в их черноте, жена-покойница, мать его, померещилась; такие же глаза и у нее при смерти были и насквозь прожгли меня. Стою я на мостовой, перед толпой народа и кричу: «Коля!.. Здесь я, Коля!.. Бог тебя простит... Покайся в последний свой час!» Взглянул он на меня и отвернулся — должно, не узнал. И сразу же опалило меня: какой он мне Коля! Разбойник он, враг мой. Это я его судил, я на казнь его обрек. Рванулся я вслед черному этому фаэтону и крикнул: «Туда ему, мерзавцу, и дорога! Собаке — собачья смерть!» А когда прочитал в газетке, что его в ту же ночь повесили, всплакнул от жалости — не к нему, не к отверженному сыну, а к себе... к своей жизни многожертвенной, подобной жизни прокаженного боголюбца Иова. А после стало легко и благолепно на душе. Самая-то кровная жертва, жертва Авраамова, — самая великая и богу угодная, утверждающая престолы царя земного и небесного. Премудрость, хе-хе-хе!

Дребезжащий его елейно-самодовольный хохоток обжег меня, как огонь. Я хотел вскочить, кинуться к этому жуткому старику и схватить его за горло. Но басовитый голос высокого человека спокойно произнес:

— Мы знаем, почему ты на этом пароходе. Ты — аспид, ядовитый гад. Ты — не только детоубийца, ты черносотенец. Мы давно следим за тобой, чтобы отомстить за сына и за многих товарищей, которых ты отправил в тюрьмы и на смерть.

Оба человека стали наступать на него, заставляя его пятиться к корме. Он отмахивался, бормотал что-то угрожающе и вдруг захихикал злорадно:

— А вы у меня в мешке, хе-хе!.. Прокуроры, обвинители!.. Вот крикну, и — пуф! — нет вас...

Аспид не успел крикнуть: мгновенная возня, глухой удар — и за бортом раздался всплеск воды. Оба человека медленно прошли к надстройке парохода и скрылись в черной дыре открытой двери.

С моря порывами подул свежий ветер. Пароход начал плавно покачиваться.

1906

УДАР

После обычной бессонницы, которая мучила Дементия Ивановича уже не один год и совсем расшатала его нервы, встал он с тяжелой головой и мутной тоской в сердце. И как будто нарочно, перед глазами назойливо трепыхались тетради старших учеников, которые злили его ночью ошибками и неряшливостью. Он застонал, как от боли, и дрожащими пальцами затеребил свои седые усы, клочьями лежавшие на губах и подбородке.

За стеною, в классе, кричали и возились ребятишки, а в другой комнате звякала посуда и сердито ворчал самовар.

Жена сидела за столом и перетирала посуду. Испитое лицо ее болезненно морщилось, и вся она, закутанная в теплую серую шаль, казалась сиротливой и обиженной.

Дементий Иванович взял приготовленный ему стакан с раствором борной кислоты и хриплым басом сказал:

— Милитриса ты моя Кирбитьевна! Нет тебя на свете краше, а меня, молодца, храбрее. Уж двадцать лет мы живем с тобой в этом трущобном замке в непреоборимой верности... в эмпиреях болезней и воздыханий. И покойна наша жизнь, как темница. И ежели подохнем с тобой, никто не воздвигнет нам памятника. А почему? Потому что не был я никогда хозяином

самому себе... и не победил смерти жала. А теперь... умываться вот пойду.

И он, сгорбившись, поплелся на кухню.

— Ты пока что, Дементий, сходи в лавку к Тимофею. Забери что надо — мяса, муки да хоть полкирпича чаю...

— Ладно.

Сторож, маленький толстый мужик с обмороженным лицом, обросшим мохнатыми рыжими волосами, затапливал печь, и когда он с поленом скрывался в жерле ее, казалось, что прыгал в пасть какому-то ленивому, слепому чудовищу.

— Налей-ка воды, Петрован!.. Каждое утро приходится с тобой веселые разговоры вести...

Петрован с молчаливой покорностью поднес к рукомойнику целое ведро.

— Ты бы уж всю кадушку притащил.

Петрован спокойно, как неживой, лил из ведра воду и тяжело сопел от усилий.

— На Тимофеевой молотилке Листратову парнишке ногу оторвало, Дементий Иваныч... Темь — глаз выколи... В больницу увезли, без памяти... кровищи — вся портка разбухла. Воет Листрат... не в себе... Один мальчонка-то... без матери... Пьяный сейчас... в сибирку староста засадил.

— За что?

— Да за что? Приплелся к Тимофеевой лавке и ревет: «Сожгу, говорит, убью... От машины, говорит, званья не оставлю...» Ну, Тимофей — в обиду. «Я же, говорит, его, подлеца, ублажаю, а он меня обиждает». Староста случись... «Взять, говорит, его в каталажку!» Ну и заперли. Бедному человеку — везде урез.

— Ну и Тимофей! Прижимает, мошенник, мужиков...

— У-у, легко сказать!.. На твоих глазах ведь...

— Ты подумай! Откуда что взялось! Из трудов праведных не выстроишь домов каменных. А из мужичьей шкуры легче всего золото добывать.

— В батраках был... Помнишь, у кабатчика лямку тер? Тысчи-то откуда у него появились? Не скроешь! Ежели бы не снюхался с хозяйской дочкой, так и теперь бы, поди, сопленосым был. Тесть лучше был: по

крайности, чистое вино продавал, а он в бочку воду льет ведрами. Горой раздуло! Мангажей открыл, подряды держит... Всех опутал, мироед!

— А ведь вот мужики-то лезут к нему — клянчат, без шапки стоят...

— Чудной ты, Дементий Иваныч! Как же не пойдешь? Бедность, тягость, подати... Не хошь, да кланяться будешь. Мне вот чего надо? А ведь тоже у него в лапах. Табачишку возьмешь, того-сего по мелочи... Нас троёчка, а требуется ведь... У него вот в гумаге-то на меня сколь наворочено, что я и в год того не наберу. Пристал надысь к горлу: давай-подавай, где хошь бери! Ну, чего я ему дам? А он взял да мой сенокос и захватил. Чего с ним сробишь? Заплакал — тем и сорвал горе. А сенокосу-то мало-мало целковых на двадцать было... за каку-нибудь трешню! Вот и Листрат тоже... Припер его к стене, как мое же дело... Тот — Христом богом... Иди, говорит, работай на молотилке! Дома тоже молотьба... уборка... один... Ну, на парнишке и сошлись. Тут и большому-то невмоготу...

— Ах, Тимофей, Тимофей! Не люблю я его, шут с ним!

— Да кто его любит? Обиждает, вздыху не дает... Хочь бы ты заступился за нас, Дементий Иваныч. Ты — человек образованный, все на свете знаешь.

— Чего зря болтать, Петрован!.. Куда мне? Я сам себя защитить не могу.

— Прошенье хочь бы на него начальству написал. Кому-кому, а уж тебе поверят. Вон погляди-ка: полсела нынче хлебом обидел — силком скосил... и суда на него нет. Самсоновы да Лукины к тебе прийти хотели... ото всех...

— Что ты, что ты, Петрован! И не могите! Не мое это дело!.. Не трогайте меня...

В кухню шумно и весело вбежали ребятишки и, задорно толкая друг друга, подскочили к рукомойнику. Увидев учителя, они испуганно присмирели и молча уставились на него.

— Ну вы, галманы!.. — утираясь, строго крикнул на них Дементий Иванович. — С цепи, что ли, сорвались! Здороваться-то надо или нет?

С суровым лицом, кашляя, он отвернулся от ребятишек, которые разноголосо крикнули ему: «Здрасте!», и сутуло вышел из кухни. Он сел к столу и подвинул к себе налитый стакан чаю. Жена сидела к нему боком, не смотрела на него, и он знал, что лицо ее болезненно морщится, как всегда. Он давно уже привык к этому и уже забыл, какой была прежде эта женщина.

— Мужики вот хотят прийти с жалобой на Тимофея, чтоб я вмешался... — проворчал он тревожно и сердито. — Этого еще недоставало!..

— Всех терзает он, Дементий... да и нас с тобой не оставляет своей милостью...

Она скорбно улыбнулась.

— Видеть я его не могу, прямо дурно становится... Скуластый... бурхан какой-то... Записывает долг, а сам ухмыляется.

— Продувной мужик... Свяжись с ним — и не разделаешься.

— Конечно, Дементий. Греха наживешь. Нам при нашем положении покой дороже всего... А мужикам объясни, не груби... Чтобы неудовольствия не было...

— Соображаю, не без того.

— Из головы у меня не выходит этот Листрат... Что будет он делать, несчастный?

— Ну, полно... не расстраивайся...

— И мы вот... чем лучше Листрата? Никогда из Тимофеевой кабалы не вылезаем. Измотались мы с тобой, Дементий...

— Ну-ну... замолола мельница.

— Девятнадцать лет мы живем с тобой, словно нищие... Поп вон ездит с причтом и требует, как должное, а тебе слышится: прими, Христа ради!..

— Что ж, всякому свое... Не валяемся под забором — и хорошо.

— Может, и придется, как знать... Не угодил мужикам — и беда, не угодил Тимофею али попу — тоже. Не угодил начальству — еще хуже: погибель! Только отрада, что Митя... звездочка наша.

— Не загадывай, Варвара Никоновна... Отрада!.. Она, отрада-то, как бы горем не стала. У него такие

мысли... и такие вольные разговоры с народом, что жуть берет...

— Не суди Митю, отец! Он же не маленький... Сам скоро учителем будет... Сыщи-ка такого умницу! Для него правда дороже всего...

— Болтай побольше... С его правдой-то далеко не ускачешь. До ужаса боюсь, что на своей честности он башку сломит. Честный смельчак как медведь на рогатину лезет. Мне уж и поп и Тимофей уши прожужжали: «Крамольник твой Дмитрий! В узду его возьми, а то сам из-за него в беду попадешь... С мужиками якшается, смуту вносит... Таких, как твой сын, полиция не милует...»

Варвара Никоновна гневно взволновалась.

— Поздно учить нам Митю. Он сам тебя, отца, поучит. Души своей Митя не погубит. Честность да правда смелостью сильны. Ты сам это когда-то Мите внушал — не забывай...

— Не честность, а наглость города берет, Варвара Никоновна. Я честность по-своему понимаю: будь хорош, а другим на мозоли не наступай. Зверей не зли, не лезь им в пасть. А время сейчас звериное. Приглядись к нему: в прошлом году устроили забастовку в своей учительской семинарии—зачинщиком был. В партии какой-то там состоит, на митинги ходит, речи говорит... Приехал сюда — мужиков волнует, с нами в споры вступает... к чему это? Он еще не жил, молокосос еще... Мало ли у меня всяких мыслей, да я храню их в себе — на рожон не лезу...

— Конечно, забитые люди не только рожна, но и чужого пальца боятся. А у Мити не страх — бог в душе. И мое сердце — с Митей, а не с тобой, Дементий. Митей я горжусь... пускай, может быть, и страдать и плакать буду...

Дементий Иванович нахмурился, вскинул на жену сердитые глаза и проворчал:

— У всех у нас в молодости в душе не бог сидит, а озорной черт...

Он засопел и встал из-за стола.

На мерзлых стеклах окон игриво лучились радужные искры утреннего солнца, и было приятно смотреть

на них и тревожно думать о сыне. Дементий Иванович надел черный овчинный тулуп и лисью ушанку, закурил маленькую носогрейку и вышел.

Над избами клубился желтый дым. Сопки за рекой в синей щетине голого леса сквозь лиловую дымку казались очень далекими и сказочно таинственными.

Около волостного правления толпились мужики с заиндевелыми бородами и тревожно шумели, раздраженно размахивая руками. Дотронувшись до шапки, Дементий Иванович торопливо прошел мимо них и, подняв полы шубы, стал взбираться на высокое крыльцо лавки.

— Дементий Иваныч! — крикнул кто-то из мужиков. — Погоди-ка на час!..

Дементий Иванович обернулся и, вынув трубку изо рта, неохотно остановился.

Мужики неуклюже подступили к учителю и плотно обступили его со всех сторон.

— К твоей милости мы... — наперерыв загудели они. — Вишь, какое дело-то... То есть дышать нету мочи... Зорит он, Тимофей-то...

— Погодите вы... — махая рукою, крикнул высокий скуластый старик со стрижеными усами. — Чо галдеть-то без спорыньи... рази хорошо, дети мои? Пущай рассудит нас он, Дементий Иваныч... Ты возьми вот, что было — и что стало... сам видишь... Чо уж толковать-то... Коли обо всем говорить, так никогда и не перескажешь... Ты души не убьешь. Появился он у нас и, как полая вода, все рушит. Рыбный промысел да извоз этот его — могила. Какие наши достатки? Земля родить перестает, орех в тайгу ушел, белка сгинула... Куда пойдешь? А он, как добрый: и в должок отпустит и деньжонками уважит... Ну и... ничего не поделаешь. Не смей ослухаться... Маешься, маешься — и опять прорва. Изнедужились все. Мочи нет — в город бежит мужик... на твоих глазах... Ни встать, ни сесть — поешь весь, как в чирьях.

— Никаким чисто пóбитом... — взволнованно завозились опять мужики. — Взял бы вот да и расшибся. Удавить его, сукина сына... Только и осталось, что разгромить...

— Так я-то тут при чем, ребятушки? — нахмурился Дементий Иванович, выколачивая пепел из трубочки.

— А ты погоди, бай... — дотронулся до его груди высокий старик. — Дай срок!.. Не галди, мужики! Ведь с нами живешь... и учитель наипаче... Зачем он нас хлебом обидел? Он думает, что у него деньги — телохранители... и управы на него нет. Видал, что он сделал с Листратом-то? Сгубил парнишку-то... За это праведный суд в каторгу ссылает... А тут поп на его стороне, старшина — тоже... Надёжа только на тебя... Ты души не убьешь...

— Да чем же я вам помогу, дед? — заежился Дементий Иванович. — Куда мне?.. Что вы!

— Дыть ты все законы знаешь... Кому, как не тебе...

Мужики опять загудели хриплыми простуженными голосами, настойчиво и шумно.

— Эх, ребятушки!.. — вздыхая, виновато запротестовал Дементий Иванович. — Я в такой же шкуре, как и вы. Вас много, всем миром ничего не можете сделать, а я — один... Что я могу? Какая у меня сила? Вы же первые разбежитесь в разные стороны, ежели меня за горло схватят.

Он отмахнулся от мужиков и распахнул дверь в волостное правление.

Из дырявой грязной двери каталажки рвался стонущий вой и жалобные причитания. Лохматые мужики неподвижно сидели на лавках и, попыхивая трубками, говорили все вместе крикливо, как на сходе.

— Старшина!.. — бунтовал Листрат, бухая кулаком в дверь. — Старшина, выпусти!.. Почто руку на меня поднял? Почто изгиляешься?.. С нами живешь, нам служишь...

Обмороженный нос, безумные глаза и клочья скомканных усов и бороды мелькали в квадратной дыре двери, запертой висячим замком.

— Учитель! Дементий Иваныч! Будь заступником, будь судьей... Почто меня ввергли?

— Ли-истрат! — крикнул успокоительно чей-то старческий фальцет. — Не реви, бай! Что же сробишь?. Смирись! Бог рассудит...

— Мне Тимошка — не на́больший... Забидно мне... Жизню он мою решил... Не хочу смириться! Я на все пойду — не устрашишь меня... Учитель! Не убей души!

Дементий Иванович оторопело взглянул на дверь каталажки и прошел в канцелярию.

Писарь, лысый, с широкой черной бородой и большим толстым носом, сидел за столом пьяный. Старшина, рыжий мужик, со стрижеными усами и бородой, сидел в переднем углу, на денежном сундуке, и усиленно тянул из трубки.

— А-а! Учитель-мучитель!.. — несвязно и хрипло промычал писарь. — Равви!..

Он встал из-за стола и, шатаясь, подошел к Дементию Ивановичу. Цепко, как это делают все пьяные, схватил его за грудки и заговорил, брызгая слюною:

— Разреши задачу, учитель. Почему, к примеру, я всю жизнь свою — нищий... и никакого мне званья нет, кроме бродяги? Почему мне удовольствия нет ни в какой час?.. Почему мною вертеть волен всякий... и лаять меня? Почему-с? Все как псы скулят постоянно, трясутся... и я с ними... и никто ничего не знает... Вон Листрат в каталажке воет... Почему он должен выть, скажи, пожалуйста? Разреши эту задачу, равви... Старшина! — завыл он, как Листрат. — Выпусти мужика.

Старшина взглянул на писаря и, не выпуская трубки изо рта, лениво прогудел:

— Пускай посидит... Тебе-то что?

— Выпусти, и больше никаких!.. У него — беда: парнишку смолол наш кулак, а ты его — в узилище... Сию же минуту, Варавва!.. А то я сам заморожу тебя в этой клетке...

Старшина был глух и слеп. Дементий Иванович оторвал пьяную руку писаря и неожиданно для себя накинулся на старшину:

— Освободи, старшина, Листрата! У мужика — беда, отняли и убили сынишку и его же заперли!.. Как не грех!

Старшина бездушно и нехотя ответил:

— Начальство приказывает. Ежели кто бунтует — тащи и запирай — подмораживай!..

Он тяжело встал и, звякнув ключами, вышел в при-

хожую. Дементий Иванович торопливо и молча стал разбирать почту.

— Смотритель военного госпиталя... был гнусавый... — бредил писарь, толкаясь около учителя. — Гнусавый, гум-гум-гум... Солдаты обидели бабу в дровах, на дворе... И она была гнусавая. Пришла жаловаться... и тоже — гум-гум-гум... А он думал — хо-хо! — что она его дразнит. «Взять ее, стерву! Посадить!» Равви, и мы тоже гнусавые, и жизнь наша гнусавая...

Он грузно опустился на стул и беспомощно уронил свою бородатую голову на стол.

В груде газет и бумаг Дементий Иванович нашел письмо, адресованное на его имя, и несколько пакетов на имя школы.

«От Дмитрия письмо, не иначе... Однако писал на конверте кто-то другой... товарищ, верно...» — подумал он и, положив почту в карман шубы, торопливо выбежал из канцелярии.

Дверь каталажки была отворена, и в дырявой темной клетушке никого уже не было. Мужики тоже вышли на улицу.

Он вошел в лавку Тимофея, просторную и мрачную, загроможденную товаром снизу доверху. У прилавков теснились мужики, которые смотрели на полки завистливыми и голодными глазами.

Трое молодых приказчиков, приветливо улыбаясь, с ласковой вежливостью и услужливой мягкостью оживленно тормошили товар и, нагибаясь над прилавком, близко подносили его к лицам покупателей.

Тимофей стоял направо, в углу, у конторки, и, морщась от дыма папиросы, перелистывал какую-то большую книгу. Одетый по-городски, высокий, жилистый, с широким плоским лицом, выдающимися скулами и узкими нахальными глазами, он пискливо пел про себя какую-то игривую песенку и уверенно щелкал костяшками счет.

— Дементию Иванычу — мое почтение!.. — гулко приветствовал он учителя, протягивая руку через прилавок. — Честь и место!

— Сидеть-то некогда.

— На два слова...

Он облокотился о прилавок и близко нагнулся к Дементию Ивановичу.

— Вы что-то, кажется, затеваете против меня?

Дементий Иванович изумленно поднял брови и медленно пожал плечами.

— Спарились там с мужиками, и... жалоба будто к начальству...

— Правда, меня просили, но я отказался...

— Очень мне было удивительно. Я о вас говорю. Не советую с ними связываться. Я вот поневоле имею с ними разные дела и проклял свою судьбу.

«Толкуй, брат... — подумал Дементий Иванович. — Волк овцу дерет, да сам же и ревет. И кто это ему насплетничал?..»

— Мужик, Дементий Иваныч, — варвар и аспид. Неученая тварина. Всё — для брюха, всё — для пьянства, всё — чтобы на шермака... Ты с ним как бы по-благородному, а он тебе зубами щелкает. Норовит обмануть, забрать — не отдать. И все потому, что он в промышленной части ни бельмеса не понимает. Слышали, что произошло сегодня утром? Вместо того чтобы мне говорить тысячу спасиб, меня же охалят...

— Что же, выхода нет... бедность, темнота...

— Вот именно... Учат их, а что толку? Никогда вы его нашими школами не научите. Что школа? Не школа учит человека, а — дело, рвенье... домостройство и копительство. Возьмите город. Почему там народ сквозь землю видит и все звезды пересчитать может и прочее?

— Культура.

— Никак нет... А потому, что там — капитал, деньга... заводы, фабрики разные... Именно так. Деньга — всему голова. Каждый старается к деньге быть поближе и поэтому разные премудрости выдумывает. Мастера разные плодятся, купцы, капиталисты, книжники... Ну и работает башка: на тонкости разные собачится. Почему теперича везде шум пошел? Потому, что всякий карапуз понял, что настоящая жизнь — в деньге... что всякая свобода есть деньга...

— Ну, положим... На этот счет единомыслия нет...

— Для лентяев да завистников — нет, а практиче-

ские умишки — едино мыслят: жизнь есть накопление капиталов. Кто умен — все угодья в нем. Ну, и битва, конечно... Одна рука бьет, а другая любит счет... Я вот по моей силе да изворотливости золотой прииск имею, рыбный промысел на Байкале... И вот еще посудный завод открыть думаю. Наша земля — каша с маслом. Копни землю — золото, пырни обушком — самый чистый коалин. Богатства много, только шуруй! Толку вот у мужиков нет. Они думают, что им дастся так: чох-мох. Они — не люди, а медведи таежные! Жрут, пьянствуют, молятся... Деньга, паря, не для брюха, а для радости. Бог сотворил черта и человека. Для чего? — для радости, а радость — в борьбе. Вот он, бог-то, и дерется бесперечь с чертом-то... Бог — на небеси, черт — на земле. Ну, они друг спроть друга людьми и воюют. А люди думают, что этс они по своей воле битвы ведут. Бог не напрасно это сделал. Кто победит, того он и любит. Грешники — это те, которые хнычут да жалуются. Они нс в счет: это — сор, отбросы. Неробкая собака никогда не брешет, а прямо — на грудь, и этой собаке цены нет.

Тимофей надул жирные щеки, уставился на Дементия Ивановича с наглым смехом в глазах и вдруг злобно прищурился.

— Зачем шантрапу привечаешь? Почему они тебя ходатаем хотят взять? Гляди у меня, учитель! Как бы тебе солоно не было... Вот я завел агрономические машины, дивились все: паровик, привод и прочее. Пущай учатся. Так нет! Не дубье ли? Вот Листрат... его же, стервеца, пожалел — мальчонку взял. Кто ему велел в машину-то прыгать?

К конторке подошли покупатели, тесно обступили Дементия Ивановича и молча протянули Тимофею зеленые билетики. Зазвенели деньги в кассе, дробно затрещали счеты. В лавку вошли несколько мужиков в желтых шубах и, перекрестившись на полки с красным товаром, с глухим кашлем подошли к прилавку.

— Насчет клади мы, Тимофей Егорыч... — загудели они, вытягивая шеи.

— Видите, с человеком говорю? Чего лезете?

Мужики замигали глазами и сконфуженно отступили.

— Двадцать подвод нужно: собирайтесь в четверг. Цена — четвертак.

— Да ты чо? Надысь ведь за сорок ходили...

— То надысь... Я отпускаю вас, Дементий Иваныч.

— Мне бы чаю кирпичик, мяса, муки...

— Василий Иваныч! Дайте кирпич чаю.

— Накости, бай, Тимофей Егорыч... — опять сипло загудели мужики.

— Тут вы накопили должок, Дементий Иваныч. Взять с вас скоро — надежда плохая, зато детишек у меня подготовите в емназию.

«Прижмет, подлец...» — подумал Дементий Иванович, усмехаясь.

— А ты слушь-ка!— загудели мужики.— Накости!.. Завсегда от тебя ходим... Знаешь, какая натуга...

— Я же убедительно сказал. Торговаться с вами у меня нет привычки. Мимо меня все равно не проедете.

Тимофей вышел вслед за Дементием Ивановичем и остановил его, положив ему руку на плечо.

— Погоди-ка, учитель! Любуйся: вот эти голодранцы, орава бездельников, как нищие, толпятся перед моей лавкой... И все у меня в долгу...

Он толкнул толстой рукой в толпу мужиков, которые кричали, как на сходке.

— Я, учитель, нарочно, с тобой вышел, чтобы вся эта сволочь видела, какие мы с тобой друзья. Кешка! — окликнул он парнишку-работника. — Отнесешь сейчас же корец меду учителю. Беги в лавку — я сейчас приду.

Тимофей подмигнул Дементию Ивановичу и повернулся к мужикам. Дементий Иванович замахал руками и заволновался:

— Никакого мне меду не надо... что вы, Тимофей Егорыч!.. Зачем меня в конфуз перед мужиками вводите?..

Тимофей затрясся от смеха.

— Вот и пускай поглядят, с кем ты компанию ведешь. Больше они к тебе с докукой не пойдут.

Дементий Иванович совсем растерялся.

«Вот бестия-то! Негодяй какой!.. Подсек! Обесславил перед народом».

— Ага, ты здеся, живоглот!.. — хрипло взвыл кто-то сбоку. — Варнак! Только тебе и жизни!..

Дементий Иванович остановился и попятился назад.

Взлохмаченный, озверелый Листрат с топором в руке рвался из рук высокого парня. Выпучив глаза, неуклюже бежали к нему мужики.

Тимофей скрылся в лавке.

— Ага-а!.. Мерзавец! Убивец! — заорал Листрат и, широко взметнув топором, в отчаянии швырнул его вслед Тимофею.

Из лавки выскочили покупатели, подбежали и мужики, стоявшие у церковной ограды. Все тревожно закричали, замахали руками.

— Держи, вяжи его!.. Ишь чего надумал, дикошарый!..

— Не ревите, ребята!.. Озлобился мужик-то... Вконец обездолили его...

— И то важно, что хоть один с ума сошел.

Листрат с трудом поднялся на руки, заелозил по земле и, в припадке бессильной злобы, хрипло кашлял от рыданий.

— Ребятушки, верно... — опомнился кто-то в тесной волнующейся кучке. — С топором... убийство ведь. Рази можно?

— Связать надо, братва. Этак мы друг дружку рушить будем...

— Ну-ка, охотники! Пойдем поучим его...

— Как это так? — визгливо крикнул кто-то из толпы. — На одного безумного мы, здоровые, нагрянем да терзать будем?

Надсадно заорал и другой голос:

— Помогай, робя, Тимошке-кулаку!.. Начнем с Листрата, а там и друг дружку за горло схватим... То-то Тимохе на потеху!..

Дементий Иванович сорвался с места и широкими шагами подошел к Листрату. Он бросил мешочек с покупками на снег, подхватил под мышки пьяного Лист-

рата, тяжелого и рыхлого, и с трудом поднял его на ноги. Подбежали двое мужиков и взяли Листрата под руки. Дементий Иванович сурово укорил их:

— Чего же это вы... своего брата... беззащитного... обиженного со всех сторон?.. Не его бить надо, глупцы...

— И не говори, Дементий Иваныч... — со злой усмешкой пробормотал молодой парень — рабочий по обличью. Когда-то он учился в школе у Дементия Ивановича, а потом уехал в город и работал на железной дороге.

Другой мужик, в старенькой шубенке и рваной шапке, угрюмо проговорил:

— Спасибо, учитель... Не Листрата поддержал, а нас... народ поддержал...

А парень по-свойски кивнул Дементию Ивановичу головой и подтвердил:

— Дементий Иваныч против народа не пойдет...

И они оба повели Листрата по улице мимо толпы. К ним пристали еще несколько человек.

Из лавки вырвался Тимофей со связкой ключей в руке и пустился вдогонку за мужиками, которые вели Листрата.

— Стой! Ни шагу от меня!.. Я покажу ему, как с топором на людей бросаться...

На бегу он подтолкнул двух-трех мужиков из толпы.

— Ну-ка, вы, болваны... Беги хватай его!.. По морде этих непрошеных заступников...

К удивлению Дементия Ивановича, мужики затормошились и окружили Тимофея. Он расталкивал их, рвался вперед, замахиваясь на них ключами, и властно кричал:

— Отступи! Голодом заморю... На коленях ползать заставлю... За мной!.. Держи их, бей варнаков голодраных!.. И их и вас в тюрьме сгною...

Но вырваться из толпы он не мог, словно запутался в ней и завяз в ее гуще.

Дементий Иванович подхватил свой мешочек и пошагал к школе.

«Съест теперь меня Тимошка, кулак толстомордый... — тревожно подумал он, — жить не даст... Надо

быть готовым ко всему. Вот Дмитрий не побоялся бы ввязаться в драку и Листратову беду сумел бы сделать скандалом на всю область: и в газете бы расписал, и мужиков поднял бы... Да-с, Дементий Иваныч, — устал, оробел, обносился... Общипала жизнь твои перышки...»

И он скорбно вспомнил, какой был горячий энтузиаст в молодости. В учительской семинарии он с товарищами мечтал об идейном служении народу. Тогда молодежь горела народническими идеалами и стремилась принести себя в жертву за народную свободу. И вот после окончания семинарии несколько парней и он вместе с ними на высоком берегу бурной и кристально-прозрачной Ангары громко и дружно поклялись, высоко вскинув руки, пойти в гущу народа, отдать жизнь свою на борьбу за его счастье, за свет и свободу и клятве своей не изменять никогда, хотя бы пришлось претерпеть и гонение, и муки, и, может быть, греметь кандалами. В этот день они были счастливы, долго пели некрасовские песни и декламировали: «Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам...» Это были чудесные дни юности, полные поэзии, радости и веры в будущее.

Приехал он сюда в новую школу, работал с увлечением. Потом лет через пять женился на Варе — круглой сироте, дочери соседа — учителя, умершего от чахотки. Она ухаживала за больным отцом и отказалась уехать в город учиться. Кое-какие знания она получила от отца и часто занималась в школе вместо него, когда он лежал в постели. И по облику и по одежде она совсем не отличалась от своих подруг — деревенских девчат.

Так прожил с ней Дементий Иванович в этой своей школе двадцать лет. Зимние дни уходили на школьную работу, летом возился в огороде и пришкольном саду, который он вместе с ребятишками засадил привитыми им самим яблоньками, смородиной и черемухой. Яблоньки у него не раз гибли от морозов, но он добился устойчивой породы. Варя хлопотала по хозяйству: завела корову, овец, откармливала свинью. Мечты его поблекли, юношеский пыл потух, и он понемногу

стал забывать о той клятве, которую дал вместе с друзьями на берегу Ангары. Рождались дети и умирали, остался только Митя, первенец, похожий на отца.

В первые годы Дементий Иванович пытался завести дружбу с беднейшими крестьянами, собрал около себя кой-кого из парней, но дружба эта скоро оборвалась: поп пригрозил ему полицией, а зажиточные мужики подняли гвалт в волостном правлении. Кулак Тимошка, тогда молодой и тароватый приказчик в большой лавке старика богатея, женился на хозяйской дочке и забрал в руки и торговлю, и мельницу, и все домашнее хозяйство. Он сам пришел к Дементию Ивановичу и по-приятельски провел с ним за чаем веселый час. Ни слова не сказал он о дружбе учителя с бедняками и об опасных разговорах с ними, а шутил, смеялся и трунил над попом и над подкулачниками. Своей простотой, дружелюбием и веселым нравом он понравился Дементию Ивановичу и Варе. Так сумел он приручить молодого учителя. В разговорах он без боязни ругал начальство и правительство, жалел бедных мужиков и уверенно предсказывал скорую свободу. Из своей лавки присылал учителю свежий товар — чай, сахар, сыр и материю, и Дементий Иванович не выходил у него из постоянного долга.

Но у Мити еще со школьной скамьи завязалась крепкая дружба с деревенскими парнишками, которая не прерывалась и тогда, когда он учился в двухклассном училище в соседнем большом селе, а потом и в учительской семинарии в городе. Он переписывался с ними, а на каникулах проводил свободное время на вечерках или уходил в сопки, в лес. Дементий Иванович догадывался, что Митя ведет с парнями тайные разговоры и читает подпольные брошюрки. Дома он был неразговорчив и все время читал какие-то толстые книги, которые привозил из города. Однажды Дементий Иванович раскрыл одну из них и прочел заглавие: «Карл Маркс. Капитал». И хотя книга эта была дозволена цензурой, но подзаголовок «Критика политической экономии» все-таки породил тревогу. Вечером он стал допытываться у Мити, какие у него общие интересы с деревенскими парнями. Митя улыб-

нулся, откинул пальцами длинные волосы со лба и пристально посмотрел на отца своими ясными серебристо-голубыми глазами.

— А почему бы, папа, не иметь со своими старыми товарищами общих интересов? Мы беседуем, обсуждаем вопросы классовой борьбы. Я разъясняю им, откуда бедность, откуда богатство и эксплуатация человека человеком.

— Об этом и в «Капитале» говорится?

— Да, в «Капитале» все это научно обосновано.

Мать слушала Митю и любовалась им. А Дементий Иванович всполошился и строго приказал:

— Ты это, Митрий, оставь; не твое дело. Молод ты еще такими делами заниматься. Учиться надо и свое место в жизни найти.

— Почему же, папа, не мое дело? Это дело каждого сознательного, честного человека. Молодость здесь ни при чем. Я слышал, что в молодости и ты как будто горел какими-то хорошими идеями...

— Горел да перегорел... — сердито оборвал его Дементий Иванович. — Хотел как Дон-Кихот с мельницами воевать. Дуракам закон не писан. А ты еще жизни не знаешь и не видишь, что перед тобой двери тюрьмы открыты.

Дмитрий, не угашая улыбки, открыто и дерзко ответил:

— Я не боюсь этого. Борец за правду, за свободу народа в условиях царского самодержавия не гарантирован от тюрьмы и от гонений.

Тут мать любовно, но с трепетом сказала:

— Я во всем тебе верю, Митя. Ты ничего плохого не сделаешь. Только сердце у меня замирает от одной мысли, что ты пострадаешь...

— Ну, это еще неизвестно, мама. Беспокоиться тебе нечего. А ежели что и случится, я твое сердце буду чувствовать каждую минуту, а папа поймет и не осудит меня. Ведь правда обездоленных и честных людей ему тоже близка.

Этими словами сын словно оглушил Дементия Ивановича: он не нашел слов, чтобы возразить Дмитрию, а только вздохнул.

И теперь по дороге домой, после того, что произошло у лавки Тимофея, он почувствовал себя нехорошо: что-то вроде угрызения совести давило сердце, мучило презрение к себе за робость, за унизительное самооправдание перед кулаком. Какая бесцветная, рабская, трусливая жизнь была у него! Одинокий, оторванный от культурной жизни, он был запуган и попом, и богатеями, и инспектором народных училищ. Вспоминая разговор с сыном, он с ужасом думал, что Дмитрий считал его чужим человеком, пожалуй даже врагом, и таил от него свои мысли и дела, а за столом молчал. Но с матерью обращался ласково, говорил с нею словоохотливо и все время с улыбочкой. А мать налюбоваться на него не могла и сама молодела. Это обижало Дементия Ивановича, и он с досадой чувствовал, что между ним и сыном рвется родная связь, что у сына своя жизнь, свои думы, свои цели. Но он хорошо знал, что Дмитрий — честный, чистый юноша, что душа его горит неугасимой верой в свой идеал, который теперь кажется ему, Дементию Ивановичу, детской сказкой.

Он вдруг вспомнил о письме, полученном на почте, вынул его из кошелки и в предчувствии какой-то беды дрожащими пальцами разорвал конверт. Почерк незнакомый, письмо коротенькое, без подписи. Сразу же бросилось в глаза слово «Дмитрий». Не читая, Дементий Иванович уже знал, что Дмитрий «провалился». Хотя письмо было написано четкими, красивыми буквами — характерным почерком семинаристов и учителей, — Дементий Иванович читал эту короткую записку всю дорогу до школы, словно не понимал ее смысла. Должно быть, из-за конспирации письмо было анонимным, но не поверить ему было нельзя. Дементий Иванович давно ждал катастрофы, а эти две фразы оглушили его до помрачения. «Дмитрий арестован и заключен в тюрьму. Если можете, приезжайте на свидание».

Он, как больной, вошел в прихожую, разделся и, сгорбившись, молча прошел в горницу. Варвара Никоновна сидела у окна и шила. При взгляде на Дементия Ивановича она замерла и уронила на пол свое шитье.

— Что... что случилось, Дементий?.. Ты едва стоишь. Заболел, что ли?.. Я сейчас же отпущу учеников домой...

Не отвечая, он протянул ей письмо и, как старик, прошел в класс.

Как обычно, он провел урок со всеми отделениями, спокойно, с привычной строгостью, с долголетним правилом соблюдать все дидактические требования. Ученики робели перед ним, и в классе всегда стояла тишина. Да и сам он мгновенно преображался в школе: чувствовал себя молодым и свободным. Тут во время работы он забывал обо всех заботах и неурядицах, которые преследовали его каждый день в бескрылой его жизни. Он видел перед собою много детских лиц, много чистых, прозрачных, как ручейки, глазенок и сам чувствовал себя не обычным, не забитым и безличным человеком, а таким, каким был в молодости, когда среди этих малышей он открывал в себе каждый раз что-то новое, волнующее, человечески хорошее...

На перемене он застал жену на том же месте, но шитье ее ворохом лежало на полу. Она не пошевелилась с той минуты, когда он сунул ей в руку письмо. И лицо у нее как будто было спокойное, но смотрела она горячими, неподвижными глазами в одну точку. Необычно чужим голосом она сказала требовательно:

— Сейчас же в город, Дементий! Наряжай лошадей!

Он впервые почувствовал силу ее воли и попробовал возразить.

— Так уж и сейчас... поедем завтра — надо собраться, приготовиться...

Она даже головы к нему не повернула, а тихо, но твердо приказала:

— Дементий! Иди! Отпусти учеников и закажи почтовых!..

Утром, на другой день, они были уже в городе. Остановились они у железнодорожного учителя Иннокентия Кошкина, школьного товарища Дементия Ивановича. У него было трое сыновей; один из них кон-

чал гимназию, а остальные двое учились еще в своей школе.

Это был высокий сутулый человек со смуглым лицом, морщинистым лбом, крючковатым носом и угрюмыми глазами. Вместо бороды и усов у него на губе и подбородке торчало несколько черных волосков.

Низенькая, белолицая жена его, Лариса Николаевна, казалась моложе его на вид, при разговоре всегда смотрела прямо в лицо собеседнику и улыбалась ласково, бархатно, доверчиво.

Гостей они поместили в столовую — просторную, светлую комнату, из больших окон которой видны были, под горою, у самой реки, правильные шеренги товарных вагонов, каменное здание депо, лениво, с одышкой ползущие паровозы, а вдали, на другом берегу, в сизой дымке, — большой город, припертый к мрачной зубчатой стене матово-дымчатых сопок. Снизу часто и глухо долетали крики «кукушки», гулкий грохот толкающихся вагонов и упрямый свист назойливых «сверчков».

Был какой-то праздник, и вся семья находилась дома, но за чаем сидели только старики и гимназист Коля. Варвара Никоновна больше молчала и покорно слушала жалобы Ларисы Николаевны на дороговизну, на заботы о детях... Дементий Иванович как будто постарел еще больше, но бодрился и даже заспорил с Кошкиным о мечтах и химерах юнцов.

— Мы смолоду и увлекались и дурили... Мечтали о служении народу... идти во тьму с зажженными светильниками... А светильники-то наши светлыми пуговицами оказались... И сейчас молодежь сказками живет, уж не о светильниках думает, а о том, как весь свет перевернуть. И выходит, что мы, отцы, не воспитали в них и любви к труду и трезвых мыслей... Старая история отцов и детей. Вот и результат: мой парень в тюрьме уж очутился. Поиграли в революцию, помахали красными флагами, и от волшебных снов — в каменный мешок.

— Ну, батюшка, ты ересь городишь... — наклонившись над стаканом, сказал Кошкин. — Пора бы уж, кажется, понять, что башка не бочонок и обруча

на нее не набьешь... Я радуюсь, что молодежь наша боевая. Она знает, за что борется и к какой цели стремится.

— Много она знает... Не жила, не страдала... Не испытала наших унижений и невзгод...

— Тебе стыдно так говорить... — резко и угрюмо перебил его Кошкин. — В детях наших наша жизнь. Они знают больше нас и не боятся никаких жертв. Мы с тобой жили в застенке, а они и в тюрьме дышат свободой. Ты дрожишь за судьбу сына, а я бы гордился им.

Коля, гладко причесанный, с темной полоской на верхней губе, усмехался, но усмешку свою старался скрыть, низко склоняя голову над книгой. Женщины не слушали мужчин и говорили тихо и задумчиво, точно вздыхали.

— Я знаю твоего Митю, — мягко и ласково говорила Лариса Николаевна. — Он такой смелый и честный. Когда он приходил к нам, я не могла наговориться с ним. Вот посмотри, у меня тоже такой... И гляжу я на него и говорю: господи, какая я счастливая, что у меня такой сын! Уверяю тебя, что, если бы нужна была жертва, я рыдала бы от муки и счастья...

— А разве я жалуюсь, Ларя? Мите я верю во всем: он только правдой и живет. Но сердцу-то не прикажешь — кровью обливается... Ведь в тюрьме он, за решеткой!..

— Конечно, тяжело, Варя. Мы, матери, страдаем вместе с детьми. Но разве ты осуждаешь Дмитрия за его честность и благородство? И разве не честь для матери иметь сына, который, не жалея себя, борется за великую правду, за наше счастье? Надо ненавидеть злодеев, палачей, которые терзают народ и, значит, нас с тобой... Ах, если бы ты могла понять Дмитрия!.. Какие у него мысли, чувства!..

— Я знаю... я понимаю!..— горячо зашептала Варвара Никоновна, и глаза ее налились слезами. — Но так это страшно... так это больно обрушилось на меня... Да вот и Дементия как-то оглушило...

— Поймите вы оба: не для себя мы рожаем детей.

Мохом обросли вы в захолустье. Ну, пойдем ко мне, к моим ребятишкам...

Они поднялись и ушли в спальню, затворив за собой дверь. За окном, внизу, что-то грохотало. Должно быть, промчался поезд на станцию.

— Что мы с тобой делали в жизни? — злобно говорил Кошкин. — Школа превратила нас в рахитиков; удушливая яма, в которой мы принуждены были существовать, тушила тот жалкий огонек молодости, который еще теплился где-то внутри. Мы ждали чего-то дорогого, нужного, без чего нельзя жить. Мы хотели света, жизни, движения, но нас душили темные силы. А ведь мы все-таки не гасили своих светильников, они мерцали во тьме. Разве у тебя там нет людей, твоих питомцев, которые хранят в душе искры, зажженные тобой? Может быть, ты и не видишь, а живые души горят... Не напрасно говорится: из искры возгорается пламя. Вот это пламя, зажженное нами, пылает и в наших детях. Мы жили в годы безвременья и утратили силы молодости, а дети наши живут лучше нас. И я волнуюсь, когда слышу их призывы: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!..»

Дементий Иванович ежился и не знал, куда деть руки, подавленный торопливыми, страстными словами Кошкина. Он изредка только крякал, вздыхал и бессознательно кивал головой, чувствуя острую правду в его речах.

— Была японская война, огромным шквалом забурлила возмущенная страна... Революция обрушилась на деспотизм и едва не сокрушила его... Как же можно не видеть и не слышать этого?.. А вот твой Дмитрий и даже вот мой Коля идут в жизнь, как бойцы, со знаменем свободы в руках. Они счастливее нас, и мы должны гордиться, что в них мы с тобой горим всем тем хорошим, что было в нашей душе. А это уже — бессмертие. Я не шучу, подумай!

Коля вспыхнул, вскочил со стула и, как Пушкин на картине Репина, вскинул руку:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна...

Он с радостным блеском в глазах закончил:

— Спасибо вам, родители, что вы дали нам жизнь, и мы превратим ее в борьбу...

Он задорно хлопнул книгой, тряхнул головой и быстро скрылся за боковой дверью.

— Какой он у тебя... дерзкий!.. — улыбнулся Дементий Иванович.

— То-то, брат... — вскинув на него посвежевшие глаза, засмеялся Кошкин. — Они, друг, все дерзкие. Сила большая: с рабочим классом... Наступательно хотят жить.

— Неужели и Дмитрий такой же пистолет?

— А ты еще не знаешь до сих пор?

— При мне он никогда так... не гремел...

— Нет, брат, как хочешь... они — сила... Это не бунтари... нет, не заговорщики, а новобранцы грозной армии.

Он помолчал немного, задумавшись над чем-то; потом раздумчиво произнес:

— Я часто гляжу назад — на свой пройденный путь. Как сиротливы мы были среди людей! Как одиноки и несчастны среди промозглой тьмы и безмолвия!.. Жар юношеской души заглушила в нас полицейщина, церковь, бессилие, угнетение. И там, где мы выдавали себя за сеятелей, не поставят нам монумента. Бесславно прожили мы жизнь — без взлетов и падений. Сатрапы помыкали нами, а мы безмолвно склоняли головы. Безвременье нашего поколения — одиночество.

— Ну, что же это ты бесславишь-то нас, Иннокентий! За двадцать-то лет сколько мы людей грамотными сделали! И это — заслуга.

— Но разве этим жив человек, Дементий? А подвиг, а творчество? И вот, думая о себе, думай о сыне, проверь себя на нем и не мерь его на свой аршин. В нем и твое оправдание.

Он выпрямился, улыбнулся и похлопал Дементия Ивановича по плечу.

Мороз обжигал лицо Дементия Ивановича и пудрил инеем усы и мохнатый воротник шубы. Солнце, сонное и холодно-далекое, висело низко над туман-

ными сопками. На плюшевой белизне снега мерцали искры. Там, внизу, переплетаясь друг с другом, убегали в обе стороны черные линии рельс и обрезались длинными рядами вагонов. Заботливо повизгивали паровозы, сипели рожки, грохотали поезда, и по путям шагали в коротких шубенках и в широких шапках-ушанках рабочие.

Через реку, между вокзалом и городом, длинной чередой шли навстречу друг другу люди, а их обгоняли санки городских извозчиков.

Дементий Иванович посмотрел через заснеженные крыши городских домов на мутно-желтое пятно тюрьмы. Тоскливо заныло сердце, и глаза заволокло горячей пленкой.

«Пропал... Арестант... Что у него впереди?..»

На набережной он нанял извозчика и поехал к директору народных училищ.

По тротуарам, прижимаясь к каменным домам, сновали люди, шныряли юркие мальчишки с толстыми пачками газет под мышками и пронзительно визжали.

Санки остановились у большого деревянного дома, над окнами которого узкая вывеска сообщала: «Канцелярия директора народных училищ». Дементий Иванович расплатился с извозчиком, поднялся на крыльцо и нажал кнопку электрического звонка. Дверь тяжело и бесшумно отворилась, и молоденькая румяная горничная, со взбитыми волосами и в белом переднике, оглядела учителя с головы до ног и сквозь зубы холодно спросила:

— Вам что?

— Я к господину директору.

— Входите!

Дементий Иванович вошел в узкий коридор и, сняв шубу, робко пошагал по чистой дорожке половика.

— Оботрите ваши валенки... — неприветливо бросила ему вслед горничная.

«Ишь ты какая фря!.. — усмехнулся он обидчиво.— Давно ли в пальцы сморкалась? А теперь уж, верно, своего брата, мужика, ни во что не ставишь».

Он вошел в тесную прихожую, и на него сразу

пахнуло уютным теплом и еще чем-то душистым и вкусным.

— Пройдите сюда! — горничная на ходу показала рукою и скрылась в боковой двери.

Дементий Иванович разделся и вошел в пустую светлую канцелярию. Потирая руки, он стал около стола и несмело огляделся.

Директор, полный, седой старик со стриженой бородой и прокопченными табаком усами, в серой тужурке с генеральскими петлицами, прищурил тусклые заплывшие глаза и небрежно сунул руку Дементию Ивановичу.

— Садитесь! Ну-с?

— С великой просьбой до вас, ваше превосходительство... — садясь на кончик стула, заикаясь, проговорил Дементий Иванович. — Пришлось поневоле оставить школу... Дмитрий у меня, сын... не думал дожить до такого удара...

— Да. Я уведомлен. Сочувствую вам...

Лицо его вдруг перекосилось от негодующей усмешки и стало обрюзгшим и дряблым.

— Отец — на лучшем счету в губернии: старый, заслуженный учитель... а сын — кандальник, проказа. И это — человек, который через год должен идти на тяжелый подвиг учительства! Я понимаю вас. Раньше учитель шел в народ, полный молчаливого терпения. Он горел, как свеча, без треска и пыла, и догорал, как и жил. Это был не только школьный учитель, но и учитель жизни. Потому что примером своего поведения он воспитывал и укреплял во вверенных ему детях и окружающей среде силу выносливости и скромности в желаниях.

— Это так, ваше превосходительство... — сокрушенно согласился Дементий Иванович, но подумал неприязненно: «Да тебе хорошо рассуждать: барин, аристократ. Ты на меня смотришь, как на холопа».

— Компрачикосы духа! — величаво ворчал директор. — Подкидыши какие-то... Ту святыню, которой поклоняется народ и которая укрепляла его в годы испытаний и спасала от гибели, они пачкают грязью. Я разумею религию терпения и смирения как психо-

логическую особенность русского человека. В годы тяжелой неудачной войны с Японией, в годы испытаний, вместо того чтобы окружить венценосца верноподданнической верностью, толпы рабочих и таких вот молокососов, как ваш сын, подняли бунт. Забастовки, баррикады, столкновения с полицией, чтобы потрясти вековые устои... Сколько крови в этих безумствах пролито!.. Заразили буйством молодежь. Ваш сын недостоин вас.

Дементий Иванович заволновался и засопел. Он открыл рот, хотел что-то сказать, но директор мягко поднял руку и перебил его:

— Нет, нет... в известных случаях мы обязаны жертвовать детьми во благо родины, во имя любви к ней. Вы — старый учитель, должны понять это.

— Ваше превосходительство! Умоляю вас...

Дементий Иванович дрогнул, поднялся со стула и вытянул сухую, вялую шею.

— К вам осмелился... больше ни к кому...

— В чем дело?

— Увидеть бы его... Поговорить бы с ним... Я бы убедил его...

— Что же я могу?.. Я ни при чем...

— Вы — близки...

— Вы садитесь... не волнуйтесь...

Что-то вроде участия засветилось в лице директора. Он вздохнул и почему-то улыбнулся.

— О дети, дети! Как опасны ваши лета!..

Дементий Иванович молча опустился на стул и затеребил дрожащими пальцами свои клочковатые усы.

— Я, пожалуй, попробую написать полковнику... он — мой родственник... Может быть, разрешит... Что в моих силах...

Директор порылся в ящике стола, вынул оттуда визитную карточку, взялся за перо. Дементий Иванович искоса посмотрел на его коричневую блестящую лысину и враждебно подумал:

«А где ты трусливо прятался вместе с губернатором, когда революция в городе гуляла?

У тебя поджилки тряслись. Ты и носа не показывал... Говорят, что тебя и найти нигде не могли...»

— Итак... идите в жандармское...

Дементий Иванович хотел что-то еще сказать, но директор сунул ему в руку конверт и, кивнув головой, вышел из канцелярии.

Дементий Иванович выбежал на улицу, ничего не видя впереди себя и постоянно натыкаясь на людей.

По дороге лениво плелся свободный извозчик и выжидательно смотрел по сторонам. Дементий Иванович с налету вскочил в санки и, задыхаясь, крикнул:

— Дуй, паря!.. Гони вовсю! В жандармское...

Извозчик подозрительно взглянул на него и, не говоря ни слова, захлестал по лошади.

И опять замелькали и высокие дома, и деревянные избы, и толпы людей на тротуарах, и зеленые репы церковных глав.

Жандармское управление помещалось в сером каменном доме, широком, низком, как будто зарывшемся в землю.

Дементий Иванович прошел мимо бородатого жандарма и пробрался в мрачную приемную.

У стены, недалеко от окна, на длинной лавке сидели две женщины в черном, закутанные в шали. К Дементию Ивановичу подошел толстый, усатый жандарм.

— Что вам угодно? — хрипло спросил он, колко щупая его взглядом.

— Я... к господину полковнику... с письмом от директора...

— Давайте...

— Я — сам... доложите...

Жандарм настойчиво ткнул руку к учителю.

— Ну же!..

Дементий Иванович оробел и полез в карман.

Гремя шпорами, жандарм скрылся за дверью. Учителю стало жутко и боязно этой коварной тишины, этого злого жандарма и того загадочного шелеста, который плыл из другого отделения.

Жандарм опять подошел к нему с прежней бесстрастностью и скомандовал:

— Разденьтесь!..

— Не беспокойтесь, я и так...

Усач настойчиво хрипнул:

— Разденьтесь!

Дементий Иванович послушно и торопливо скинул шубу и повесил на вешалку.

Жандарм пропустил его в дверь и пошел сзади.

В канцелярии, загроможденной столами и ворохами бумаг, скрипели перья, позвенькивали шпоры, подозрительно шарил всюду хитрый шепот.

— Сюда... направо!.. — скомандовал жандарм и, обогнав Дементия Ивановича, остановился около двери и толкнул ее рукою.

Тюрьма тесно прижималась к лысой пологой сопке. Точно исполинское чудище, она цепко впивалась в землю своими невидимыми когтями, и пестрые крыши бараков за высокой желтой стеной были подобны неподвижной чешуе, защищавшей ее от опасности. Черные впадины окон высокого двухэтажного фасада смотрели на густую толпу, а бездонная пустота сводчатых ворот посредине, как широко открытая пасть, жадно выжидала добычу. Около ворот лениво шагал солдат с ружьем, закутанный в грязный овчинный тулуп.

За стеной, на сопке, щетинились серые кресты кладбища, и от этого соседства тюрьма казалась еще более жуткой.

Дементий Иванович с женой сошли с санок и врезались в толпу.

Поодаль, между толпой и народом, стоял застывший бородатый надзиратель в черном полушубке, с шашкой через плечо и револьвером на поясе. Скучно, без всякого выражения, он смотрел из-под густых бровей, белых от инея, куда-то в сторону от людей.

Дементий Иванович несмело подошел к нему и дотронулся до своей шапки.

— Мне бы свиданье, господин надзиратель...

Бородач неохотно повернулся к нему одной головой и глухо буркнул:

— Нельзя подходить! Осади! По очереди!

— Мне — личное...
— А гумага?
— Есть.
Надзиратель молча протянул руку. Дементий Иванович подал ему пропуск и добавил:
— Сын у меня тут... семинарист...
— Это нас не касается... Осади назад!..
Надзиратель, широко расставляя ноги и низко наклоняя голову, полез в черную пасть ворот.
Около Дементия Ивановича гудели скорбные и злобные голоса:
— В Якутку отправили... третьего дня...
— Что вы?!
— Честное слово!.. Вот и возьмите...
— Нет человека... есть только нелепая, ужасная жертва...
— Проклятая!.. — бормотала Варвара Никоновна, смотря сквозь слезы в черные глаза тюрьмы. — Схапала!.. И тут — палачи... Не люди, а дьяволы. Не дождетесь, нет, Митя не дастся вам...
Дементий Иванович досадливо мотнул головой и нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
— Замолчи, Варя! Услышат — язык вырвут... да еще и самое схапают...
— Не бойся!.. Ежели Митя не боится, а мне-то нечего страшиться. Душа-то Мити — во мне.
— Ну и нечего болтать зря. Перед кем исповедуешься?
— Перед тобой... чтоб и у тебя душа возмутилась. Свою молодость вспомни. То, что ты растерял, Митя нашел и поднял.
— То-то всегда ты его заслоняла от меня... — угрюмо усмехнулся Дементий Иванович.
— Нет, отец! Не забывай горьких слов Кошкина. Это твоя совесть говорит.
— Эй! Барин в пимах, на личное свиданье!
В воротах стоял бородатый надзиратель и махал рукою Дементию Ивановичу. Под руку с Варварой Никоновной он прошел к воротам.
Надзиратель провел их через какие-то тесные темные чуланы и втолкнул в грязный, засаленный кори-

дор для свидания, разделенный пополам двойной решеткой, из-за которой длинной полосой смотрели землисто-бледные лица заключенных. Трепетная колыхающаяся стена людей жадно прилипала к этим лицам и, как бы стараясь прорвать тонкую проволочную ткань, впивалась в нее пальцами и судорожно сотрясала ее. И все утопало в безумном вихре криков, плача, смеха и звоне кандалов.

В канцелярии двое щеголеватых помощников, в пенсне, с острыми стрижеными бородками, сидели на кушетке, около окна, и разговаривали спокойно и скучно:

— Во всем привычка, моя радость... Для меня сейчас хоть сто человек зараз повесь, и ухом не поведу...

— Ну, мало этого... Надо быть еще и здоровым человеком. Мне сначала нехорошо было при последнем усмирении. Взял себя в руки — и ничего... В сущности все это было потехой. Для слабого, для первака, стрельба в камеры показалась бы землетрясением.

— Да, брат... «есть наслаждение в бою...»

— На личное свидание, вашбродь... — крикливо доложил надзиратель, приложив руку к шапке.

Помощники бегло и равнодушно скользнули взглядом по вошедшим и неохотно встали. Один из них скрылся за узкой боковой дверью, а другой пересел к столу, около перегородки.

— Иди... прикажи привести!.. — скомандовал он надзирателю и низко наклонился над бумагами.

Из коридора клубами рвался в канцелярию смутный гул голосов и лязг цепей.

— Пройдите сюда! — не поднимая головы, предложил им помощник. — Сядьте там, на кушетку.

Дементий Иванович с Варварой Никоновной стали около кушетки и, бледные, растерянно смотрели на дверь.

Дмитрий вбежал в канцелярию радостно, весело, стремительно. На нем был старенький пиджак. Рослый, худой, белобрысый, с пушком на верхней губе и уверенно вздернутым носом, он широкими шагами подошел к родным и кинулся им на шею.

Варвара Никоновна прильнула к нему и застыла, часто вздрагивая от рыданий.

— Митя! дорогой мой!..

У Дементия Ивановича дрожали губы.

— Ну, давайте сядем... Успокойтесь!..

Дмитрий усадил их на кушетку и сел посредине.

— Не нужно слез, мама... Право же, ничего нет страшного... Нас много тут. Вместе гуляем, читаем... даже интереснее, чем в семинарии.

— Куда уж там... — пробормотал Дементий Иванович. — Веселого мало. Говорил я тебе... предупреждал...

— Как бы я хотел, чтобы ты понял меня, папа! — сказал Дмитрий, дотрагиваясь до его плеча.— Знай, что для меня нет иной жизни. Это жизнь всякого здорового человека, а ты... нездоров... в этом — весь ужас...

— Вот Кошкин то же говорит...

— Да, он любит жаловаться на свою неудачную жизнь.

Варвара Никоновна с немым отчаянием прижималась к сыну и ласкала его взглядом.

— Ну, рассказывайте, что нового в деревне, как школа?

— Да что! — вздохнул Дементий Иванович. — Мужики разоряются... Шкуру дерет с них наш кулак.

— Еще бы!..

— А вчера, Митя, Листратову мальчику ногу оторвало на Тимофеевой молотилке... — стараясь казаться бодрой, сообщила мать. — Так Листрат чуть не убил Тимофея-то... Засудят теперь Листрата...

— Что же теперь ты будешь делать-то? — опять тяжело вздохнул Дементий Иванович. — И что прикажешь делать нам?

— А станем делать, папа, то, что надо.

И как бы чувствуя, что эта общая фраза не даст отцу никакого ответа, он вдруг горячо заговорил:

— Поймите меня и не обвиняйте. Ведь ваша жизнь была моей жизнью. Смотрите, какими стали вы, искалеченные душой и телом. Эта жизнь убила в тебе человеческую гордость, папа. В эти двадцать лет учительства ты был не учитель, а раб. Ты же не смел быть хозяином

своей жизни. Ты сначала рвался, но потом замолчал, потому что над тобой постоянно висел кнут. Одичалый же мужик, несмотря на общность вашей участи, ненавидит тебя, потому что видит в тебе хозяйского подхалима.

— Говорите о личных делах... — хмуро покосился на них помощник. — Посторонних вещей прошу не касаться...

— Я знаю, что мне можно говорить, а что нет... — спокойно ответил ему Дмитрий. — Мы говорим о вещах, всецело относящихся к личной жизни...

Варвара Никоновна пугливо заморщилась, а Дементий Иванович что-то невнятно зашептал и толкнул в бок Дмитрия.

— Мало этого... — начал опять Дмитрий. — Ты, папа, был не только рабом, но и сам воспитывал рабов. Я еще в детстве чувствовал это, и злобствовал, и плакал, страдая за тебя. И тогда же зародилась во мне жажда борьбы...

— Повторяю требование не касаться постороннего! — поднимая голову, резко оборвал их помощник.

— Я знаю, что вы, славные мои, поймете меня...

— Скажи, Митя, — дрожащим голосом спросила мать, — что грозит тебе?.. чтобы казни не предали...

— Ну что ты, мама! — засмеялся Дмитрий. — Ничего не будет. Подержат и освободят.

Сложив руки вместе и зажав их коленями, Дементий Иванович, не мигая, смотрел в пол и думал о чем-то больно и тоскливо.

— Ну, Дмитрий... — тяжело подняв голову и не глядя на сына, сказал он. — Поступай в жизни так, как тебе говорит совесть! Только не обвиняй нас ни в чем.

Дмитрий радостно засмеялся и быстро схватил руку отца.

— Я был уверен, папа, что ты это скажешь... уверен!

Варвара Никоновна почему-то заплакала. И они опять замолчали, тесно прижимаясь друг к другу, не стесняясь молчанием и чувствуя святость этой минуты.

В коридоре по-прежнему ревели голоса множества людей и мешали говорить тихо и задушевно.

Помощник объявил о прекращении свидания и позвонил в колокольчик. В канцелярию вошел надзиратель.

Они встали и сразу заговорили, перебивая друг друга.

— Пиши, Митя... чаще... чтобы я видела тебя перед собой...

Дементий Иванович рванулся к Дмитрию и обнял его.

— Не суди меня строго, сынок, — с судорогами в горле сказал он. — Я все понимаю и плачу о своей раздавленной молодости. Знай, что я горжусь тобой... От этого удара, с этого дня я стал другим человеком.

Дмитрий крепко обнял его и радостно воскликнул:

— Спасибо тебе, папа. Теперь я совсем счастлив.

По-особому нежно он обнял и поцеловал мать и засмеялся, как бывало подростком.

— А маме я ничего не скажу: она и без слов знает, что у меня на душе.

Надзиратель осмотрел вещи и передал их Дмитрию.

— Ну-с, пожалуйте, господин!..

— Не унывайте! — прощаясь, говорил Дмитрий с веселым блеском в глазах.

Солнце так же плыло низко над далекими зубцами дымчатых гор, но сияло уже приветливо и ласково.

Окутанные шумом города и потерянные в суетливых и чуждых толпах народа, они долго шли молча, одинокие и печальные.

«Истинно, истинно... — щуря глаза от искрящегося сияния, думал Дементий Иванович. — Дмитрий... Колокол души моей. Не ты, а я отрекся от тебя, как Петр от Христа. Но ты разбудил меня и поставил на ноги. И Варю, мать, я тоже как будто впервые вижу... Удар... да, потрясающий удар... но сбил он цепи и душу мою воскресил...»

И жизнь его представлялась ему в виде черной непроходимой тайги, — такой, как вон та, которая хмурится на туманных диких сопках. Лучи светлой радо-

сти не проникали в ее недра, и там была только одна сырая мгла, колючие спутанные кустарники и злые звери и гады. Какая-то гнетущая сила ввергла его в эту темную глушь, и, блуждая, он потерял дорогу, молодость, последние силы, веру в себя...

С первых же дней работы он увидел, что он — пленник, батрак и осужден на вечное бесправие. Всюду были насилие, обида, унижения — и только... Отовсюду его гнали, отравляли его душу, убивали ее, и не было у него оружия для защиты. Опускались руки, ныло сердце, копилась бессильная злоба... И вот он нашел девушку веселую и умную. Она первая была ему поддержкой. Но потом она измучилась. Голод, болезни, дети, рабья жизнь... Не выдержали они и пали, обессиленные, униженные, забитые. И смирились. Потом он решил, что эта его жизнь иною и не могла быть. Но у них была надежда. Это — Дмитрий. Раб сам, он смотрел на него тоже как на раба. Мало этого, он сам старался наложить руку на его свободу, на его душу... Истинно, истинно!.. А теперь животворный удар сбил с него цепи... Истинно, истинно!..

— Ничего, мать, ничего!.. — сказал он вдруг ласково и бодро. — Дмитрий-то, оказывается, знает верную дорогу. Да, проглядел я его... Зато нашел настоящего человека — борца за великое будущее, за новую жизнь. И выходит, что мало знакомый нам народ — это наши дети.

Варвара Никоновна с удивлением взглянула на него заплаканными глазами и восторженно проговорила:

— Вот то-то же! Может, он тебе незнакомый, а у меня, у матери, он рос и мужал в самом сердце. Новая-то жизнь вместе с Митей идет. Разве это не наше счастье?..

1908

ИЗГОИ

(Отрывки из записей)

Пленники

Моя изба — моя тюрьма. Моими образами я не могу заполнить пустоты этой лачуги, воняющей баней. На этих закопченных деревянных стенах отражается мое одиночество.

Вьюжится серая изморось. Избы промокли и съежились, как дворняги, и черными окнами глядят на улицу и в утуги [1]. Светлыми полыньями стеклятся лужи по дороге, и в них клочками отражаются избы. Снежными сугробами громоздятся туманы на сопках, ползут по склонам через пашни и зеленые полосы яровых и уплывают в серое небо.

Куда-то исчезли птицы.

Я брожу, как всегда, по селу, мешаю грязь. Идут мужики и бабы. По-воробьиному кричат ребятишки и будоражат лужи голенастыми ножонками.

Черная женщина движется мне навстречу. Она ходит каждый день по моей улице, — ходит, никогда не поднимая головы, покрытой черной шалью. Она ходит на кладбище к своему мальчику, в смерть которого не верит до сих пор. У нее повесили мужа и ее, больную, с ребенком, сослали в эти дебри. Мальчик

[1] **Утуг** — в Сибири задний двор, покрытый травой.

умер вскоре после прибытия на место. Теперь она живет прошлым и призраками настоящего. Это — Нина Петровна, которую мы видим каждый день и которую приветствуем молчаливыми поклонами. У нее — свой мир, своя жизнь. Я ей — чужой, и она мне — чужая.

Она поравнялась со мною и взглянула на меня мерцающими глазами. Может быть, я и глаз-то ее не видел: может быть, это лучились только ее длинные ресницы, сквозь которые я увидел какой-то, непостижимый для меня, трепетный свет.

Я снял шляпу и поклонился.

Она подняла голову и сразу же опять опустила ее.

Издали нетерпеливо махала руками и кричала мне Зоя:

— Всю деревню избегала, ух! Проклятая грязь! Вы-то мне и нужны!

Большеглазая, стриженая, в маленькой кепке, она похожа на девочку, которой не сидится на месте. Каждый день она непременно на минутку забежит ко мне. Пошумит, потормошит меня, посмеется и — скроется.

— Боже мой, ведь целое событие! Партия новая идет. Сейчас я была на выгоне. Они спускаются с сопки... Вероятно, уже подходят... Ах, двигайтесь же скорее, рохля! Забегала к эсеровцам... к Лукину. Смотрю в окно — толкутся три-четыре фигуры, а он им об эксцитативном терроре читает... и этак — в позе... — и лицо — великого учителя... О, эта секта! Плюнула — черт с ними!

Мы побежали на выгон.

Зоя все время обгоняла меня, оглядывалась и вскрикивала:

— О несчастный! Зачем так убийственно медленно ходят люди?

Впереди нас, сгорбившись, плелся Батин во всем арестантском. Он часто останавливался и отдыхал. У него чахотка, и он, вероятно, скоро умрет. Но он упорно ходит, льнет ко всем и неудержимо улыбается, точно хочет сказать этой улыбкой, что он переживает какую-то большую радость.

Батин оглянулся и остановился. Вздрагивающая улыбка ласково светилась в его лихорадочных глазах.

— Неужели и вы — к партии, Батин? — спросила Зоя, обгоняя меня. — Вы-то как узнали?

— Разве усидишь? Лошадей под партию наряжали... Ну, и сорвался с места...

Мы подхватили его под руки, и он засмеялся. Смеялись и мы. И сквозь смех он восторженно бормотал:

— Вот говорят, что гибнет все. А ведь это — чистая ерунда. Нет изгнания... совсем нет... Вот иду с вами... Сейчас опять будем с товарищами. И березки вот эти... у избы в палисаднике. Туманы на горах... И вот мужик, который едет с бочкой за водой на реку. Стоит только это видеть и чувствовать — и нет изгнания... нет смерти.

— Батин! — весело крикнула Зоя. — Вы не умрете... И не думайте об этом!

— Дорогая моя, у жизни нет смерти.

Он утомился и ослабел, но упрямо стремился вперед.

— Ах, товарищи! Как идти хочется... далеко... неустанно... Я бы им сказал многое. Я бы им сказал о величии мук... сказал бы, что в страданиях — тайна весенних всходов. Как это? Смертию смерть поправ...

Выгонная площадь переходила в размашистую волнистую долину, которая отодвигала гряду сопок к востоку и западу и улетала к югу верст на пятнадцать, упираясь там в дымчатые хребты. По сторонам ее бурыми ворохами карабкались на склоны сопок русские деревушки и бурятские улусы, а по самой степи ползали стада овец и коров. Вправо, вдоль сопок, змеясь по краю степи, тянулась столбовая дорога — часть грозного бесконечного Якутского тракта.

Около пересыльного сарая беспорядочной кучей стояли деревенские телеги. Неподалеку, вдоль прясла, бродили Мамонт, Страхов и Еремин. Страхов был без шапки, в рваной рубахе, в опорках на босую ногу. Еремин паясничал около него, Мамонт поодаль от них терся около прясла и угрюмо смотрел на сопки и на пустынную туманную долину.

По тракту медленно и угрюмо тянулась к нам огромная серая толпа. Она была недалеко — глухо шумела и казалась бесконечной. Дорога была слишком узка для нее: она разлилась далеко по обе стороны тракта и плыла по зеленому полю, как разбитое и плененное войско. В центре одна за другой длинной лентой тащились маленькие мужичьи лошади, влача за собой скрипучие телеги, плотно набитые тюками, корзинами, сундуками и арестантами.

— Вы — скопцы! — трубил Страхов, рассекая кулаком воздух. — Где ваш дух и сила... дерзость ваша где?

Еремин ломался перед ним и строил рожи.

— Почтеннейшая публика! поспешите видеть необыкновенное явление: пролетарий размахивает руками в тихом болоте.

Страхов подошел ко мне, как человек, который устал от тоски. Он был пьян.

— Нутро болит, товарищ. Задыхаюсь. Зачем мне здесь эти руки? Для железа эти руки... для огня... А здесь я, как в западне.

— Стыдитесь, голубчик Страхов! Вы должны взять себя в руки. Вы же борец, сильный человек. Вы обязаны показывать пример. Нам нельзя теряться ни при каких обстоятельствах. Где бы мы ни были, куда бы нас ни загоняли, мы всегда — в борьбе. Вы забыли об этом?

Он пристально посмотрел на меня и гордо выпрямился.

— Верю, товарищ Угрюмов! Рабочий человек не может погибнуть... Казни — от боязни, а нет боязни — нет и казни. Но горит сердце от тоски, руки томятся без труда, и голова кружится от безделья.

Батин внушал что-то Зое, восторженно улыбаясь. А она не слушала его и смеялась чему-то своему.

Ко мне подошел Мамонт и с ненавистью в тоскливых глазах спросил, указывая головою на Батина:

— Чему он ухмыляется? Ему уж проклясть все надо, а он ухмыляется.

— Что с тобой, Мамонт?

— О, уснуть бы, чтобы не видеть, не чувствовать себя, или запить... до чертиков!

— Измотался ты, друг. Болтаешься, как в угаре. Стыдно, дорогой!

— Кой черт! Просто оголилось все... Скучно и нудно жить... Точно все прожитое мною — нелепая игра. Зачем рвал себя, зачем не спал ночей? И вот теперь — точно остался в дураках. Неужели вы с этой девчонкой не чувствуете этого?

— Вот что я тебе скажу, Мамонт. Если человек хочет погибнуть — он погибнет. У тебя — навязчивая идея. Такие люди, как ты, вредны в нашей среде. Ты не выдержал испытаний. Какой же ты революционер? Революционер проверяется не только на баррикадах, но и в тюрьме, в цепях и в изгнании. Быть стойким, крепким, убежденным бойцом при всяких ударах — вот в чем свойство революционера. Знаешь, такие люди, как ты, — предатели, изменники революции.

— Я тебя ненавижу, — сквозь зубы прошипел он. — Я вас всех ненавижу и презираю.

Гремя колокольчиками, подъехал наш пьяный, обрюзглый пристав Семейкин. Путаясь в чем-то ногами, он вылез из тарантаса и махнул рукою. Телеги, прыгая, перегоняя одна другую, зашлепали колесами по грязи и широким полукругом растянулись справа, со стороны деревни.

И сразу хлынула на нас и рассыпалась по площади густая толпа, которую окружили конвойные с винтовками в руках. Всюду — холщовые арестантские куртки и штаны, серые блины на головах, коты, холщовые чулки или босые ноги. Седые старики, смеющиеся, как юноши, безбородые мальчики с серьезными глазами, как у стариков, — все тормошились, толкались плечами, кричали, махали руками, напирали на конвойных, звали торговок, которые принесли яйца, пироги, молоко, кур и шанежки.

Я незаметно пробрался сквозь линию конвоя и утонул в толпе.

Ко мне подошел мужик с лохматой кудельной бородой.

— Ищешь, что ли, кого, товарищ?

— Нашел... всех вас...

— До места бы скорее, с семейством... Абы земля — везде гоже...

— Вы — как наш Ермолаев... аграрник. Он, как зерно, — и здесь растет.

— Абы земля... оклематься бы. Земелька — родная постелька.

Смеющийся смуглый мальчик с чайником в руках пробежал мимо, крикнул мне:

— За водой бегу... тороплюсь!

Потом быстро остановился и схватил мою руку.

— Давно здесь? Два года? Как можно! Это — позор! Почему не бежали? А я — обязательно... бродягой... по тайге.

Он взмахнул руками и с криком побежал дальше.

Потом меня окружили несколько человек.

Я стал расспрашивать о России...

На телегах, между чемоданами, постельками, ящиками и мешками, кое-как втиснуты были больные. Они безучастно и молчаливо смотрели не то в небо, не то куда-то мимо всех. Один из них, весь обросший черной бородой, тюремно-бледный, надрывался от кашля и жалобно бормотал. Другой, безусый юноша, с непокрытой головой, весь промокший от дождя, с мокрыми, плотно прибитыми к голове волосами, бредил, вздрагивал, корчился и хватал воздух скрюченными пальцами.

Стыдливо куталась в арестантский халат больная девушка. Она улыбалась и кого-то искала в толпе. Потом поманила меня бледной худой рукой.

— Дайте мне пожать вам руку, товарищ. Мне очень радостно встретиться с вами. Я не знаю, кто вы... но вы — родной мне, как брат.

— Вам нельзя дальше ехать — вы очень слабы. Нужно похлопотать, чтобы вас оставили здесь. Да и других больных.

— О нет! Разве я могу оторваться от моей партии? Ведь это — моя семья.

Она еще раз пристально посмотрела на меня и закрыла лицо халатом.

Около барака, у ног конвоя, шла бойкая торговля.

Бабы наперебой кричали в общей свалке и ссорились, как куры.

Перегружались на другие телеги. Переносили и переводили больных.

Стоя полукругом около конвоя, плечом к плечу, арестанты из партии и товарищи из нашей колонии надрывались от крика, и этот оглушительный крик был таким же, как на свидании в тюрьме.

Пробежала Зоя и крикнула мне:

— Какая радость, Никифор! Ведь товарищи!..

Где-то далеко в стороне продолжал громить кого-то Страхов.

В нашем селе не полагалось большого отдыха: была только смена подвод.

Когда партия тронулась, Зоя рванулась вслед за нею и выкрикивала:

— Товарищи! Привет вам, дорогие... Товарищи!

И шла за нею стороною и махала рукою.

Батин радостно светился и говорил:

— Какая огромная сила! И эту силу жизни пытаются погасить. Идиоты! Это же — бессмертие. Потому что каждый человек несет в себе новую энергию, новую, неповторимую жизнь, которая копится и не пропадает даром.

Уставший и скучающий Мамонт сидел на бревне около прясла и с тупой тоской смотрел в другую сторону.

Навстречу нам попался Диков. Он медленно снял арестантский блин и сказал:

— Мир вам! Радуйтесь! То, что вы ждете, — приближается. Готовьтесь встретить солнце...

И пошел дальше, и полы его халата развевались на ходу, как крылья.

Одержимый

Дикова опять доставили по этапу. Он был арестован верст за двадцать отсюда. Вот уж восьмой раз он уходит на проповедь, но его хватают и водворяют на место.

В последний раз он встретил меня в лесу и засиял радостью. Путаясь в длинном халате, подошел ко мне и положил руку на плечо. Его аскетическое лицо было в экстазе, и он сказал, волнуясь:

— Слушай и помни! Я спасу человечество. Это будет там... в той стране, где проклятые стали святыми... и отверженные — великими владыками. Это — там, где слепые постигли тайну прозрения. Бесконечность — в клеточке мозга... растворение души — в человечестве. Ты понимаешь?

Он приник к моему уху и прерывающимся шепотом сообщил:

— Теперь — путь. Единственно это — живая жертва. Ты — жертвенник и огонь. Потому что всё — в тебе, ты — во всем. Это — ясно. Через страданье — в необъятность. В этом — вся тайна. Значит?..

Он многозначительно поднял палец и громко сказал:

— Через страданье — путь к счастью. Значит?.. Спасение — всеобщее, потому что страдание — всечеловечно.

Потом я встретил его на улице. Около него толпились и жадно слушали бабы, дети и несколько мужиков. Рядом с ним стояла Зоя, а он смотрел на всех своими безумными глазами и громко говорил, призывно поднимая руку. Голова была обнажена, и страдальческая улыбка светилась на бледной худобе лица.

— Вы о спасении молитесь и жаждете жертвы... и чуда ожидаете каждый день. Глупые, вы собственное рабство принимаете за свободу. Вы измучились, но вы отдохнете. Слепые вы, но вы прозреете. Тьма у вас в душе, но душу вашу воспламенит огонь. Потому что пришел я. Готовьтесь к великому исходу. Уже зажигаются светильники, и масла в них припасено на долгий путь. И путь этот — широк и прям. Пламень страдания озарит пустыню, и райские двери откроются в царство безграничных чудес. И в жертве жизни вы будете властителями земли. Готовьтесь к исходу и ждите великого сигнала.

Бабы и дети слушали непонятные речи, полные тайных призывов, и с беспокойным удивлением смотрели на Дикова. Было странно и необычно: перед ними с обнаженной головой стоял образованный поселенец и говорил что-то неслыханное, непостижимое, но приветное и влекущее. Кое-кто подходил к кучке внимающих и с любопытством слушал колдующие слова. Напрягая ум, старались понять, но скоро уставали и с суровым выражением изумления говорили о нем:

— Он чо, паря, собират? Каку кумуху колдует?

— Шаманит, паря... а чо — не понять. А вы слухайте, девахи, назола-то какая!..

— Веру нову дает. С новой верой идет.

— Знамо, страдны все... Знамо, не жизнь... Хороший человек... понимат...

— Куму Оллю ладил: собирал, собирал... барахолил, барахолил...

— Вожжами бы вас, дикошарых. Идите по домам, мухоловы! Видите, человек — не в уме.

Зоя стояла с Диковым, пристально следила за ним и внимательно слушала.

Я взял ее за локоть.

— Вы здесь в качестве ученицы или сострадаете больному?

Она вздрогнула и торопливо перебила:

— Смотрите... Ничего подобного не видела. За ним идут люди... Видите?

— По-моему, его просто увести надо и успокоить.

— Как? — запротестовала она. — Что вы за ерунду болтаете! Он — изумительный. Он горит, светится... Понимаете, ведь он сейчас — прекрасен.

Она отвернулась и продолжала внимательно прислушиваться к словам Дикова.

— Близко ваше спасенье, — провозглашал Диков распевным библейским голосом. — Уж его чуют все, кто уязвлен страданием. Чуют и ждут. И мы пойдем, чтобы обрести страну вечного счастья. Готовьтесь — недалек великий сигнал к исходу!

Двинулись дальше. Зоя даже не взглянула на меня. Толпа поползла вслед за ними, увлекая за собою лю-

бопытных. Очевидно, на многих подействовала таинственная речь Дикова, и они ждали чего-то необычайного от этого человека. Что-то влекло их, они уже не могли отстать, остановиться и спокойно пойти исполнять свою обычную скучную работу.

У лешего

Я нанялся поденщиком на покос.

Ехал я верхом на лошади, увязая в мешках с провизией и мешаясь с мужиками и деревенской молодежью, и чувствовал себя хорошо.

Впереди, на телеге, ехали девки и заигрывали с парнями, которые бросались к ним на лошадях и хватали их за платья.

Рядом со мной ехал здешний богатырь — Кешка, черный, как цыган. Он постоянно скалил зубы и смешил девок откровенной игрой любовных шуток.

Мужики всю дорогу говорили об изюбрях и медведях, об охоте, о своих приключениях в тайге.

На краю телеги, около заднего колеса, ближе ко мне, сидела Марея, молоденькая девушка в белом платочке и нарядном красном платье. Она часто украдкой посматривала на меня и лукаво улыбалась. У меня играло в груди, и я ловил ее дразнящий взгляд и кивал головой. Она краснела, но не опускала глаз.

Зеленые поля волновались и горели на солнце. Они разливались по обе стороны дороги, взлетали вверх, на сопки, врезались в черную раму леса, пересекались жемчужными полосами молодых овсов и золотом сурепицы.

— Девахи! — кричал Кешка, скаля белые зубы. — Возьмите меня к себе. Мужик-то я больно хороший... годявый да баской. Девахи... ой!

— Больно лягашьша, жеребец жаркой... Кешка!

— Паря баской! Кешка! Иди, я те под подол спрячу...

— Девахи, ой! Кто вас крепче меня, Кешки, обнимать будет? ой, девахи!..

Смеялись.

По обе стороны в кустах мызгали невидимые козы. Блуждала по лесу девичья песня. Часто кусты разрывались, и на полянке, перегоняя друг друга, махали косами мужики. Увидев нас, они останавливались, вытирали руками пот с лица и что-то кричали нам, показывали на девок и смеялись. Девахи хохотали им в ответ, кричали все вместе и грозили кулаками.

Мы устроили себе шалаш из молодых березок и покрыли его свеженакошенной травой. Травы набросали внутрь, и она опьяняла густым ароматом.

Рядом около меня бросилась на траву Марея. Как нарочно!

Я лег с ней плечо о плечо и посмотрел ей в глаза. Она свернулась калачиком и засмеялась.

— Ты не храпишь ночью-то?

— Храплю, Марея, как лошадь...

— Гляди тожно... всю ночь покою тебе не дам.

— А ты меня не боишься?

— Хы, вашего брата бояться...

— Я — леший. Я тебя уволоку в тайгу.

— Леший — нос не вешай.

Она смеялась и дразнила меня:

— Где уж тебе тожно... Ух, мухолов! Ты на Кешку погляди, вот это — леший.

Я обнял ее и прижал к себе. Она крикнула и начала бороться со мной. Задыхаясь и смеясь, мы шумно и долго катались по шалашу, и я чувствовал, что ей нравится эта возня и что она волнуется от моей близости.

С трех сторон, близко от нас, толпился лиственничный, сосновый и кедровый лес и манил в свои дебри.

С четвертой стороны расстилалась широкая, ровная падь. В разных местах на ней тонкими призрачными змеями ползли к небу перламутровые ленты дыма от костров.

Разложили костер и мы. Огонь с треском заплясал у наших ног красно-золотыми языками.

Двое парней сидели около шалаша и отбивали косы, и молотки звонко грызли мягкую тонкую сталь.

Девятеро, один за другим, мы косили полянку в лесу. Захватывало дух от широких взмахов. С непривычки я отставал от других. Надо мной смеялись, подзадоривали, и сзади, у самых ног, визжала коса, а озорной голос дерзко пугал меня:

— Подрежу! Скошу! Ноги!..

И я напрягал силы, задыхался и догонял других.

Скошенная трава рядами стелилась слева и шевелилась, как живая.

Садились отдыхать под кусты. Курили. Снимали рубашки от жары. Как слабо натянутые струны, жужжали пауты и, зверея от нашего пота, липли к нам и больно кусали. Раздавались шлепки по голому телу.

— Эх, работка! — кричал Кешка, валяясь по траве. — Самое любезное время — сенокос. И слобода и с девками отрадно поиграешь и нацелуешься. А труд — как музыка. Эх, братцы, плясать хочется... Кровь моя молодая кипит, а солнышко в сердце голубем воркует.

И от восторга Кешка вскакивал с земли и вприсядку бешено отбивал гропака. Парни теряли терпение и пускались в пляс вслед за ним.

— И-ох! Под кадушкой, под квашней! Под кадушкой, под квашней! и-ох!..

Мужики все время сбивались на россказни об охоте на изюбрей, медведей и коз, и я видел, как глаза их хищно горели и как дрожали руки и судорожно рвали траву.

Однажды один из парней испугал девок. Он вскочил на ноги, вытянулся, задрал голову кверху и оглушительно заревел. Лес дрогнул и застонал от этого могучего рева. У всех горели глаза.

— А ну еще... еще, паря Ромаха! Эх, черт, как важно!

Три девахи, бледные, растрепанные, прибежали к нам, в ужасе грохнулись на траву.

— Ой ты, мнеченьки! ой-ой-оченьки! Гуранище-то дикошарый... на нас тожно... ой!

Мы хохотали.

Парень скрылся в кустах и опять заревел, гулко, протяжно и жутко.

Девахи завизжали, вскочили и побежали от нас, грозя кулаком:

— Проклятущие! До смерти испугали... Погодите, мы вам отплатим.

Их провожали хохотом.

Когда пришли к шалашу на обед, я бросился на траву под кусты и замер от изнеможения. Тело дрожало от усталости, ныла спина, и опухшие горящие руки зарывались в зелень и искали влажной прохлады. А в душе была радость и солнце.

И было огромное наслаждение есть из общего котла мутную горячую похлебку с запахом дыма и глотать без сахара с черным хлебом черный кирпичный чай.

Недра

Недалеко от нас убирал свой маленький сенокос аграрник Ермолаев. Он как-то ухитрился засеять три десятины земли и купить казенно-оброчную сенокосную статью. Я его редко видел в последнее время: он хлопотливо ездил по полям, пропадал в лесу, где заготовлял бревна на избу. Он уже выписал жену и принял к себе Иванюка — матроса-потемкинца, с которым они не расставались с иркутского централа. Ермолаев горел, не знал отдыха, всегда куда-то торопился, и скоро про него пошла слава по селу как о самом беспокойном, хлопотливом мужике. Ему завидовали и смеялись над ним. Коренные крестьяне относились к нему свысока, как к чужаку, ссыльно-поселенцу, но он как будто не замечал их спеси и был со всеми обходителен, дружелюбен. Но особенно доброжелательно относился к беднякам, часто захаживал к ним и помогал в работе. Иванюк же был спокоен и суров. Уверенно шагал он широкими взмахами ног, уверенно и прямо смотрел вперед своими черными, острыми, как гвозди, глазами, уверенно двигал руками, и когда брался за что-нибудь, то держал крепко и упрямо.

Ермолаев пришел к нам вечером занять хлеба, ко-

торый у него вышел раньше времени. Наши уже ложились спать. Я сидел у костра и смотрел на искры, улетавшие к небу. Он подошел шумно и быстро.

— Ого-го! — крикнул он певуче и молодо, как парень. — Работнички! Истинно, что сама природа вас кормит... Лежебоки! Уж в берлогу забрались, как медведи. Хоть бы с девчатами поплясали.

— Ну, ну... не вякай! — глухо долетело из шалаша. — А то разом салазки загнем.

— А ну, выходи, трубокуры! Портками только умеете трясти, чалдоньё желторотое! Ну-ка, дайте трудящему человеку малый каравай на сон грядущий.

Он сел около меня на обрубок дерева и протянул руку.

— А вы что тут делаете?

— Кошу... в поте лица добываю хлеб.

— О? Это — хорошо. Неужто умеете? — радостно удивился он. — Поглядел я намедни на наших... Слоны слоняют, комедиянют, народ колдуют. Дармоеды окаянные! А тоже... учат, умничают...

— Ослабли немного, Ермолаев, и растерялись. Ушибло их немного после поражения революции.

— А ты не верь, милый: чепуха это. Веревочка им нужна — не могут жить без веревочки, не могут быть без хозяина. Кто сам себе хозяин — нет ослабы. Для трудового человека край от края — родная земля. Всё мое, всё для моей радости.

— Лютый ты до жизни, Ермолаев!

Он закрутил головой, точно его душил ворот рубахи, и громко крякнул. Потом шлепнул себя по коленке огромной лапой и крикнул, как хозяин на ленивого работника:

— В работу идоловых душ! Поглядел бы я тогда, как они мудрить бы стали.

Замолчали. Смотрели на вихри искр, рвущихся из пляшущих языков пламени.

На сенокосах чуть слышно тявкали собаки. В пади, в туманном сумраке, тревожно пищала козуля. Лес был огромен и дик: деревья неуловимо мешались с тьмою и сами переходили в ночь.

— Эх, браток! Привезли меня сюда, выпустили...

Шатался, шатался... Побрел в поле. Озимя — в прозелени. Кое-где рожь дожинают — запозднились. И как подкосило меня... Лежу и землю целую... и плачу от радости. Землица! Родненькая! Жизнь бы, кажись, отдал, чтобы разок за сохой пройти! Вижу, люди недалеко во ржи — на дожинках. Побежал к ним, а они молчат, хмурятся. Ну, я эдак ласковенько: дайте, говорю, братцы, суслончик один нажать! Господи, и насытился же! Суслонов десять нажарил. Ну и побратались.

Пришел Иванюк. Высокий, худой, с горбатым носом, с горячими глазами.

— Что, слега родимая? — произнес Ермолаев. — Как же расставаться-то будем, ежели, скажем, прощенье нам будет?

— А на кой черт мне прощенье?

— Да дьявол ты! — хитро подмигнул мне Ермолаев. — Да ведь... не отказался бы, чай?

— Прощать меня не за что. Не я, а царь и капиталисты — преступники. От врагов подачки не принимаю, а ненавижу и бью их. Освобожденье даст мне сам народ... сам народ — понимаешь?

— Жди...

— Зачем ждать? Копить силы надо. Люди труда — рабочие — оправятся, подумают об ошибках, учтут их в борьбе. Борьба-то ведь идет: она не прекращается. А я каждый день должен быть наготове.

Он стоял у костра, недалеко от нас, засунув руки в карманы, и сурово, пристально смотрел на искры огня.

— Ведь вот человек, дери его горой! — изумленно махнул в его сторону Ермолаев. — Присудили его, братец ты мой, на десять лет каторги. Кажись, чего уж... могила! Так нет... И горя мало! И случись, скажем, оказия эдакая. Гонят его. На пересылке... каторжане-то ведь народ — чудотворцы. Порешили полет начальнику с третьего этажа устроить. Стерва был, сукин сын! Ну, под халатик эдаким преждевременным манером... А этот и вмешайся. Ну, не допустил — шабаш! Провокация, скажем... Ну, начальник, конечно, ошалел. Ладно. Сейчас — телеграмму: так и так, мол,—

спас жизнь... Проволочки запели, защебетали... и из Петербурха — раз! В тот же день: простить и ослобонить на все четыре стороны! Так что бы ты думал? Привели его в контору. Так и так, скидывай кандалы! А он и ляпни: «Я, говорит, вашего прощения не требовал и не желаю. Прощать меня не за что. Меня, говорит, ослободит сам народ». Повернулся и — хода! Те так и ахнули. Никогда этого не бывало, скажем... О-опять — депеша: не хотит, мол, фордыбачит... А оттуда — раз! — дать четыре года за непослушание! Суета, скандал: такой-сякой, не хотишь милости — квакай! А он пялит на них глаза да зубы скалит: «Хоть бы, говорит, навечно — для меня это ничего не значит». Народ, говорит... Вот башка!

На лице Иванюка не вздрагивал ни один мускул: он не слышал нас — он думал о чем-то своем.

— И когда это опять народ подымется? — вздохнул Ермолаев. — Однако скоро... Скажи ты мне, браток. До коих пор еще терпеть?

— Народ подымется, — твердо и убежденно отозвался Иванюк. — Рабочий класс нельзя задушить. Он — бессмертный. Он сейчас молчит, но это молчание — перед грозой.

— Да скоро ли? Коли же будет сей день и час?

— Может быть, скоро... а может быть, и не скоро... — сказал я в тон ему. — Будем работать, дорогой товарищ. Только работать. В бодрой работе — путь к борьбе. Она питает наш дух.

— Вот это — по-моему, — одобрительно поддержал меня Иванюк. — А я ожидал, что вы забормочете какую-нибудь интеллигентщину. Эти наши интеллигентики — как мореные тараканы.

Ермолаев засмеялся.

— Ну и бык! Пахали мы с ним намедни, и угоди ему пенек на борозду. Объезжать надо. Лошадь — в сторону. Он ее — на корягу. А лошадь-то возьми и остановись. Схватил он топоришко — хрясь! Топорище — вдребезги. Так ведь чего он, скажем, сделал? Впился ручищами и — давай рвать. С полчаса бился, а все-таки выдрал... с корнем... и прямо забороздил. Вот башка!

Иванюк невозмутимо и молча стоял в прежней позе и свертывал цигарку. Ермолаев встал и взмахнул рукою.

— Ведь в чем — главное дело?.. Булгачить да сколачивать народ надо. Булгачить, и — шабаш!

Душа в капкане

Мальчик ездил в деревню за харчами и привез новости.

Приехал пристав и посадил Дикова и Зою в волостную тюрьму. Он натолкнулся на них, когда они ходили по улицам с проповедью. Когда вели их в правление, толпа издевалась и потешалась над ними: кто-то бил в пустое ведро; кто-то пищал плясовую в гребешок.

Я бросил косу и побежал домой. Не заходя к себе, пошел к приставу.

В одной нижней рубашке, он сидел за столом и пил водку. Перед ним стояла тарелка с омулем. Он клюнул в мою сторону налитым кровью и разбухшим носом и заорал:

— А-а! Прошу к нашему шалашу. Оч-чень приятно! Пришел некто, который может говорить... А я его за это самое царрапаю... ш-ша! И больше никаких. Садись и пей! На!

Усталый и пыльный, я набросился на него.

— Вы сдуру или с пьяных глаз арестовали больного человека.

— Какая великая честь... Удостоил. Пей!

— Я прошу вас ответить на мой вопрос: зачем вы арестовали сумасшедшего?

— Ша, брезгуешь? презираешь? Я — гнида, пьяница, крючок... а ты кто? Трезвый психопат. Все сумасшедшие — и господа и рабы. Только я один — пьяный... и хохочу над вами. Хохочу, потому что все воображают, что они — человеки. Хо-хо! А этот человек-то... самообман, жульничество, балаган... Съежился он, как высохшая лягушка... И, понимаешь, дрожит... дрож-жит и корчится... А-а! Ты думаешь, что это пьет пристав Семейкин? Нет-с, скоморох и обезьяна...

Я подошел к нему и потряс его за плечо.

— Ваше благородие, милостивый государь, аспид и василиск! На кой черт вам эти сумасшедшие, которых вы заперли в каталажку? Выпустите их!

Он протянул мне стакан водки и заплакал пьяными слезами.

— Ну, выпей, молю! Ну, сумей сделать маленькое удовольствие приставу Семейкину. Ну, пожалей его немного! Взгляни на него, как на человека. Отринь себя и взгляни... Взгляни на душу, которая бьется в капкане. Выпей, глотни, причастись...

Я взял стакан и брезгливо отпил глоток.

Он захохотал, облапил меня и слюняво поцеловал.

Я отшатнулся от него с отвращением, но он схватил меня еще крепче.

— Человек сказал когда-то: я буду Прометеем! А вышел, хо-хо! приставом Семейкиным... пугалом, сукиным сыном, крючком! И вот — за шиворот Кузьму, Сидора, Петра... И вот — ногами топает и бьет морды, как гнус, как подлец... Пей!

Я вырвался из его объятий и вскочил на ноги.

— Пристав Семейкин! Зачем этот ваш смердящий человек запер в каталажку моих товарищей? Выпустите их! Вы — действительно скоморох и обезьяна.

Я почувствовал какую-то глупую истому в теле и стал как будто легче и свободнее.

— О, я их много запер, этих дрожащих и говорящих... у-у, целую армию! Они все, дьяволы, кричали мне: человек! И человек пищал... бился, как крыса в капкане, и пищал.

— Он у вас до смерти будет пищать, пристав Семейкин.

— А на кой черт я это делал — не знаю... ничего не знаю.

— Наконец-то вы должны ответить мне, господин пристав. Отпустите арестованных!

— Удавлюсь я... застрелюсь. Всё — фальшиво... И — к чертовой матери! Нет жизни — ш-ша! Нет хода! Шабаш!

Его лицо исказилось, и он свирепо ударил кулаком по столу.

— И больше никаких! Всё — фальшь! Погань! Скотство! Какой-то шабаш чертей!

— Отпустите же, черт возьми, моих товарищей! Вы же арестовали безумного. Стыдно!

— Гы, а кто есть сумасшедший и безумный? Ага! А вот... у кого душа... с цепи срывается и брешет... а я, пристав Семейкин, не допускаю крика... ш-ша, умри! И больше никаких... Понял? Эфиоп!

Он уставился на меня посоловелыми глазами, и в них вспыхнула какая-то трезвая испуганная мысль.

— Ни черта ты не знаешь... И никто ничего не знает. Где твое откровение для моей души? Застряла душа... пищит душа... ш-ша!

Он окаменело остановил на мне свой взгляд и вдруг начал дрожать мелкой дрожью:

— Я их выпустил... отпустил... тогда же... — сказал он спокойно и трезво. — Идите! Оставьте меня!

И вдруг вскочил на ноги, выпрямился и стал озираться вокруг себя в изумлении и страхе.

Смертию смерть поправ

Батин жил в зимовье — в грязной черной избенке, в глубине двора. На ночь в это зимовье загоняли кур в клетку, которая шла вдоль стены. На этой клетке лежал Батин, покрытый серым халатом. Когда я отворил дверь, на меня пахнуло курами, керосином и кислым птичьим пометом. Жестяная лампочка горела коптящим язычком в засиженном мухами стекле.

Глаза у Батина были закрыты и глубоко провалились в черные ямины.

Он шептал что-то, дышал судорожно.

— Товарищ Батин! — тихо позвал я его. — Как вы себя чувствуете?

Он открыл глаза и улыбнулся.

— Ну, вот и хорошо! Спасибо. Как я рад! Девочка хозяйкина... Нюра принесла мне букет... жарких цветов. И сказала: цветочки вот... тебе, говорит, не будет тошно. Удивительная девочка!

Он протянул руку за изголовье, пошарил там и до-

стал маленький пучок огненных цветов. Они повяли и осыпались. Он с недоумением взглянул на них и беспомощно опустил руку. Цветы упали на пол и рассыпались.

— Ну, что там... как? — одними губами спросил он, закрывая глаза. — Чем живете?

— Вас никто не посещает?

— Нет... никто. Но я всегда с ними... в себе чувствую. И мне — хорошо...

Кашлял он трудно: извивался и корчился. И когда затих, пошевелил пальцами и опять улыбнулся.

Я встал и поправил ему изголовье.

— Вот, девочка-то... Нюра-то... она, может быть, чует лучше жизнь-то. Принесла цветы и сказала: вот — тебе не будет так тошно... И сейчас... к товарищам бы, побыть в общении, о революции поговорить... Она копится, революция-то... Потому что революция — жизнь... а у жизни нет смерти... И вы думаете, родной, я умру? О нет! Мою жизнь взяла революция... И раз она бессмертна... бессмертен и я... Я — бессмертен!

Он тихо и счастливо засмеялся.

И опять замолк и шевелил губами, точно говорил с кем-то другим, невидимым для меня.

Потом чуть слышно забредил:

— Вижу... это — хорошо! Не героев... а движенье самых простых чувств... Нюра вот... хорошо!

Он пожал мою руку и опять застыл в немой неподвижности.

Судорожно хватаясь за мои пальцы, он вдруг потянулся ко мне, пытаясь сказать что-то очень важное и неотложное. Сияя улыбкой, он с усилием прошептал:

— К товарищам бы, к ним... увидеть бы, ободрить...

— Я позову их, товарищ Батин.

— Нет... не то...

— Вы будете опять с нами: вы выздоровеете, товарищ Батин.

По телу его пробежала судорога, но не погасила улыбки на лице. Он заметался, застонал и стал искать руками твердой опоры. Я осторожно приподнял его и посадил на постели, а сам сел к изголовью и прислонил его к себе.

Грудь его напряженно поднималась. Билась изо всех сил жилка около ключицы, а в груди хрипело и клокотало. Он успокоился и зашептал медленно, едва слышно:

— Как легко! Как хорошо! Как я чувствую жизнь... и как она прекрасна!

Вдруг он испуганно раскрыл глаза и стал искать кого-то в комнате.

— Всех сюда... ближе! Ко мне!

— Никого нет, товарищ!

— Все тут... рядом со мною... Как можно! Как их много! Со всех сторон... со всех концов... Ну, да... революция бессмертна... Вы говорите — их нет? Они не здесь? Не было? Ну что ж... Я пойду... к ним... с ними... до конца...

— Я их позову, товарищ: они сейчас придут.

— Не то... Я сам должен... отдать цветы... Все равно... в душе — цветы...

— Лягте, товарищ. Я вас укрою. Я — около вас.

— Не то... Я идти хочу... встать хочу...

Он стал спускаться с постели и к чему-то внимательно и с восторгом прислушивался.

Я надел ему коты и поставил его на ноги.

— Как хорошо! Я — сам... Я — к ним... к массам... и миллионам...

Он легонько оторвался от меня и шагнул к двери.

— Дайте мне шляпу... и палку.

Я отошел, не спуская с него глаз. Он шагнул вперед, потом еще — шаг, два...

Вдруг сразу зашатался и взмахнул руками. Я не успел подхватить его, и он со всего размаха грохнулся на пол.

Трагический фарс

Был сильный дождь, и я промок насквозь. Замирая, откатывался рокочущий гром. Далеко за сопками вспыхивала молния.

Я остановился у окна Зои.

Горела свеча на столе. Зоя ходила по комнате и смеялась. Кто-то был у нее.

Выплыла черная тень и заслонила окно. Это был Мамонт.

— Пьешь, Мамонт?

— Прокламации пишу. Зачем ты здесь?

— Умер Батин.

— Ну, и... при чем тут Батин? «Мертвый, в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий...»

Он схватил меня за руку, рванул к себе и забормотал:

— Ведь ты знаешь, что я люблю ее? Это у меня — одно в жизни. И я каждую ночь гляжу в окно, издали... И пью... Можешь ли ты понять это, болван?

— Ты опустился, ошалел, Мамонт. Опомнись! Ни черта у тебя нет за душой. По какому недоразумению ты пристал к революции? А сейчас ты вреден, как зараза. Ты хуже ренегата.

Я оттолкнул его от окна и пошел к калитке.

Открылось окно, и Мамонт шарахнулся за угол.

— Кто тут?

Я подошел к окну.

— С кем это вы здесь? — крикнула Зоя. — А у меня Еремин и Нина Петровна.

— Еремин? Почему — Еремин?

Я вошел в маленькую комнатку, всю засыпанную открытками, картинками и цветами, и молча сел на стул.

— Я за тобой посылала.

— Я давно не был дома.

— «Давно отверженный, блуждал в пустыне мира без приюта», — трагически пропел Еремин.

— Мы мечтали с Ниной Петровной, и она впервые загорелась, как свеча. Но пришел вот этот хулиган и потушил ее.

— Ее надо напоить пьяной, и она загорится, как факел.

— Вы были революционером, Еремин, а теперь просто мелкий бес и фигляр.

— Я — бедный Йорик и демон, а ты, Никиша, похож на того безрукого, который на вопрос, зачем он шляется без дела, ответил: работы ищу! А по сему случаю соберем вкупе шайку и совершим экс.

Он вынул бутылку водки из кармана и с видом кудесника проделал ею таинственные движения.

— Еремин! — озлилась Зоя. — Мне противно и жутко с вами. Уходите, пожалуйста!

Он подошел к Нине Петровне.

— Офелия! О, помяни меня в святых твоих молитвах...

Она не понимала ничего и улыбалась, глядя на Еремина.

Это было слишком. Я подошел к нему и оттолкнул его в сторону.

— Есть пределы всякому безобразию!

— О! он способен на подвиги? Мой друг, Горацио! Когда Гамлет воображает себя бараном — в этом есть еще философия. Но когда баран изображает Дон-Кихота, то тут ничего нет, кроме фарса.

Зоя засмеялась, но глаза ее были злые.

Он быстро повернулся на пятках, взмахнул бутылкой и оглушительно щелкнул донышком о ладонь. Пробка вместе с брызгами выстрелила в потолок и упала к моим ногам.

— Внимание, афиняне!

Он шагнул к Нине Петровне, но я оттолкнул его в сторону. Он ударился о стену и бросился на меня с бутылкой. Жидкость облила его пиджак. Зоя бросилась к нему и стала между нами.

— Это что еще за мерзости? Убирайтесь вон отсюда, Еремин!

Помню, что он сразу же потерял равновесие и зарычал не то от боли, не то от неожиданности. Бутылка выскользнула из его рук и брызнула по полу осколками.

— Мсье и медам, акт комедии кончен.

— Прости, Зоя! — сказал я, борясь с дрожью. — Сейчас умер Батин. Я только что от него.

— Как? наш Батин?

Зоя съежилась и отошла в сторону.

— О, весьма кстати! — запаясничал опять Еремин. — Очень он надоел своей бредовой проповедью.

Зоя тихо и сурово сказала:

— Еремин! я очень прошу вас уйти.

— Аминь!

Дрожа и в ужасе раскрыв глаза, Нина Петровна зашептала:

— Мне ничего не надо. Я пойду.

Я помог ей встать с кровати, взял под руку и повел к двери.

— Никифор! — закричала Зоя. — Вы возвратитесь сейчас же. Мне страшно!

Еремина уже не было.

На улице Нина Петровна остановилась и сказала с мольбою:

— Я — сама... оставьте! Мне очень хорошо.

Железо

Ночью, когда я работал над рукописью, раздался настойчивый стук в окно. Я бросился к двери, чтобы встретить Зою, но на крыльце наткнулся на Страхова.

— В гости вот пришел. Здравствуй!

Он был уже не похож на прежнего Страхова: смотрел сурово и твердо. В лице, заросшем щетиной, неуловимой тенью застыло не то страдание, не то усталость.

Смущенно улыбаясь, он сел к столу и внимательно осмотрел мою комнату.

— Вопрос разрешается просто, мой товарищ, — сказал он сердито. — Поваляли дурака — и хватит. Наш рабочий путь известен: работать и бороться. Делать мне здесь нечего. Какой-то чад кругом: ни мысли, ни воли нет у людей.... Свихнулись, черти. А может, так... пена, накипь... Поиграли в революцию всякие бездельники и скисли. Какой-то Еремин, проходимец, волчком завертелся, эта девица — в женском беснования, и Батин, который совсем расчет получил. Вообще черт-те знает что! И я чуть не увяз в этом болоте.

— Не все же увязли в болоте, Страхов. Здесь есть и здоровые люди: например, Иванюк, Ермолаев, ты... Надо готовиться к новым боям. Партия жива и сильна, рабочий класс — на боевых позициях.

— Так-то так, — охотно согласился Страхов, — но

вот эти интеллигентики здорово воздух портят. Какие устои у интеллигентиков? Во имя чего в революции щеголяли? Думали, праздничек, ярмарка с каруселью. Идеи-то рабочего класса оказались для них, как платье с чужого плеча. Ну, и начали куролесить. А идея-то наша требует всего человека. Жить надо идеей и при всяких пытках быть твердым, как железо. Идея напрокат не берется. Уезжаю к товарищам. Здесь мне дыханья нет. Революцию надо вытачивать на станках, а не колдовством... ковать, а не колдовать! Пускай здесь меньшевики да анархисты колдуют.

Я смотрел на его суровое лицо, твердое, с морщинами страдания на лбу, и думал:

«Вот в ком непреобримая сила жизни. Его не сломят никакие удары и испытания. Он презирает всех, у кого слабые нервы и кто не связан с трудом».

— Друг! — сказал он, пожимая мне руку. — Прищемил ты мою душу намедни. И такой на меня стыд напал, что всю ночь терзался: всего себя разобрал по частям и всю ржавчину сорвал с души. Забыл себя, замутился... Как это я, рабочий, мог поддаться этой интеллигентской шантрапе?

Он отошел от меня в другой конец избы и смущенно бил шапкой по руке.

— Я очень рад за тебя, Страхов. Вместе с тобой и я как будто стал здоровее и сильнее.

Мы обнялись. И когда посмотрели в последний раз друг на друга, в глазах у нас дрожали слезы.

— Хорошо жить и бороться, Страхов!

— Только не здесь, не среди бездомников и бездельников. Прощай, друг! Жди вестей, а потом — катай вслед за мной. Будем работать и сплачивать силы!

Он вышел твердым, решительным шагом.

Шлак

Я пошел навестить Зою. Ее не было дома, и ставни были закрыты. На дворе играла девочка с ребенком, который елозил в пыли и, весь чумазый, задорно вскрикивал:

— Атта! Атта!

Девочка подбежала ко мне и зашептала торопливо:

— И не ходи и не ищи — нет ее.

— Куда же она ушла?

— Скрылась и следочки замела.

— Что она наказывала мне передать?

— А кто знает... вот бумажку оставила!

Она скрылась в зимовье, быстро выскочила обратно, комкая в руках клочок бумажки.

Зоя писала:

«Я уезжаю, милый. Жить в этой трущобе среди сумасшедших я не могу. Не знаю, где найду себе пристань, но лучше лететь непрерывно, чем метаться на одном месте. Чувствую, что у меня не будет пристанища, потому что всякая неподвижная точка — это скука, а скука — смерть. Я не знаю, что я такое, потому что познать самое себя невозможно. Я только переживаю мятежное беспокойство и в этом нахожу счастье. Прощай».

Я разорвал на мелкие клочки эту измятую, небрежно нацарапанную записку и бросил под ноги.

«Прощай! — подумал я, вздохнув с облегчением. — У тебя нет ничего дорогого в жизни: поиграешь, попрыгаешь, найдешь себе мужа и заживешь безмятежным бытом».

По улице навстречу мне шли, пошатываясь, Еремин и Мамонт. Еремин кривлялся, бил себя в грудь и гаерски покрикивал:

— Я создан для бури! Я совершу экс... А сейчас пойдем пить... из разбитого корыта.

Мамонт мычал:

— А я проклинаю все и всех! и себя проклинаю... Ничего нет, и всё — самообман. Мы — босяки... паразиты революции...

Я свернул в проулок, который вел к перелеску.

На лесной дороге попался навстречу Диков. Он шел с сияющим, вдохновенным лицом.

— Радость возвещаю всем, — сказал он торжественно, — великие дни уже близко. Когда страданья преобразятся в радость... Уже наступает рассвет, и

заря горит пурпуром, и океаном разливается песня освобожденных.

Он плавно пошел от меня по дороге и широко размахивал полами халата, как огромными крыльями.

Они преследуют меня, эти паразиты, — сор, обломки, выброшенные прибоем. Долой от них — к здоровым, сильным людям труда!

Живая жизнь

Далеко, в темных падях, горели костры. В лесу куковали кукушки, и где-то по дороге к селу, рождаясь и замирая, грустно колыхалась девичья песня. Когда она прерывалась, глухо и дробно стучала телега и призывно ржала молодая лошадь. Ехали, должно быть, с поля. Кое-где у моих ног падали светляки.

Я вышел на поляну. Перед опушкой леса дрожал костер. Это был сенокосный участок Ермолаева.

Я перешел гремучий ручей, умылся и пошагал к костру.

Где-то неподалеку, за кустами ярника, хриплый сонный голос крикнул ласково:

— Аганя, вставай, бай! Ставь картошку, сливай чай! Аганя!

Человек громко зевнул и крякнул. Показалось, что и земля потягивается и позевывает.

Вдоль реки со свистом пролетело несколько уток. Свист и трепет крыльев торопливо резали тишину. Воздух загорался предутренним огнем. Пахло пряным запахом дыма и травы.

Костер у шалаша Ермолаева, очевидно, не угасал всю ночь. Огонь поддерживался заботливыми руками.

Из шалаша смотрело мне навстречу взъерошенное, заспанное, но по-утреннему бодрое и улыбающееся лицо Ермолаева.

— Ты чего это, товарищ Угрюмов, по ночам бродишь?

— Приехал работать, а в деревне укрощал нервнобольных, похоронил Батина и проводил в дорогу Страхова. Как видишь, хлопот было много.

— Ну, Батину-то ничего не оставалось, как умереть. А девку эту бешеную я заставил бы сено на себе возить. Откуда эта дрянь берется, скажи на милость? Сколько сору в нашей жизни, а? А все — от безделья. Одно слово — безотцовщина. Косить-то будешь, что ли?

— Обязательно, товарищ Ермолаев.

— Эх, ты... человек-то... нет ему жизни без труда, как нет и труда без человека. Тем и земля красна. Крепки и любезны друг другу человек и труд.

— Я решил к вам переселиться, товарищ Ермолаев.

— Вот и хорошо. Сейчас косы отбивать будем. Эй, матрос! выползай — живая душа припрыгала.

Из шалаша показалась измятая сном фигура Иванюка. Протирая глаза, он выполз к нам на четвереньках.

— Здоровы булы, хлопцы!

— Хохлацкая рожа, и — больше ничего!

Ермолаев лукаво подмигнул мне и с притворным раздражением бросил в огонь щепку.

— Это я знаю. А дальше?

— Да как же? Сегодня во сне меня по роже смазал. Я его за руку, а он на меня лезет.

— Тю!

— Вот те тю!

Иванюк захохотал.

— Приснилось, что я на броненосце. Дым, суета... Восстание...

— От этого твоего восстания у меня синяк на скуле.

Иванюк устроил мне строгий допрос:

— Что в газетах пишут?

— О работе в подполье не пишут. Пишут о разоблачении провокаторов. Крупная рыба пошла. Печатают сводки о повешенных.

— Мерзавцы! Этими провокаторами они уже подавились. А вешают от страха — совсем обезумели. А как ты думаешь — большевики раздувают пары?

— Машина работает, Иванюк. Ленин громит и разоблачает и меньшевиков и всяких кликуш-идеалистов

беспощадно. Идет сплочение рядов и очистка от всяких блудословов.

Я вынул письмо из кармана и прочел им эти новости.

— Да, Ленин не шутит: всем сутягам и дурноплетам башки свернет. Чую вот: Ленин хоть и далеко, а с нами. И жить с ним радость большая. Рабочий класс — непобедимый! Ленин — его голова и сердце. Спасибо за хорошие слова. А этих наших интеллигентиков я бросил бы в навозную кучу — собакам.

Ермолаев засмеялся.

— По-матросски!

— Хода, хлопцы, купаться!

Иванюк побежал по росистой траве к туманной реке.

Я бросился вслед за Иванюком. Пахло травой, лесом, землей и немножко дымом. Светало.

Когда я прибежал на берег, Иванюк уже сбрасывал рубашку и, тяжело дыша, подпрыгивал на месте. Он похлопал себя по голому телу и улыбнулся:

— А меня, понимаешь, расстрелять хотели. Вот дурачье!

Тело его, мускулистое, молодое, сильное, вздрагивало от утренней прохлады, напрягалось здоровой жизнью и требовало работы. Это было тело красивого, крепко слаженного человека, который верит в свои силы и знает себе цену.

— Удивляюсь, Иванюк: были вы у смерти в лапах, томились на каторге, а вот никак будто на вас это не отразилось.

— А я нутром чувствовал, что буду жить. И плевал на все — и на тюремщиков, и на казематы, и на кандалы. Я знал, что буду еще драться на баррикадах. Дух у меня не потух, а судьбу свою вижу. Я здоров и сплю без кошмаров.

Он стоял передо мною во весь рост, высокий, широкий костью, с напряженными мускулами, упруго вздрагивающими под смуглой кожей.

— Вы часто, Иванюк, встречались со Страховым?

— Я его, дурака, один раз за грудки взял: пьяный ко мне ввалился. «Ты, говорю, как смеешь являться

ко мне предателем революции? Пьяный пролетарий для меня — изменник своему классу». А он еще хуже показал себя — заревел. Ну, я взял да и вылил на него ведро воды. Очухался и сам назвал себя негодяем.

Мы посмеялись.

— Страхов бежал, Иванюк. Направился к своим старым товарищам.

— Я знаю. Это я его прогнал. Ему здесь жить вредно.

— Но вы-то живете?

— До поры до времени.

Он спокойно вошел в воду, поглядел на ее разлив, подернутый туманцем, и бросился в глубину, поднимая вихри брызг. Засвистели над головами испуганные утки. Я с разбегу грохнулся в реку вслед за ним и закричал от жгучего холода упругой воды.

...Потом мы сидели около костра, бодрые, свежие, веселые, и пили чай с картошкой. После чая отбивали косы.

Всходило солнце.

Где-то девки запели песню.

Ермолаев вскочил с места и, схватив свою косу, крикнул:

— Ну, ребятки-и! за работу! Утро-то какое дивное!

1939

СТАРАЯ СЕКРЕТНАЯ

(Повесть о былом)

Трое в одиночке

Это была та самая камера, в которой сидел Чернышевский перед отправкой его в Вилюйск. Камера-одиночка. А одиночка — это каменная узкая щель в исцарапанных стенах, с сумеречным далеким потолком, и узкая щель-окно, закованное толстыми железными прутьями. Стена от решеток сползает до грязного столика крутым скользким желобом. Сколько лет стоит под окном этот изгрызенный столик? Может быть, от дней Чернышевского? Может быть, исцарапали его руки обреченных на казнь?

Тускло блестит забронированная дверь с волчком посредине. Сколько человеческих рук толкалось в холодный металл, пахнущий ржой? Кажется, что воздуха в камере нет, а вместо воздуха — распыленный камень. Нет, это нудная, застарелая вонь отхожего места: у двери, в простенке, — параша. А наша одежда и штукатурка смердят баландой — кислой, протухлой капустой.

Наш корпус — столетнее длинное здание, вросшее в землю, похожее на конюшню, — «старая секретная». Есть «новая секретная», в другой части тюремной территории. Мы спрятаны за пятью концентрическими стенами, в центре внутреннего круга, из которого есть

два выхода: один — по коридорам целого ряда корпусов, приросших друг к другу, другой — из дворика в дворик, через калитки внутренних стен. По коридору нашей секретной — тринадцать камер-одиночек, и шорохи жизни, заключенной в этих подвалах, едва долетают до моего слуха.

Я не могу ходить по камере, потому что я не один: нас — трое на трех койках. В тюрьме уже нет одиночек: она переполнена. У нас нет тишины. Когда мы молчим, за нас говорят мои кандалы. Они не молчат даже в часы нашего сна: как бы ни был крепок мой сон, я слышу смеющиеся переливы железа, слышу не слухом, а всем нутром, собою, точно эти железные ручейки играют по всем моим жилам и в жилах моих струится не кровь, а растворенные цепи.

Однажды я проснулся глухою ночью. Кандалы хрустально пересыпались на моих ногах, а за волчком, в узком полуночном коридоре секретной, курлыкали призрачным отзвуком замурованные кандалы в других камерах. Я проснулся потому, что вспомнил: такие крики я слышал в детстве. Это были не цепи, а змеи. Они курлыкали так же, когда проглатывали лягушек. В детстве мне было только любопытно, а теперь — страшно. Сердце замирало от ужаса, и я корчился в судорогах на койке, потрясенный кошмаром, и плакал в младенческих всхлипах.

Прахов поднялся на локте и посмотрел на меня угарными от сна, налитыми кровью глазами. У него были рыжие вихры и буйная молодая бородка.

— Ну, ну... очухайся!.. Чего ты... Угрюмов! Что за бабьи нервы?.. Не тюрьма, а желтый дом какой-то...

А Митря рыхло встал с койки, неуклюжий, и пошагал к параше. Не оглядываясь, стал внимательно смотреть вниз, в нутро ушата. И не Прахов возвратил мне сознание, а Митря. В этот миг моего душевного смятения он нашел более целесообразным подойти к параше и сосредоточенно выполнить свои естественные потребности. Я лег опять на койку и больше не мог закрыть глаз. Прахов качался на локте, и в сонных его глазах еще не угасла угрюмая усмешка и смутное ожидание.

Митря сел с ногами на койку, зевнул, помолчал, почесался, потом крякнул и уткнул подбородок в колени. Лоб наморщился, а в глазах тлела тоскливая мысль.

— Одно у меня горе: табачком обездолили, осина-борона. Без табачку в черепке — будто кислое молоко.

Прахов таращился через изголовье в его сторону и презрительно гримасничал.

— У тебя, балбеса, только и есть, что дрыхнуть на тюремной койке. А еще бунтарь, орясина! О чем ты думаешь, кроме параши?

— Нам, осина-борона, не о чем думать. Наше дело какое? Есть земля — паши, есть конишка — тряси гузном вкруг дворишка. На землю все падки. Кабы не наша сила, давно бы вы нас, пролетары, слопали.

— На кой ты черт нужен здесь? Воняешь только да брюхо растишь.

Митря, занятый своими мыслями, чвыкал через зубы и был глух к обидным словам Прахова.

— И чего меня держат тут? Ну, погнали бы, чай, на землю, что ли... Женился бы, завел бы хозяйство. В Сибири много дурной, беструдной земли... Чего в сам-деле?

Он раздражал меня своим слепым равнодушием к заточению, и я ненавидел его, как врага.

— Ты, кажется, и без того доволен своим положением: сыт, спокоен, в тепле. Чего ты жалуешься? У меня хоть кандалы и на плечах — каторга, а ты — как на постоялом дворе.

Прахов ехидно покрутил головой, и глаза его налились злой насмешкой.

— Ты хвалишься, как юродивый своими веригами: погляди, мол, господи, как я за народ страдаю.

— Да, именно страдаю. Народ здесь ни при чем, Прахов. Простачком не прикидывайся.

А Митря нудно мямлил с мужичьей назидательностью:

— Вам привычно. Вы — городские, земли не чуете, к земле не привязаны. Вы и свободы не знаете. Свобода из земли растет, как хлеб. А какая свобода в городе? Тюрьма. Вот она, сволочь, какая!.. Стены —

крепости, окошки — в железе, двери — в железе. И за нуждой человек ходит в кубышку. Дым, копоть, ералаш: то ли бьют, то ли жрут друг друга — не поймешь.

Прахов засмеялся и подмигнул в его сторону.

— Подумаешь, какой простофиля!.. А кто громил помещичьи усадьбы — не ты ли?

— Я против города шел. У барина-то у нашего какой заводище был в экономии — чистый дьявол. Он — в городе, барин-то, а из города, как паук, тенета плел, на нашу землю лапу накладывал. Мы за освобождение земли, за земной дух. Это — дело правое.

Он, Митря, не чувствовал стен тюрьмы, он говорил о них лениво и безмятежно. Этот плесенный воздух не дурманил ему голову, и сон его был здоров, крепок, без кошмаров, а кровь его ровно и густо лилась по жилам. Для него тюрьма не была тюрьмой, а только привалом — сараем, где он скучает от безделья на перепутье.

Он лег на койку и мечтательно забормотал, борясь с дремотой:

— Сейчас у нас навоз возят на поле. Святки. На кулачки дерутся. Хорошо бы теперь картошки горячей поесть, душа моя, осина-борона! Да вот табачку бы, эх!.. Скоро меня на место, должно, препроводят, надел дадут. Женюсь. Абы земля — везде жить можно. Оно сейчас хорошо, что держат. Куда пойдешь? Зима. Жаловаться не на что — и корм и угол. Заботятся.

— Да ведь черт ты этакий! Сам же тюрьму ругал...

— Ну, так что же? Я о том ведь, как вы весь свет хотите под тюремный манер. Ну, это вам не удастся, осина-борона: мужик не допустит. Его вон сколь — миллионы! Все на мужике держится, а вас — малая шайка. Ты не гляди, что мужик молчит да в землю смотрит: он, брат, шерстобит хороший.

Прахов лежал на койке и мычал, точно у него болели зубы.

— Молчи, черт, пока я тебе салазки не загнул.

— Загнул! Было дело... видали таких...

— Ну?

Прахов опять поднялся на локте и посмотрел через изголовье свирепыми белками.

— Мужика — и так и этак: и в хвост и в гриву. Мужик — дурак, а вы больно умные.

— Ну-ка, еще слово. Замолчал?

— Замолчал... до поры до время...

— Ну, то-то.

Я смотрел на них с любопытством: они казались мне забавными младенцами. Меня разбирал смех, но я старался изо всех сил сдержать потрясающую судорогу в горле. Мне хотелось спокойно, холодно изучить их, войти в их нутро, впитать в себя. Я это делал раньше, как обособленный наблюдатель, но потом они только раздражали меня до острого презрения и ненависти к ним. Они мешали мне жить, распоряжаться собой и думать. В изнеможении от борьбы с собою я с наслаждением захохотал. Сквозь слезы я увидел, как Прахов наклонялся надо мною и бормотал:

— Блябну вот по башке... Перестань, черт!..

Он тоже смеялся около меня и задыхался от усилий подавить смех. Хохотал и Митря, визгливо, как поросенок, и катался по койке.

По ночам в коридоре, за нашей дверью, струится тишина. Она поет летающими шорохами шагов и невнятным говором надзирателей. О чем могут говорить надзиратели, проглоченные камнями? Эти тупые служаки, с тяжелыми связками отполированных ключей, будто сами звенят кандалами и сами обречены на вечное заключение. Безмолвия нет в тишине, и ночи полны незримого света, истекающего из человеческого мозга. В сумеречном мерцании ночника стены сжимаются плотнее, и мой ночной полусон не ласкает меня призраками милых сновидений, а невыносимо давит каменными глыбами стен.

Коридор не умирает никогда: из камер в дырки волчков непрерывно вылетают шорохи, возня и глухие голоса товарищей. В этих длинных пустотах всегда плавает и колышется жизнь. Стоит приложить ухо к волчку — и слышишь далекий неумолкаемый пчелиный звон. Раздается иногда замурованный смех, или вырывается взволнованный крик. Перезванивают кан-

далы, будто нечаянно рассыпают стекло. И потом — опять тишина и шорохи, шепоты, шаги надзирателей. Эти шорохи насыщают стены, и они, как живые, дрожат и связывают меня с дыханием жизни неизвестных мне людей, спрятанных от меня за толстыми дверями.

Над моей головой, высоко, у потолка, вытекает по срезу стены, через ржавые переплеты решетки, окно, а из окна, мохнатого от инея, голубым руном сползает морозный холод. Я вспоминаю, что за окном — лунный декабрь и воздух между луною и тюрьмой искрится кристаллами, а в черной бездне небес, тлеющих фосфором, разбрызганы другие кристаллы — звезды. Среди сахарных сугробов полей хрустят и улетают в блеске и свисте накатанные дороги в запахах лошадиного помета и упавшего сена с мужичьих саней.

В квадратах решетки окно цветет лучистыми хлопьями инея. Оно мертво, в льдистых отеках, как бельмо, и пучится в железных гнездах мокрой разбухшей затычкой. Иногда по вечерам мы ставим на столик табуретку, карабкаемся по очереди к окну и, вцепившись в железные прутья, дыханием своим плавим иней и лед на стекле. Мы видим небо, обрызганное звездами, и облачно-спокойный круг луны, тающий с краю. А внизу — тьма: зубрятся пилами черные пали, а за ними — грузно осевшие крыши тюремных корпусов.

Дни, цветущие снегом и мутно голубеющие в небесах, я вдыхал через двадцать четыре часа на прогулках, и эти дни я осязал в солнечных сугробах, потому что солнце зимою ближе и проще, чем летом: оно живет в снегах и волнуется, как море. Но лунные ночи далеки, как детство, и когда я ловлю на стекле зеленый огонь, мне грустно и до боли хочется жить прошлым. А это постоянное стрекотанье в стенах, как осенняя капель, — мучительно надоедливо. Так скрытыми в стенах телеграфными разрядами связываются между собою отъединенные люди, которых я не видел никогда и которые в дробных перестуках передают биение своего сердца. Мы, трое, — здесь, а там, близко и далеко, — они, но мы связаны этим пульсирующим трепетом, и толстые стены становятся прозрачными.

Прахов часто прикладывает ухо к стене и слушает. Он слушает долго, не видя нас, забывая себя, и в глазах его поблескивают холодные капли.

Митря — деревенский парень, аграрник. Прахов — рабочий-металлист. Митря прошел несколько пересыльных тюрем, но от него еще пахнет солодом озимей, теплотой лошадиного пота и густым запахом мужицкой избы. Этот избяной дух — аромат кулаги — несли в себе и другие мужики во всех тюрьмах, и этот дух сбивал их в свои мужицкие артели.

Здоровый и терпкий от избытка крови, Митря был чужой среди нас — первобытный, живучий, покорный. По ночам он всегда спал мертвым деревенским сном, и мне было странно, как он может спать без бреда и тоски, когда стены леденят душу, а впереди — бесконечное месиво дней, и рядом, за стеной, в которую он дышит во сне, доживают последние минуты люди, приговоренные к смерти.

Там их всегда два-три человека, и они так же, как мы, кричат, спорят, смеются. Их голоса я всегда слышу не через стену, а из коридора, через волчок — через маленькую дырку, зияющую в мир.

Обычно их уводили в неизвестный час, когда камеры замирали в тягостном сне. И никто не мог сказать по утрам, были ли последние вскрики уводимых на казнь, хрустели ли шаги солдат и тюремной стражи. Но когда камеры не открывались в обычный час поверки, а в коридоре, за волчками, были пустота и безмолвие и тревога шептала где-то в недостижимой глубине каменных сводов, — мы знали, что смерть опять была у нас этой ночью, и шелест ее шагов еще не остыл в сумеречных погребах. Мы все просыпались одновременно в привычный утренний миг, лежали с открытыми глазами и, встречаясь взглядами, говорили друг другу без слов:

«Их уже повесили. Уберут последний столб, заметут следы на соседнем дворике и — откроют камеры».

И мы знали, что вечером, после поверки, приведут новых, и мы услышим сигнальное стрекотанье в стене.

— Товарищи, мы — с галстуками!

Прахов первый присасывался ухом к стене и взмахом кулака обрывал наши движения и голоса. Он жадно ловил этот дробный перестук, шевелил челюстями, и глаза его пьянели угарной слезой. А потом он стучал маслаком указательного пальца:

— На чем сцапали?

Мы привыкли к человеческим словам, преображенным в телеграфный лепет, и они через барабанную перепонку капали в мозг и трепетали потрясающим весельем:

— Побили бляху городовому...

— Споткнулись на маленьком эксе...

— Отшибли хвост легавому...

— Вооруженное сопротивление...

Прахов злобно брякал кулаком по стене и грузно валился на койку.

— Сволочи!.. Мерзавцы!.. Сукины дети!..

Потом — опять стрекотанье, торопливое, настойчивое.

— Товарищи, помогите! Яду или нож.

И мы, бессильные помочь, виновато переглядывались и безнадежно махали рукой. Прахов стучал:

— Не можем. Все связи с волей порваны.

Эта камера не умолкала до поздней ночи,— до тех минут, пока не убивал ее сон. Может быть, эти неведомые нам люди уже не знали сна, а засыпали мы, и только, может быть, в нашем сне глохли их крики и смех. Я слышал, как надзиратель лязгал ключами у их двери, и его окрик сейчас же немел в реве смертников. Они орали исступленно, до одурения, и я знал, что у них оскаленные зубы и вырванные из век глаза.

— Пошел вон, мерзавец, грязная жаба! Что ты понимаешь в наших минутах тупым своим мозгом, паршивый раб?.. Вон!.. Долой, негодяй, собака, палач!..

И сразу же ярость их переходила в пьяное бешенство, и их веселье захлебывалось песнями и пляской.

И каждую ночь где-то в одной из тринадцати камер вдруг с визгливой болью раненой птицей вылетала в коридор хриплая истерика.

В коридоре

Я смотрел в двери запертых камер, в волчки, живые от глаз. Это были не лица, а только горящие глаза в пустых квадратах, и эти глаза жили сами, отдельной жизнью от лиц.

Я подходил к каждой двери и кричал:

— Доброе утро, товарищи!

Глаз кружился в каждом волчке, расцветал искрами, и в одно мгновение через него проходило множество волн.

Надзиратель командовал сзади:

— Ну-ка, ну-ка... не разговаривать зря! Не на свиданье. Шагай, шагай проворнее!

Но я не обращал внимания на его окрики и волновался от встречи с невидимыми товарищами, воплощенными в одних горящих глазах. И всегда в эти минуты в душе у меня трепетала тревога и смутное ожидание: что-то должно совершиться в этих стенах. Оно совершится скоро и неизбежно, оно взорвется страшным бунтом, вырвет двери, изломает запоры и обрызгает стены кровью и мозгами. И в эти погреба ворвется солнце, ядреный поднебесный воздух, и грудь вздохнет глубоко и свободно.

Вместе с нашей камерой отпирали еще две соседние (смертников выпускали особо, с особой стражей), и коридор гремел музыкой кандалов, радостными криками и хохотом. Все были безалаберны и юрки. Все толкались, мяли друг друга, обнимались и шалили, как ребята.

Замятин, учитель фабричной школы, размахивал длинными руками, как крыльями, и, брякая кандалами, ревел одну и ту же песню:

...Пролетарии всех стран,
Соединяйтесь в дружный стан!
Вперед, вперед — на смертный бой.
Вперед, народ-титан!

Потрясая белобрысой шевелюрой и раздувая ноздри от скрытого смеха, он размашисто вскидывал руку, как оратор, и кричал на весь коридор:

— Товарищи и братья! Хороший желудок и крепкие мускулы — залог действительной победы рабочего класса. Только побольше песен и железной дисциплины. А потому да здравствуют ветераны революции, почившие на лаврах в этом великом пантеоне!

Дребезжали двери. Из волчков кричали «ура». Жизнь бурлила в камерах и плескалась из дырок — и криками, и глазами, и смехом.

Шли другие арестанты — в бушлатах, все серые, одноликие, с трупными лицами. Но застоявшаяся кровь уже напрягала мускулы, и все, будто пьяные, возились, боролись, пели вразброд, и глаза их блистали от маленького обрывка свободы.

Мускулы Замятина требовали тяжелой работы, они давили его хуже цепей. Он бросался на кого-нибудь из товарищей, хватал его в охапку и подбрасывал выше головы. Хохотал от наслаждения, обнимал другого, опять бросал и бежал вдогонку Прахову. Прахов становился в позу борца, и они с рычанием сплетались руками и, наливая лица кровью, ломали друг друга, как быки.

Иногда Замятин подхватывал на лету надзирателя Мизинчика и тащил его вплоть до двери. Мизинчик — деревенского вида детина, который тоже просил воловьего труда, — сам был похож на арестанта. Он заражался силой Замятина и неудержимо смеялся плоским, скуластым лицом. Он забывал о себе, как о страже, который должен быть глухим и слепым идолом, и сам бессознательно рвался из своих черных доспехов к борьбе и крикам. Но сразу же приходил в себя, в ужасе бился в лапах Замятина и задыхался от страха.

— Застрелю, мерзавца, арестантскую харю... Брось, говорю! Убью и отвечать не буду!

А Замятин радостно кричал на весь коридор:

— Погоди, погоди, Мизинчик. Вынесу вот на двор, тогда и бахнешь меня из своего пистолета.

Все прыгали около них, махали руками и заливались хохотом.

— Ура, Мизинчик!.. Браво!.. Загибай салазки Мизинчику!..

У последней камеры, в тупике, перед дверью во двор, меня останавливал грустный женский глаз Немиловича. Он блистал лихорадочной влагой чахоточного возбуждения и неудержимо манил своим уединенным восторгом. Может быть, это была одержимость узника, который уже пережил кошмары тюремного одиночества и постиг особую, скрытую жизнь казематов, где осели на стены годы его заключения.

— Доброе утро, Немилович. Как себя чувствуете?

— Прекрасно! чудесно!

— Поздравляю, Немилович. Кроме вас, этого никто не говорит. Вы счастливый человек.

— А разве вы не чувствуете жизни, Угрюмов? Несчастья вообще нет. Это — самообман. Разве для человеческого мозга есть клетки и стены? Геометрические формы представлений — это иллюзорная относительность. Единственное несчастье для человека — это мертвая формула, в которую пытаются заключить человеческую мысль.

— Вы неправы, Немилович: мысль сама неизбежно воплощается в формулу. Без формулы нет и мысли.

Глаза его трепетали от внутреннего огня и не могли сдержать напора невысказанной радости.

— О нет! Вы потому в цепях, что фетишизируете формулу. Вы рветесь из гроба, но накладываете на него лишние обручи. Геометрия, вещи в себе, абсолюты... Но есть только один необычайный мир безграничной свободы: это — мир большого разума, мир озарений. Он не подчиняется никаким формулам и измерениям. Это — мое «я», которое полно невыразимых чудес.

— Ну, а простые факты, Немилович? Вот там сидят смертники. Может быть, их сегодня повесят. Это не тревожит ваших озарений?

Его глаз немножко вздрагивал, но улыбка радости не угасала.

— Да, это больно. Но эта боль только помогает мне переступать пороги и бездны. А это прекрасно. Чем смерть хуже рождения? Только иное перемещение комплексов элементов энергии.

Мне хотелось сделать ему больно, и я смеялся, чтобы унизить его.

— Ну, я не думал, что вы, Немилович, такой жестокий и бессердечный человек. Жаль, что вы сейчас не в их шкуре.

Рука Мизинчика властно и мягко толкала меня к выходной двери. Он сурово хмурил брови, но глаза его были добродушны и пристальны, как у лохматой дворняги.

— И какой вас черт затолкал сюда? Люди хорошие, ума — палата. А какой здесь от вас толк?

— Ну, не лайся, Мизинчик. Ты благодари судьбу, что даем тебе кусок хлеба.

Он угрюмо замыкался и мычал в сторону:

— Подавишься этим куском, ядренцы...

Прогулка

Двор — квадратный, с высокими бурыми палями. От времени они покоробились, прогнили в разных местах; сквозь щели и дыры видны снежные сугробы в соседнем дворике женской секретной.

Я ослеплялся солнечной белизной и пьянел от морозного воздуха, звонкого, как молодой лед. Вверху только небо, а солнце — близко и осязаемо. Я чувствовал свою горячую кровь, и мне было хорошо, бодро, хотелось кричать и смеяться. Хотелось потрогать и погладить снег — ощутить его обжигающий блеск.

Товарищи отмеривали шагами дорожку, ползущую около палей, а черная фигура надзирателя (не Мизинчика) неподвижно стояла посредине двора, в ямке, вытоптанной в снегу. Что думал этот надзиратель, неизвестный по имени, бородатый, с незрячими глазами, голос которого я слышал только в окрике?

В этот день Прахов ходил замкнутый и сутулый, о чем-то сосредоточенно и сурово думал. Здесь, среди снега и неба, он казался чужим и далеким, и думы его были мне неведомы. Он только раз скользнул по

мне ресницами, белыми от инея, и глаза его издали показались слепыми.

Замятин форсисто брякал кандалами, задрав голову. Так же, как в коридоре, он размахивал руками и пел, сплетая одну песню с другой, меняя слова и мотивы. Пел и лукаво посматривал на надзирателя: он дразнил его. Надзиратель время от времени выходил из оцепенения и зыркал на него белками:

— Ма-альчать!..

Замятин никогда не надевал бушлата: он «закалялся» для предстоящей борьбы с природой, потому что будущее для него сопрягалось с бурными возможностями, полными невзгод и подвигов. Он, очевидно, и в камере не чувствовал каменных стен: кровь его не застаивалась — стены не мешали ему двигаться, шагать, размахивать руками и напрягать легкие: кричать, петь, смеяться.

Его голос был непослушно весел, как всегда.

— Ах, мороз-морозец, молодец ты знатный! Ходишь ты в сосульках, как чучело гороховое. Хочется мне сковырнуть этого гнусного стража. Вот идолище поганое!.. Я не хочу, о други, умирать — хочу любить... но не молиться и не страдать, черт возьми, а ломать ребра. Всех буржуазных поэтов — кобыле под хвост. Теперь должны родиться поэты победоносного пролетариата... Дорогу революционному искусству!..

Я шел около палей и смотрел в прорехи во дворик женской половины. Серыми тенями мелькали женские фигуры, и снежный огонь то вспыхивал, то погасал.

Я остановился и торопливо позвал в полуголос:

— Товарищ, задержитесь на секунду!..

На меня смотрело бледное лицо с морозным румянцем на щеках и на кончике носа. Глаза, открытые во весь размах, были холодны, пристальны и озабочены. И все лицо, с одной вертикальной морщинкой над переносьем, у левой брови, немного помятое тюремной ночью, точно спрашивало: зачем вы мешаете мне, когда я выполняю неотложную работу? Эти приглаженные до глянца волосы на висках оглушили меня неожиданным изумлением.

— Ольга! Ты здесь? Давно ли?

Она не изменилась в лице, встреча со мной будто совсем не обрадовала ее: будто она рассталась со мною только вчера.

— Ах, здравствуй!.. Я уже знаю, что ты здесь.

— Пройди еще круг, и мы опять встретимся. Хочу сказать тебе очень важное...

Она исчезла, и глаза мои опять ослепли от солнечных искр, летающих в воздухе.

Певучим перекликом зазвучали, засмеялись девичьи голоса по ту сторону палей.

— Товарищ, товарищ!.. Ну, подойдите же, товарищ!.. Мужчины!..

Горласто, по-мужичьи, кричала надзирательница. Этот голос спугнул их, как воробьев.

— Это анархистки, чертовы куклы. Демонстративные блудницы!...

Замятин жадно и пьяно заглядывал в щели и тяжело дышал от возбуждения.

— Это так называемый песок в революции, идущий на посыпку арены. Но ошибаетесь, голуби, называя их пеной, сором, накипью. Это необходимый элемент в армии бойцов, как знаменитые маркитантки в войсках Наполеона или сестрички в нашей японской трагикомедии.

Он шел позади меня твердо, легко и отзванивал кандалами бравый марш.

— Черт побери, я скоро буду ломать двери камеры: я так не привык жить. В воздухе носится беспокойство. Ты хорошо владеешь носом, Угрюмов? Если ты не страдаешь насморком и мозги у тебя не простокваша, то должен чувствовать, что камеры лопнут от взрыва. Мы задыхаемся и превращаемся в мумии. Мы должны открыть камеры. Этот черный мерзавец похож на паука, а снег — на паутину, и мы, как мухи, путляемся в тенетах. Это нужно немедленно уничтожить. Нам нужно завтра же объявить голодовку.

Накануне мы, как обычно, говорили с Праховым о голодовке. И опять мы долго не спали и волновались от неизбежности борьбы. Как староста, Прахов обходил камеры каждый день и, когда возвращался,

ругал матом анархистов. Они не отказывались от борьбы, но требовали для себя свободы действий: никакой диктатуры, никакой дисциплины, они будут поступать так, как им заблагорассудится.

— Объяви голодовку, и эти прохвосты будут провоцировать самым нахальным образом. Подожди ж, я их скручу арканом.

И мы говорили только о будущей борьбе и волновались от собственных слов.

А сейчас я думал лишь об Ольге. Почему она не дала знать о себе? Она осталась на свободе, когда я был уже закован в кандалы, а теперь она — здесь. Значит, организация разгромлена. Если уж она — изумительный конспиратор — в стенах этого сибирского централа, то что же с другими, которые учились у нее быть неуловимыми? Кто же был предателем среди них?

Замятин дышал, как лошадь, и пар от его дыхания клубился у моего плеча.

— Ты видишь, Угрюмов, как Прахов ворочает мозгами? Не гуляет, а пашет. Его тревожат анархисты. Черт с ними! Их малая горсточка, а за дезорганизацию их можно раздавить, как мокриц. Тюрьма делает людей кастратами: некоторые превращаются в юродивых, как преподобный Немилович, а другие по-бабьи бьются в истерике. Мерзость. Бурная гибель дороже безмятежного покоя. За предсмертные муки даже в лапах палача я отдам полвека мещанского счастья, а тем более тюремного успокоения. Итак, решено и подписано.

Митря ковылял у палей и жалобно мычал:

— Господин надзиратель, как бы насчет лопатки? Я бы снежок здесь побросал — дорожку расчистил. У мужика без работы брюхо болит, а руки — как коровьи хвосты.

Надзиратель не смотрел на него и урчал в бороду, учительно и строго:

— Ма-альчать! Шагай круговоротом и мальчи. Что есть арестант? Арестант есть человек, лишенный природного места. Ты есть не дерево, а пень, и сей корчуется в исполнение закона.

Прахов вскинул на него свои глаза и угрюмо крикнул:

— Страж! Заткни бородой глотку. Ежели ты на положении цепного пса, так не забудь: мы матерые волки. Молчи и держи это в памяти.

Надзиратель был невозмутим и неподвижен, как чучело.

— Я и так мальчу. Пес не пес, а мое дело мальчать и охранять закон. Это правильно.

Ольга опять смотрела на меня глазами, далекими от ее чувств. Я никогда не видел ее лица в минуты скорби. Я запомнил ее в день провала нашей подпольной типографии, когда я, затравленный, спасался от преследования полиции. Я увидел ее случайно на улице. Глаза ее, как всегда, были чисты и ясны, и лицо озабочено мыслью о текущих делах. Она успела только шепнуть мне:

— Скройся пока на кирпичном заводе. Пустая печь. Ночью приду.

А ночью я был там арестован.

Вот теперь ее глаза такие же неподвижные и льдистые. Она смотрела на меня, но я в них не отражался.

— Наша организация разбита. Все — по тюрьмам. Каторга и ссылка. Несомненная работа провокатора. Супруги Гельгеры остались на свободе. Были в тюрьме, но выпущены. А один из них ведь член комитета. Это загадка.

— А ты, Ольга? Может быть, вместе на каторгу?

Она улыбнулась ярко, как девочка, — улыбнулась впервые. Улыбка у нее всегда была неожиданной и проникновенной, и улыбку эту я всегда ждал, но она меня заставала врасплох. Смешная Ольга! Она совсем не изменилась: по конспиративной привычке она не ответит мне и в следующий раз. А если настоять — ответит невразумительно, сквозь зубы.

И — опять девичий смех и переклик у забора.

Замятин ласково ворковал со спазмами в горле.

— Милые девочки! Ваш анархизм такой простой и трогательный. Дайте дотронуться до ваших целомудренных пальчиков. Милые мои блудницы!..

— Товарищ, товарищ!.. Ну, сделай так, чтобы в одном этапе. Ну, сделай!.. Ну, миленький! ну, родненький!..

Снег горел изнутри огненно-сахарным блеском, и небо было близкое и прозрачное, как молодой лед на реке. Это наш мир, доступный нам ежедневно на полчаса. Этот отрезок вселенной раздвигал грани нашего зрения, и сердца наши ныли от тоски по свободе. Она, свобода, неощутима, как стихия, безгласна и будднична, когда плаваешь в ней и дышишь ею, но она — мучительный медленный яд, когда тлеет образами воспоминаний. И противоядие — только сама свобода или ее подстановка — иллюзия, созданная безумием.

Ольга была недостижима для меня. Она — тут, рядом, за деревянными палями, но она казалась мне призраком сновидения. Я ощущал ее дыхание, но не мог дотронуться до ее руки, не мог обнять ее и сказать ей полнокровного слова.

Серые бушлаты гуськом шагали около палей и дышали паром. Одни в кандалах, другие без кандалов. А кандалы играли на ногах весело и жутко. И в груди, где-то около сердца, волочились змеи. Около палей, где щебетали женские голоса, все тормошились, сталкиваясь и путаясь в толчее, рваными голосами перекликались, улыбались, как дурачки, и натужно отходили прочь, оглядываясь и раздувая ноздри.

Жмурки

В распахе двери стоял новый помощник, в тулупе и мохнатой папахе. Усы и растрепанная бородка стекали сосульками. Он в близорукой прищурке всматривался издали в камеру и похож был на случайного гостя, испуганного нутром наших казематов. Мы переглянулись с Праховым и оба подумали: четвертый сожитель? Черная борода старшого лошадиным хвостом лежала на шинели. Стоял он браво, и грудь его была широка и могуча, как у генерала. За их плечами выделялась баранья шапка Мизинчика.

— Староста Прахов, — в контору. Начальник ничего не понимает, что нацарапано в вашей бумаге. Он думает, что это бред сумасшедшего.

Прахов встал с койки и, засунув руки в карманы, сказал строго и назидательно:

— Скажите вашему начальнику, что он дубина. Прикатите сюда эту жирную бочку: пусть понюхает, чем мы пахнем.

Помощник махнул длинным рукавом.

— Старшой, проводи поверку. Я сам выясню, что надо.

Старшой взметнул бородой и шлепнул варежкой по волосатой папахе. Повернулся кругом-марш и скрылся за дверью.

Человек ввалился в камеру пухлым ворохом овчины и остановился вплотную перед Праховым. Лицо у него было маленькое, в нездоровой опухоли, тощее и бледное, сточенное на нет, в бородке. В длинных черных ресницах глаза казались грустными и отравно пьяными. Он пристально вглядывался в Прахова, улыбался через алкогольный жарок, выдирая из усов и бороды сосульки, и гримасничал.

Прахов сложил руки на груди и смотрел на него насмешливо и вызывающе. И по их глазам видно было, что они знали друг друга, но играли комедию, как враги.

— Так вот... уважаемый Прахов... Что? Думал, что исчез, как таракан в щелке?.. Дынников — вот, и — в такой же шкуре...

Прахов был спокоен и непроницаем. Он быковато, вприщурку смотрел на помощника и усмехался с любопытством человека, отвыкшего от забавных зрелищ.

— В чем дело? Вы тычете не в бровь, а в пустое место.

— Та-та-та, шкура дрожит, как на кошке... Как? Революционер!.. как оно... да, да, Прахов...

В этом человеке была какая-то червоточина, которая не давала ему покоя. Роль тюремщика совсем не шла к нему; он носил эту нелепую маску, как я — кандалы. Здесь была непонятная мне игра, и они оба ловили друг друга с завязанными глазами.

Вдали, по коридору, громыхали замки. Флейтами пели двери и глухо вздыхали, выдавливая воздух из камер.

Прахов вскинул на меня вздрагивающие веки; глаза его кружились осовело, слепо. Они лгали, притворялись и прятались внутрь за судорожную усмешку. И я не мог понять, почему они обманывают друг друга, почему они, пойманные и тем и другим, фальшиво водят друг друга за нос? Впрочем, фальшивил только один Прахов. Может быть, у него была тайна, которую знал помощник Дынников, и он боялся, чтобы я не узнал ее?

— Скажи-ка, Угрюмов: ты что-нибудь понимаешь в этой антимонии?

Я замкнуто и отчужденно промолчал.

Дынников близоруко посмотрел в мою сторону, точно впервые заметил мое присутствие, и засмеялся. Это был не смех, а что-то вроде недоуменного клохтанья:

— Хлык-хлык-хлык...

Но глаза были переутомлены неугасимым возбуждением и жили своей, отдельной жизнью.

— Так-с... Ты хочешь быть страусом?.. Великолепно! Ведь я тоже умею играть в жмурки и не хуже тебя.

Прахов кашлянул и весь передернулся.

— Ну... нечего болтать языком. В чем дело?

Они пристально и близко касались друг друга, и в их переглядке было больше скрытого смысла, чем в их необычных словах. В этой их немой борьбе глаз струною натягивалась непостижимая для меня ненависть.

Дынников уже не говорил, а шептал, и этот шепот был похож на бред сумасшедшего.

— Наталья Ивановна, твоя супруга, просит свиданья. Но ей скорее нужен доктор, чем ты. Ты и ее не знаешь? Хлык-хлык...

Прахов выпрямился и отошел от Дынникова. Лицо Дынникова коверкалось улыбкой.

С огромным напряжением воли Прахов встряхнулся и твердо поставил себя на ноги.

— Ну, довольно... позабавились... Здесь сидит только Прахов. Тем, кто интересуется моей судьбой, скажите, что я здоров, как стоялая лошадь.

Дынников взмахнул полами шубы и вышел в коридор. Камера после него стала пустой. Дверь метнулась из коридора и с визгом захлопнулась. Прахов подошел к волчку, постоял немного, подумал и прислушался.

Если в бездонные часы нашего сидения в камере Прахов рассказывал о баррикадах, об уличных боях, о том, как он два дня держался с горсточкой людей против регулярных солдатских частей, о своем бегстве из тюрьмы и скитаниях по России, — то почему он ни разу не упоминал о Дынникове, о женщине, которая стояла между ним и этим тюремщиком? Какие нити связывали его с этим человеком? Я не мог взглянуть ему в лицо и знал, что он тоже не смотрит на меня. Внезапно и незаметно между нами выросла мугная тень. На одно короткое мгновение мы встретились глазами, и в его глазах вздрагивала пытливая и знающая насмешка.

Он опять отвернулся и быстро наклонился над волчком. Выдыхая каждое слово отдельно, он выгибал колесом спину и напирал на дверь, точно хотел ее выдавить.

— Товарищи! Требуем начальника тюрьмы. Мы не допустим, чтобы с нами обращались, как с собаками. Мы не можем терпеть этого варварского режима. Мы объявляем борьбу не на живот, а на смерть. Не надо поддаваться провокации: все — как один. Начальника тюрьмы, товарищи!

Вперерез ему кричал, захлебываясь, чей-то юношеский голос:

— Товарищи! Тут не может быть никаких разговоров... Вспомните, товарищи, как мы боролись... Нам нечего терять, кроме цепей, товарищи...

Где-то колотили в дверь несколько ног, и издали коридорные пустоты грохотали огромным барабаном. Кто-то свистнул пронзительным разбойничьим свистом. Задрожали стены, и по коридору завыли порывы

ветра. Несколько голосов, заглушая друг друга, надрывались, как в истерике:

— Долой!.. Подавай сюда мерзавца!.. Голодовка! Голодовка!.. Долой палачей!..

В бурном смятении ожили могилы, и двери в железной броне заскрежетали замками. Я слышал только вой стен, лязг и гром железа: так не могли потрясать столетних сооружений простые человеческие крики, а ярость людей, которые сейчас копошились в этих кубических ямах, была ничтожна, чтобы вызвать трепет сырых казематов.

Митря сорвался с койки и с разбегу грохнулся в железную обшивку. Забухала дверь и задребезжала на петлях. Прахов стоял в углу, около двери, и оцепенело прислушивался к буре, которую он вызвал сам. Он будто не хотел принимать участия в этом бешенстве и стоял, спокойный и равнодушный, теребил волосы из бороды и усов, тянул их в рот и откусывал кончики.

Грохотали двери, и рев толп и звон кандалов потрясали стены, бушевали в рыжем сумраке пустынного коридора, срывая грязь и пыль со штукатурки. Ветер ворвался и в нашу камеру. Неудержимо хотелось броситься к двери, закричать изо всех сил и забарабанить в железо и руками и ногами. Задыхаясь, я схватил табуретку и со всего размаху бросил на пол. Она была уже старая и от удара разлетелась в щепки. Толкаясь о койки и падая на них, я прыжками добрался до двери и начал стучать в нее кулаками, ногами и головою. Что я кричал — не знаю, но кричал до хрипа, до изнеможения. Около моего лица брякнула связка ключей, и черная борода метнулась в волчке конским хвостом. Там, за дверью, бегали по коридору надзиратели и выли вместе с заключенными.

Это были не камеры, а клетки зверинца. Это был рев, визг и стоны людей, закованных в железо, обезумевших в неволе.

У моих ног лежал Митря и топал ногами в дверь. Вероятно, он тоже орал, но я не слышал, потому что не слышал себя.

Сильные руки рванули меня за плечи и отбросили назад. Прахов смотрел на меня злыми глазами. Он подошел к Митре и ударил его ногою. Митря внимательно и испуганно взглянул на него, послушно отполз к параше и сел, крепко связав руками колени.

Прахов сгорбился над волчком, но в то же мгновение оглушительно брякнула связка ключей по волчку. Этот удар отбросил Прахова назад. Он прикрыл ладонью рот и пристально посмотрел на меня с младенческим изумлением. Потом медленно отнял руку ото рта и так же пристально и изумленно посмотрел на ладонь. Пальцы были в крови.

Грохот и рев затихали. Волны бунта откатывались в тишину. Камеры опять всасывали жизнь в свои утробы: двери были слишком тяжелы и надежно закованы.

Старший надзиратель бегал от двери к двери и хрипел, размахивая ключами:

— Ах вы, дармоеды!.. Ошметки поганые!.. Я покажу вам, где раки зимуют, мерзавцы!..

Точно впервые, я увидел ремни, которые опутывали его крест-накрест: в этих ремнях был весь ужас грозной фигуры. Он мог делать все: и быть палачом, и пороть каждого из нас, и проламывать ключами черепа. Это он приходил в глухие ночи беззвучной поступью в камеру смертников и бородой своей и ремнями убивал людей еще до виселицы.

Затихала последняя волна потухающих голосов. В квадрате волчка уже тускло мерцала пустота, и попрежнему призрачно рокотало эхо далеких успокоенных движений и перезвона кандалов.

Я лежал на койке и тяжело дышал от пережитого потрясения. Митря сидел, поджав под себя босые ноги, по-турецки и ржал жеребенком. Он смотрел на разбитую табуретку и качался вперед и назад.

— Как он брякнул ее!.. Вот достукался, сопатка!.. На чем же сейчас сидеть-то будем?.. Как это я раньше не догадался? Я бы всю ее измочалил, осина-борона...

Прахов шлепнул его по спине и затрясся от смеха.

— Ну, что, деревня? Здорово я тебя саданул по заднице? Ничего, брат: казаки больнее драли.

— Что ж, что казаки? Казаки — за дело. А ты что ногам волю даешь?

— Да дуботол ты этакий! Чего ты прешь, как бык? Тут с умом надо, а ты под ногами треплешься. Детина!

Это внезапное добродушие и веселая болтовня Прахова, когда у него еще алели капли крови на бороде и рубашке, казались мне некстати: в них не было искренности — голос был фальшив и беспокоен. Оттого ли, что я был свидетелем их странной игры с Дынниковым и почувствовал какую-то тайну в переплетении их жизней, или оттого, что его оглушило имя женщины, которая была рядом, за стенами тюрьмы,— он волновался. В этот миг что-то чужое и враждебное было в его движениях, в платье, во всем его облике.

Бунт

Впереди шел Дынников, размахивая лохматыми полами тулупа. Длинные космы папахи трепались по лицу, и глаз его не было видно. Нос был нервный и твердый, будто роговой.

За ним огромной глыбой, переваливаясь с боку на бок, колыхался начальник тюрьмы Мамырин, иначе — Мымря. Под белой косматой папахой лицо его лежало на вздутой шинели красным куском мяса. На дряблых складках и отеках кожи скудно мохрилась серебристая шерсть в клочках и плешах. Глаза были бесцветные, маленькие, утомленные. И весь он был не человек, а монгольский бурхан, с влажной улыбкой алчного благодушия.

Позади, конвоирами, — старший надзиратель с угрожающей бородой и просто надзиратель с длинными жандармскими усами вразлет.

Мы с Праховым стояли рядом около двери своей камеры, а у волчков по всей линии коридора дежурили жадные глаза.

Мизинчик бренькнул ключами, отмахал три шага вперед и сделал налево-кругом.

— Смирно!

Прахов добродушно ухмыльнулся:

— Полегче, Мизинчик, а то штаны порвешь от усердия. Пугало!

Не видя нас, раздавленный собственной тяжестью, Мымря боролся с одышкой и никак не мог устойчиво стать на одном месте. Дынников был замкнут и почтительно напряжен. Он прятал глаза под папаху, но мне чудилось, что они светятся под черной шерстью кошачьими огоньками. Это он приказал открыть нашу камеру, это он притащил сюда Мымрю и изломал обычный распорядок тюрьмы. И в голосе его, и в словах, и в жестах было что-то тревожное, неустойчивое, совсем не свойственное застывшему каменному покою старой секретной.

Мымря в ответ на команду Мизинчика, как глухое эхо, промычал устало и рыхло:

— Здорово, господа!

Заложив руки в карманы, мы молчали. У нас было так положено — не отвечать на приветствие тюремщиков. И когда во время поверки отворялась дверь камеры и надзиратель кричал обычное «смирно!», мы старались усердно и любовно смотреть друг на друга, болтать всякий вздор и делать вид, что решаем вопросы философского значения.

Прахов вышел вперед, на середину коридора, и, выщипывая волосы из бороды, уставился в пол.

— Мы потребовали вас сюда...

Мымря дрогнул, и лицо у него стало сизым и влажным.

— Эт-то что такое?.. Я не допущу, чтобы государственные преступники нарушали правила тюрьмы. У них не может быть никаких требований. Тюрьма должна быть и будет тюрьмой.

Он свирепо посмотрел на Мизинчика и с усилием поднял раздутую руку.

— Почему не на месте арестанты? Эт-то что такое? В камеру!

Но из волчков рвались голоса:

— Долой эту скотину, мерзкую квашню!..

— Харкните ему в толстую морду! Бери на абордаж, Прахов!..

Прахов пощипывал бородку и, ухмыляясь, посматривал на Мымрю из-под бровей.

Я шагнул вперед, и звон кандалов раскололся стеклом в груди.

— Этот ваш хамский язык — долой! Мы не позволим над собой издеваться... Довольно!..

Прахов тоже шагнул вперед и стал со мною бок о бок.

— Наши требования вам известны. Я могу повторить их еще раз. Ни на какие уступки мы не пойдем и объявим голодовку.

Мымря дергал головой, точно его схватили за горло. Он перевалился в сторону Мизинчика и заревел придушенным хрипом:

— Как ты смел открыть камеру, мерзавец? Я тебя под суд отдам, каналья...

Мизинчик безмолвно вытянулся, неуклюже вскинул руку с ключами к шапке, и глаза его стали пустыми и мутными, как у слепого.

Дынников вполуоборот стал перед Мымрей и с наглой почтительностью изогнулся перед ним.

— Камера открыта по моему распоряжению. Староста во всякое время имеет право требовать открытие дверей по делам секретной.

— Не забывайтесь, помощник. Только с моего разрешения.

— Никак нет. С разрешения дежурного помощника.

С секунду они неподвижно и пристально смотрели друг на друга, и Мымря, укрощенный, сразу обрюзг.

Прахов как будто не прерывал своей реплики и с прежней усмешкой упрямо смотрел в пол.

— Я еще раз повторяю наши требования: камеры должны быть открыты на целый день между поверками, свободный доступ газет и книг, свидания с политическими женщинами, хозяйственная коммуна и непосредственное наблюдение над кухней, еженедельно — баня.

Прахов не успел докончить последних слов: камеры бурной волной ринулись в коридор. Стены опять задрожали ревом и бешенством:

— Долой палачей!.. Долой варварский режим!.. Никаких уступок!.. Голодовка!.. Голодовка!..

Этот бешеный гам и грохот запертых ржавым железом дверей оглушительным шквалом опрокинул чинную строгость черных фигур. Они сбились плотно, плечом к плечу. Глаза беспокойно блуждали по пустоте коридора. Дынников оставался по-прежнему неподвижным и нервно замкнутым. Мымря таращил белки на Прахова и чавкал от удушья. Старший надзиратель, с пьяным переливом в глазах, угодливо склонился к белой папахе Мымри.

Дрожа и задыхаясь, я нелепо замахал руками и крикнул, срываясь на визг:

— Мы будем бороться до последних сил. Это имейте в виду. Мы вызовем бунт во всей тюрьме. Мы не боимся ваших угроз. Мы объявляем голодовку!

И странно: Мымря растерянно посмотрел на меня и облизнул мясистые губы сухим языком. Потом поглядел на Прахова и на Дынникова, вздохнул и беспомощно забарахтался в своем непосильном ожирении.

— Господа! Разве это от меня зависит? Я исполнитель законов. Бесполезно, господа. Законы нерушимы. Ах, господа, господа! Что вы затеяли, что затеяли!.. У меня очень тяжелые обязанности, и вы вносите большие осложнения. У меня образцовая тюрьма и никогда не было таких беспорядков. Для вас же хуже будет, господа: навлечете на себя репрессии и преследования.

Двери трещали и скрежетали жестью. Я слышал усталое дыхание толп по всему размаху коридора и чувствовал, что все напряженно ждут очень близкого конца.

Вдруг Мымря опять рассвирепел. Сизый и багровый, он только хрипел и обильно брызгал густой слюной:

— Я вас в бараний рог согну, паршивая крамола!.. Я сгною вас!.. раздавлю, как тараканов!.. Я вас пороть буду, как сидоровых коз... Взять этих псов и запереть их без права прогулок на неделю!

Прахов был спокоен и стоял твердо, уверенно, пощипывая бороду и ухмыляясь.

— Не орите, пожалуйста... мы — не быки.

Двери грохотали и бухали от ударов ног, кулаков, табуреток. Ветер полыхал по коридору и крутил пыль. Уже ничего не было, кроме звериного рева, визга, хрипа, лязга. Где-то ломались и крякали доски, и в двери оглушительно нажаривали палками. Этих людей можно было только истребить огнем, чтобы восстановить тишину.

Прахов повернулся и шагнул к открытой камере. Но сразу же споткнулся и остановился, точно этот бушующий вихрь отбросил его назад. А я кричал исступленно:

— Стой!.. Не уходи, Прахов!.. Не смей уходить!.. Мы должны довести дело до конца...

Потом я ринулся к Мымре и, замирая от восторга и свободы, потрясал перед его лицом кулаками.

— Я не пойду в камеру... Выбросьте отсюда эту бородатую собаку... Убейте меня, но я не пойду... Мы не позволим этому негодяю выбивать зубы ключами... Мы не допустим, чтобы вооруженные барбосы обращались с нами, как со скотиной... Вы можете переломать мне кости, но вы будете иметь дело не со мной, а со всей тюрьмой... Вы будете плавать в нашей крови, но вы захлебнетесь и погибнете, черт бы вас побрал, палачей!..

Я помню, что я вырывался из рук Прахова, помню, что разорвал ему ворот рубахи и путался в своих кандалах.

Потом все провалилось в преисподнюю, и на меня обрушилась большая толпа. Рычали, кряхтели мне в лицо и больно ломали руки. Я смутно слышал, как хрюкал Мымря:

— Волоки его, мерзавца, в карцер! Волоки его, каналью!..

Я бился в руках надзирателей и, в последних порывах сил, с отчаянием чувствовал, что я жалок и ничтожен, что этим зверям ничего не стоит раздавить меня, как червяка.

В карцере

Я полетел в черную дыру и с размаху ударился головою о камень. Брызнули искры, будто раскололось стекло. И звон стекла заныл мучительной болью под черепом. Лежал я в полусознании, без ощущения времени, и только страдал от бессилия: я не мог разжать челюстей — зубы точно срослись и хрустели в деснах.

И когда боль и огненный звон растаяли в голове, я почувствовал, что дрожу неудержимо, потрясающе: будто ледяная тина всасывала меня в свое болотное нутро и замораживала медленно и неотвратимо.

Я лежал на полу в непроницаемой тьме и безмолвии. Холод был тяжелый, удушливый, с запахом отхожего места. Дрожь струилась откуда-то из нутра, из сердца, и я никак не мог совладать с собою, чтобы сделать мускулы свободными и гибкими.

Я встал, но устойчивости не было в ногах: они дрожали, сгибались в коленях, и кандалы плескались бубенчиками. Пальцы скользнули по стене, и я не мог понять — иней ли это пушился на камне, или плесень, замороженная мраком. Два шага — другая стена. Потом — провал: железная дверь, должно быть такая же, как в камерах. Шаг — и опять стена. Параши нет. Под ногами мерзлые комки и выпучины — должно быть, человеческие испражнения.

Одиночество в камере — одно, одиночество в карцере — другое. Когда есть свет, который стекает из мерзлого решетчатого окна и туманно пылится по камере, — мир вспыхивает в душе образами неугасимых воспоминаний: события, которые никогда уже не повторятся, ярко и осязаемо трепещут перед глазами. Невидимые стены — это тьма, сгущенная в камень.

Я ползал около стен, тыкался руками и плечами в мерзлую слизь, скользил по обледенелому полу, и мне чудилось, что на стенах нарастают новые слои льда и тьма твердеет, кристаллизуется, замораживает руки и ноги, и они тоже превращаются в куски льда, а неудержимая дрожь тает в них, сливаясь с мраком. И не

мозгом, а всем существом я мучительно ждал неизбежности: пройдет еще час, и я окоченею и угасну навсегда. Иногда я со страхом чувствовал, что мрак пустоты и мрак стен вдруг колыхались волнами и невесомо плыли, как мыльный пузырь. И стены и пол вдруг исчезли в своей твердости и беззвучно кружились вокруг меня спокойным воздушным потоком. Я терял опору и, замирая, летел в пропасть. Вероятно, это было только на несколько секунд, потому что сейчас же ощущал омерзительный холод на лице. Я садился и старчески горбился: весь был непереносно тяжелым и дряблым. Неощутимый полет стен и пола все еще вихрился головокружительным незримым смерчем.

Я много раз садился на пол, опираясь спиною о стену, и застывал, потрясаемый еще не остывшим бешенством.

Мерзавцы, они бросили меня в эту мерзлую яму, чтобы убить во мне силу сопротивления. Тупые ослы! Они не знают, что я сильнее их и меня нельзя победить. Если бы они могли заглянуть под крышку моего черепа и исследовать мою кровь, они пришли бы в смятение. Они хотят взять меня холодной пыткой — превратить меня в замороженный труп. Они знают, что делают: они знают, что безмолвием и холодной тьмой можно убить человека.

Но ведь это для слабых духом, а я смеюсь над ними. Вот они придут к моей могиле и злорадно будут скалить зубы. Они думают, что я буду ползать по зловонному полу и просить пощады. Этого не будет. Я встречу их на ногах и посмотрю на них с презрением, и они будут бессильны в своей ярости. Мне — хорошо, потому что там, за стенами, светит солнце и снег искрится звездами. Я вижу небо в полете и пью его, как вино. Я обнимаю землю, такую родную, неотделимую, беспокойную, горящую пожарными зорями в горизонтах по вечерам и в предутренней мгле.

Я чувствовал всем своим существом горячее сердце своих товарищей. Я знаю, что они думают обо мне и бурно требуют моего освобождения.

Из стен тягучей патокой стекала морозная сы-

рость, вливаясь в позвонки, и холодной кровью расползалась по жилам. И эти ледяные струи вливались в сердце, и сердце сжималось и тоже дрожало, перебивая свой ритм. На ногах уже не было кандалов, и когда я делал усилие пошевелить пальцами — не было пальцев. Я вставал, чтобы немного согреться, но падал, спотыкаясь о горбатые потоки мерзлой мочи и комки испражнений. Опять вставал и бился плечами о стены. Прыжок вперед — стена и удар плечом о камни; прыжок назад — стена, удар другим плечом. Я сгибался, скручивался, как еж. Горбуном елозил по карцеру и не мог остановиться. Бился о стены и не ощущал боли. Но боль была повсюду: она волновалась ударами сердца и скрипела внутри — в мозгу, в зубах, в мускулах, в животе...

Я падал и опять поднимался. Потом изнемог. Пусть. Все равно. Так — лучше и теплее.

Может быть, это было полусознанье, оцепенение, может быть я медленно замерзал.

...Тепло и уютно, и койка такая мягкая, как колыбель. Прахов смотрит на меня немного выпуклыми глазами, и они дрожат знающей усмешкой. Он наваливается на меня и сжимает железными руками.

— Не смей кричать, черт! Кто тебе сказал, что борьба — это бунт ради теплого, безмятежного гнезда? Плюй ему в рожу. Борьба — это не бунт, а тяжелая работа по прокладке дороги в бесконечное будущее. Мы — мятежники против всякого устойчивого благополучия. Мы — вечные мятежники...

А я беспомощно барахтаюсь под ним и кричу, как ребенок:

— Ты взгляни, Прахов... Вот он... Это Митря треплется под ногами... Это он топчет все, как скот...

А Митря хохочет где-то рядом, слюняво, как кретин.

Это ломает мне кости старший надзиратель и плюет в лицо омерзительной слизью. И жирный клокочущий хрип Мымри проходит через меня невыносимой ломотой:

— Я вас в бараний рог согну, мерзавцы!.. В карцер его, подлеца!..

...Вспышки пожарного зарева. Топот огромной толпы. Ночь. Выстрелы. Я с винтовкой лежу на камнях, на обломках дерева и стреляю во тьму. Около меня шевелятся и ползают черные тени. Кто-то корчится рядом и мычит одним нутром: мм!.. мм!.. Ко мне подползает кто-то сбоку и тормошит за плечо. Я оглядываюсь и четко различаю зубы, клочкастые усы и глаза в огненной слизи.

— Что ты, очумел, что ли? Беги к черту!.. Все погибло... Беги!...

Тень прыгнула во тьму, раскаленную заревом, и я срываюсь с места и бегу за нею, слепой, оглохший от страха, и не знаю, куда бегу. А всюду — выстрелы, хриплые крики, звон разбитого стекла и топот толпы.

Я становлюсь легким и крылатым. Меня подбрасывает плавно волна мертвой зыби, и Немилович улыбается с восторженной влагой в глазах.

— Только — солнце, только — весна... Небо такое родное и близкое... Оно волнуется и брызжет, как море... Ведь только в себе несем мы весь мир... Только радость ощущений есть подлинная радость существования...

Так тепло и легко! Земля в фиолетовых волнах предгорий. И небо в вечернем ущербе. По усталым полям льется хрустальным звоном музыка. Плещутся кандалы на изнуренных ногах. Толпа серых бушлатов колышется по комкастой пепельной дороге, в бесчисленных колеях. Дрлынь, дрлынь... Идет-идет длинной, серой, безликой грядой... далеко, по бесконечному столбовому пути. И поют стонущие голоса, вздыхают в похоронной скорби:

Россия, Россия,
Россия моя...

А в стену царапаются пальцы, и стена кричит, и в стене — обнаженные десны:

— О-о... я не могу... товарищи... спасите меня...

И опять — потухающее небо, покрытое бурой окалиной, и поля в смятых, спутанных жнивьях. Музыка... она тает, рождается, опять тает: дрлынь, дрлынь...

Очнулся я в камере. Около меня, на койке, сидел Прахов с усмешкой смущенного участия. Золото его волос было необычайно ярко, необычно прозрачно. Окно, зеленое и тусклое от хлопьев инея, отчеканивалось перед глазами черными переплетами железной решетки. Стена, где было раньше мое изголовье, темна и далека, как в тумане. Митря был тоже далеко — его голос вздыхал слабо, глухо, будто из подполья; слов нельзя было разобрать — они были меньше его голоса и растягивались в ниточку.

Прахов подмигивал мне ласково и дружески-интимно:

— Ну как, брат? Тонка же у тебя кишка: не выдержал в карцере и суток. Еще бы немного — совсем бы закоченел. Все-таки немножко прихватило: обморозил пальцы и уши. Слышишь, какая благодать? Тишь, строгость... Умереть успеем, а в болезни человек бывает сильнее в подходящий момент, чем в добром здравии...

Он рассуждал с удовольствием, со смаком. Лицо его было необычно молодо, празднично. Глаза сухие, с хмельцой, с искрой. И в движениях нервная напряженность, озабоченность, тревога, точно он хотел сказать мне на ухо какое-то важное слово, но не решался.

— Дело идет дружно. Из-за тебя бузовали почти всю ночь и это утро. Ввели солдат. Тюрьма на военном положении. Имей в виду, что анархисты могут провалить... А тут еще — видишь? Уж мужичье брюхо захрюкало.

Ревущий кашель рвал мне грудь. Я задыхался. Во рту сухо, и все тело сухое, обсыпано горячим песком.

— Прахов, дай мне, голубчик, воды.

Он взял со стола кружку, и у него дрогнули брови от ехидной усмешки.

— А может быть, хочешь покушать?

Я отвернулся к стене.

Он засмеялся и приподнял меня.

— Ну-ну, не егози. Пей, лучше набирайся сил — на водичке и святые с чертями дрались.

Кружка задребезжала у меня на зубах. Вода показалась мне вонючей и густой, как масло.

Прахов тихо и раздумчиво говорил:

— Надо быть начеку и глядеть в оба. Теперь кровь стала провокаторская и воздух загажен предательством. Нужно ко всему быть готовым. Когда человек получает хорошую затрещину, он прячется за чужую спину и подло тычет в рожу соседа: это — он! Мерзота! Признайся, какой бес прыгал в тебе... в этой истории с Дынниковым? Ну-ну, ничего, я и так знаю. Что поделаешь, такое время... зыбкое, черт бы его подрал. А о Дынникове я тебе расскажу как-нибудь. Этот анекдот самый простой. Что такое Дынников? Кувыркается он над обрывом — зацепился штанами за сучок — и никакой спорыньи. Так, одна бестолочь, а вот — душу мутит.

Прахов коренаст, широк костью, череп у него большой, в шишках, топорной работы, основательный и надежный. Мне было хорошо от его близости, и мое недоверие к нему тяготило меня: оно было нелепо, глупо, омерзительно.

— Прахов, ты прости меня от души. Все, что было между нами, это дичь, дурман.

Он отодвинулся и посмотрел на меня сбоку, по-птичьи.

— Да ты что? Чудак ты. Обижаться я не привык, а вернее — отвык. Это плевое дело. Надо одно: или бить, или в обнимку идти. Другое для нас не писано.

И он погладил меня по одеялке.

...Это глубокое безмолвие полно зловещего смысла и суровой торжественности. Это чувствуют надзиратели, которых мы не видим, которые уже не гремят ключами. Чтобы не пугать тишины и не тревожить успокоенных стен, они надели валенки и ходят неслышно, как тени. Но я чувствую, как живут камеры. Я вижу сквозь стены всех этих людей, которые связаны со мною общей судьбой. Стрекочут стены и движутся. Лица — множество отечных, бледных лиц — смотрят на меня пристально, и в этих лицах я вижу себя. Они колышутся передо мною, дышат, наваливаются на меня, тускнеют и опять появляются, четко

и выпукло. И стрекот, шорохи, кандальный всхлип... Потом — опять тишина погреба. А потом — опять стрекот, беспокойный в биении сердца.

В голове ясно и свежо, и во всем теле легкость и покой, образы реют, как облака, в лазури. Это отдельные миги, обрывки событий, клочки картин, не люди, а их лица, улыбки, глаза и жесты. Волчки и глаза.

А потом — забытье.

Зеленая полянка в лесу. Она в солнце и искрится золотом. Ромашки горят звездным засевом, и лиловая кашка клевера вкусно кудрявится в опаловых злаках, а метелки злаков колышутся огоньками свечей. И серебром трепещут в небесной синеве, живые в полете, мотыльковые листья осин. А вверху — небо в весеннем опылении и облака — плавающие сугробы.

...Это — Ольга в глянце волос на висках. Глаза у нее отодвинуты к скулам, и от этого они кажутся огромными. Две морщинки: одна — ямочкой в середине переносья, другая — стрелкой у левой брови. Почему она, Ольга, смотрит на меня так загадочно и отчужденно?

Прахов обнимает меня железными руками и бросает на койку. Я открываю глаза и встречаю его взгляд, насмешливый и пристальный.

— Ты опять бредишь, друг? Это не годится. При голодовке нельзя много лежать, а то можно скапутиться. Ты не сердись, если я буду тревожить тебя. При твоей слабости дело может получить худой оборот.

Однажды вечером призрачный телеграфный стук запрыгал по стене. Капелью струились в мозг отдельные частицы слов и оживали нервным трепетаньем. Это смертники. Прахов чутко прислушался, сел на свою койку и приложился ухом к стене.

— Мы не пьем воды.

— Нас должны скоро повесить.

— Едва ли успеем умереть раньше.

— Думаем вскрыть жилы.

Прахов смотрел на меня изумленно и растерянно.

— Ты слышишь? Что им ответить?

И, не ожидая моих слов, схватил кружку со стола и стал выстукивать:

— Не давайтесь живыми.

— Все средства хороши.

— Мужайтесь.

И — опять тишина.

Вечерняя поверка шла обычным порядком. Открылась дверь, и на пороге — Дынников. В последний момент Дынников шевельнул спутанными усами в затаенной усмешке и сказал брезгливо и нервно:

— Ну-ка, идите, староста Прахов. Прокурор вызывает в контору. Проводи, надзиратель. Дверь камеры оставить открытой.

Прахов накинул бушлат, улыбнулся мне прищуркой и вышел в коридор.

Как воры, почти беззвучно, надзиратели отпирали замки, украдкой двигали засовами, плавно распахивали двери, замирали в молчании. Потом опять с боязливой осторожностью запирали двери и шли дальше, как по сухому песку. Там, в ночной глубине коридора, шаги совсем таяли, растворяясь в пустоте

Дверь призывно распахнута в коридор. Неудержимо хочется выйти и вздохнуть полной грудью. Нет, что-то другое. Надо что-то сделать неотложное, большое, — сделать сейчас, немедленно, иначе будет поздно...

Борясь с невыносимой болью в ногах и руках, я раскорякой, на пятках, заковылял из камеры. Во внутренностях была пустота и горячие угольки. Не голод, а нудная боль: будто все, от горла до живота, рассасывается и сохнет. Плавно, со звоном и подземным гулом, огромной махиной кружатся стены, пол и дыра в коридор, — кружатся около неуловимого центра и не могут сделать полного круга.

Дыры в стенах — и вправо и влево. Там только шорох и глухие голоса. Но я чувствовал дыхание этой двери и призывную возню за волчками. Если бы успеть! И не знал, зачем я вышел и что мне нужно сделать в коридоре. Я стоял, прислонившись к косяку, вспоминал и мучился. Вдали звякали замки и вздыхали двери, и черные тени толкались друг о друга.

Да, вспомнил. Нужно подойти к двери смертников

и посмотреть в волчок. Только посмотреть, и больше ничего. Дверь — рядом, в трех шагах. Для того чтобы дойти до нее, мне нужно было побороть мои кандалы: они давили ноги до стона (нижняя часть голени наливалась опухолью, хотя подкандальники были толсты и тверды, как дерево). Сдерживая крик, я с трудом переставлял ноги и со страхом чувствовал, что я не успею пройти это маленькое расстояние: или упаду, или на меня обрушатся надзиратели. Я задыхался от волнения, хватался за стену, но руки падали вниз: они не выдерживали тяжести тела. Пальцы, обмотанные тряпками, раздирались огненной болью от прикосновения к камню. Еще один миг — и я спрячусь в квадратной впадине.

Позади, очень далеко, обрушилась какая-то тяжесть и загремела цепями. Может быть, это брякали мои кандалы, а может быть, звенел ключами бегущий ко мне надзиратель.

Я стукнулся плечом о дверь и схватился за волчок. Стены камеры — только на взмах обеих рук. В копотном пузырьке ночника — сердечко пламени. У стены, и ближе и дальше, чернеют глазными провалами черепа. Я не видел человеческих фигур в складках одеял. Койки были плоски, без очертаний, а на серых подушках — только черепа.

Я звал их, а у меня не было голоса: я кричал беззвучными спазмами в горле и уже ничего не слышал, кроме этого крика внутри.

— Товарищи!.. слышите?.. товарищи!.. Вы живы, товарищи?..

И сразу, точно по команде, черепа поднялись вместе с одеялками и в ужасе смотрели на меня пустыми глазницами. Они так и застыли в этом положении, как мертвецы. Один из черепов внезапно подпрыгнул над одеялкой. Маленький, худенький человечек сполз с койки, потом упал на колени, вцепился в одеялку, не удержался и кувырнулся на пол. Заползал между стеной и койкой и задохнулся от крика:

— О-ой!.. о-ой!.. Я не могу!.. о-ой!..

Вздрагивающая рука цепко держала меня за ворот блузы и всею тяжестью лежала на спине.

— Опять в карцер захотел, сволочь поганая?.. Я тебе, дармоед, всю рожу изувечу...

И со страшной силой бросил меня куда-то в глубину коридора. Я полетел в пропасть и оглох.

Потом на койке я лежал беспомощный, несчастный и плакал неудержимо, навзрыд:

— Дорогие товарищи!.. дорогие товарищи!..

Сквозь слезы, заливающие глаза, я видел Дынникова. У него вздрагивали усы, маленькие глаза смеялись, а голова дергалась в сторону, точно он подавал мне какие-то условные знаки.

— Не ревите! Что вы нюни разводите без толку? Бойцы вспоминали минувшие дни...» Эх вы... Бунтари и герои!..

Потом забормотал невнятно, про себя, как в бреду:

— Черт его знает... Никак и ни в какую!.. Требуха... Понимаешь, она уже убита... Черт его знает... понимаешь... а он и в ус не дует... Хлык-хлык...

Сразу повернулся по-военному и подошел к койке Митри.

— Ну, каково, агрария? Брюхо — не барабан: пустоты не любит. Так, что ли?

Митря, весь измятый, вихрастый, с потухшими глазами, сел, и у него затряслась нижняя губа.

Дынников засмеялся и шлепнул его по спине.

— Ну, что? Хлебца хочется? Заяви — тебя переведут к уголовным. А там тебе... хлык-хлык...

Митря в страхе вытаращил глаза, порывался защититься от слов Дынникова и затравленно хватался руками за койку.

В дверях камеры появилась черная фигура старшего надзирателя, и издали, над конскими волосами бороды, хищными искорками вспыхивали его глаза.

Лицо Дынникова стало замкнутым и мертвым.

Прахов вошел бодрый, умытый морозом, и на ходу броском швырнул на свою койку бушлат. Крякнул, шлепнул ладонями, засмеялся вприщурку и опять крякнул.

— Ну-с, значит укрепляем позиции для длительной осады. Милое дело! Будем, как говорится, питаться собственным мясом.

Дынников взглянул на него ехидно и вышел из камеры. Дверь плавно замкнулась и грохнула замком. Когда устоялась тишина, Прахов подошел к волчку.

— Товарищи!..

Заплескались отраженным переливом кандалы и глухие, мутные голоса. И опять не было обособленных стен: они дышали, как живые, и смотрели на меня множеством бледных лиц.

— Товарищи! Сейчас я был на свидании с прокурором. Он мне и так и эдак пускал пыль в глаза. Однако я твердо стоял на ногах и старался не моргать. Я заявил ему, что наш боевой дух крепок и мы не отступим ни на шаг. Если бы даже нам пришлось голодать сорок дней и сорок ночей, если бы мы даже околели от истощения, — мы все-таки и мертвые упирались бы всеми четырьмя копытами.

И впервые за эти дни настороженной тишины камеры вырвались в коридор гулом и криками радости:

— Браво, Прахов!.. Молодец!.. Никаких компромиссов!.. Они капитулируют, сволочи...

Замятин запел песню в волчок:

Греми в барабан и не бойся...

Но сразу же оборвался и провалился в глубину.

— Заткните глотку этому ослу!.. Что здесь — балаган, что ли?..

В эти дни я переживал необычайную легкость и полную отрешенность от потребности в пище. Каждый образ в мозгу, каждый миг в моем зрительном восприятии, каждая вещь — окно в решетке, грязное пятно на стене, звон кандалов, шорох шагов в коридоре, голова Прахова, поднятая рука — все приобретало непривычно глубокий смысл, который нельзя выразить словами. События прошлого становились живыми и осязаемыми: они звучали, воскресая в мигах настоящего; а настоящее — это я, лежавший на койке, короткий разговор с Праховым, поверка, далекие голоса товарищей в камерах. Все это пролетало мгновенно и таяло призраками давно минувшего, оставляя странный перегар во рту.

Зеленые хлопья инея на стеклах. Это невиданные картины новой, открытой мною планеты: горы, долины, деревья необычайных форм, сказочные цветы... Нет стен, нет цепей и замков — безграничная свобода и полет в лунном огне...

До бредовой пытки колыхался перед глазами ноздристый ломоть ржаного хлеба, медово-влажный, телесно-теплый и удушливо-солоделый запах наплывал на меня, как патока. И кислая вонь параши мешалась с вонью квашеной капусты, разваренной в баланде. Я изнемогал от отвращения и боролся со спазмами в горле, чтобы предотвратить застрявшую рвоту.

Приводил меня к сознанию обычно голос Прахова:

— Ты опять бредишь, приятель. Ты бы посидел, друг, и выпил воды.

Я смеялся. Прахов тоже вздрагивал от смеха.

— Ты что?

— А ты что?

— Я ничего... так... хорошо...

И опять смеялись от беспричинной нежности друг к другу.

Однажды я не удержался и стал ласково гладить его руку.

— Прахов, дорогой... Черт тебя знает почему я люблю тебя... даже выразить не могу... А почему раньше мы были отравлены?

Он встал с койки и улыбнулся.

— Это потому, что у нас были полные желудки. Должно быть, этакий есть яд в пище — превращать человека в скота. Тогда желудок — тяжелее головы.

— Ну, скажи же, что у тебя с Дынниковым? Ты и Дынников... Какая-то нелепость... И — женщина?.. Я ничего не понимаю.

Он хитро уколол меня одним глазом:

— Сознайся: ведь ты черт знает что обо мне думал. И сейчас не веришь. Ну, да ведь я не сержусь, друг. Такое теперь проклятое время. Были дни, когда я был как помешанный: кто я? Провокатор или революционер? У тебя этого не было?

— Нет, у меня было так: я всех считал провокаторами, кроме себя и Ольги.

— Это кто такая Ольга?

— Она же здесь. Если бы ты знал ее, Прахов! Изумительная партийка. Гениальный конспиратор. Пережила провалы, разгром организации. И все-таки прежняя: такая же озабоченность и выдержанность.

— Женщины тоже голодают и держатся крепко. Молодцы!

— Это она, Прахов. Это благодаря ей. Чудесный организатор.

Он угрюмо и пытливо взглянул на меня и молча прошелся к двери и обратно.

— Я видел ее, эту твою Ольгу. В конторе. Ольга Гнедич — так?

— Да, именно: Ольга Гнедич.

Он молчал и улыбался в усы, и эта улыбка заныла в груди обидой и тревогой.

— Вот что, друг. Я человек простой и прямой. Врать тебе не хочу. Не понравилась мне твоя Ольга.

— Почему?

От слов Прахова было больно, а то, что он мог сказать сейчас, — это был занесенный удар.

— По-моему, она никого не любит. А ежели ты ее любишь, так она не любит и тебя.

— Ну, бей же скорее, черт возьми!

Он растопырил пальцы и прикрыл ими лицо.

— У нее, брат, глаза не такие... пустые глаза и лицо пустое.

Я смотрел на него и хохотал неудержимо. Я ждал удара, а вместо удара — простая щекотка.

Прахов застыл в изумлении и не знал, что делать: сердиться или тоже смеяться.

— Да ты что? По-твоему, я не могу судить о бабе? Черта лысого!

Он вдруг затих, и глаза у него стали сухие, как у лихорадочного.

— Я люблю бабу. Знаю, какая дорогая цена бабе в жизни. Революция, брат, не только кровь, но и плодородие.

— Ну-ну, валяй! Только не смеши больше. Без предисловий.

Он подошел к двери и уткнулся в волчок:

— Товарищи, держитесь веселей и крепче завинчивайте гайки! При пустом брюхе и на ногах стоять легче. Так, что ли?

И опять в глубине заплескались волны. Переклик, пересмех, перезвон.

Рядом — почти около нашего волчка — голос Замятина:

— Эй, вы... черти подпольные! Зашкваривай песню...

И запел:

Греми в барабан и не бойся...

Прахов опять подошел ко мне.

— Так вот... Я говорю прямо. Ты ее, свою Ольгу, любишь. Это дело не мое: любовь дело капризное и несуразное. Но я ни одному слову ее не поверил бы и на версту не подпустил бы к партийной работе.

— Перестань, Прахов. Я не хочу, чтобы ты говорил об Ольге в таком оскорбительном тоне. Я ее люблю и не позволю, чтоб коснулась ее эта мерзость...

— Ага! Ну, вот видишь? Как же ты можешь верить мне, если паршивая судьба связала меня с Дынниковым?

Я не смотрел на него: боялся, что глаза мои будут лгать и эту ложь он увидит.

— Мне только одно странно, Прахов: при чем тут ты и Дынников? Ведь согласись, тут загадка, которую трудно разрешить.

— Как ты не понимаешь простых вещей?

И затеребил бороду, откусывая кончики волос.

— При чем тут я, голова садовая? Меня прикрутило тут, как грязь к колесу. Все дело — только в бабе. Это — клей для ловли мух. В этом все ее несчастье. В интеллигенточках, хоть и революционерках, есть такая жилочка, этакое горение — огонек, который прожигает душу. Все в них дрожит, извивается и присасывается, как пьявка. Глаза великомученицы, а улыбка колдуньи.

— Ну, не ври, Прахов, не все же такие. Ты говоришь о каких-то уродах.

— Ничего не уроды. Сам на своей шкуре испытал. Наташа была не хуже других: рабочие в кружке на руках ее носили. А я уж тогда сам считал себя политически зрелым. И вот привязался, хоть тресни. Присосалась она и прямо в кровь мою вошла. Не редкость в нашей жизни. Все они такие: питаются они и живут чужой силой. Прицепляются к здоровому парню, начинают перерождаться и на все смотреть его глазами. А оторвутся — погибают, раскалываются, как рюмочки. Есть в них дурманная отрава, я и сам было отравился и потерял голову. А потом, уже в тюрьме, немножко пришел в себя. В тюрьме же почувствовал, что это у нее — навсегда. Особенно эти ее заботы обо мне до полного забвения общего дела. Ее тень я чувствовал даже в камере. Вот до чего. Ну, в это время Дынникова-то и прихватило. Он с самого начала показался мне каким-то малохольным: будто на уме у него было одно — застрелиться. С политическими, надо сказать, держался он запанибрата, а внутри у него была какая-то неразбериха: смесь черносотенства с анархизмом. Повадился ко мне в камеру. Играли с ним в шахматы, а за шахматами я его терзал, и неразбериха эта дошла у него до бессмыслицы. Только и повторял: капут мне, тупик... взорвать все и зарезаться. Вот тут-то он и начал ползать за Наташей. Буквально ползать. На свиданье — он. Она — домой, а за ней — он. Переоденется и — за ней собакой. Приходит она и сама малохольная. Трагедия. За что, говорит, это проклятие? А оттолкнуть, говорит, — застрелится или повесится. А потом, чтобы оправдаться — передо мной или перед совестью, — устроили с его помощью мне побег. Хорошо, очень ловко устроили, а то мне грозила смертная казнь. Я по свету рыщу, а она — там, а около нее — этот пес. Отравился он окончательно и мог сдохнуть по ее приказанию. Он ее мучил, а она себя. Но силы оборвать эту канитель не было. И ты думаешь, помог он мне бежать из-за любви к революции или ко мне? Держи карман! Он меня готов удавить собственными руками. Было даже так: Наташа скрылась от него — нашел. Даже непостижимо как — а нашел. Ну, она и руки опустила. Все, мол, равно. Да

и сама стала качаться: усталость, разочарование и все такое. А теперь вот сюда приехала. Рыскала месяца три — и нашла. Не успела приехать — и он здесь. Поневоле с ума сойдешь. Записочку мне на днях через него прислала: устала жить, а в жизни ничего нет, кроме мучительства и пустоты. Все оборвалось: крах и ренегатство. И этот, мол, испакостил жизнь. Поддержи, говорит. А чем я могу поддержать? Раз человек крахнул — бесполезно поддерживать. Виделся с ней. Совсем мертвец. Чужая. Чертовщина какая-то. Хлопаю себя по башке и — ничего не понимаю. Не то мозги у меня бараньи, не то здоровая кровь. Чувствует, что отрывается от меня и — гибнет. А он погибнет вслед за ней. Я же, как-никак, все-таки... больше люблю революцию. Он ползает перед Наташей, как глиста, а она не может дать ему пинка. Потому что, видишь ли, он украл для нее мою жизнь, ну, пусть для революции — это для нее не важно... украл мою жизнь из рук палачей. Как это расценить? Для меня это было бы просто, а для нее — это безвыходное положение, запутанный узел... жертва.

Он шлепнул себя по коленке и лег на койку. Говорил он спокойно, неторопливо, почти равнодушно, и непонятно было, счастлив ли он от этой любви, больно ли ему, или уже все у него перегорело и не оставило следа.

— Ты знаешь, Угрюмов, наша голодовка уже волнует весь город.

— Я все-таки не понял, Прахов: любишь ты свою Наташу или уже все кончено?

Он не ответил, точно не слышал моего вопроса, и закрыл глаза.

Стены едва уловимо трепетали телеграфным пульсом. Этот трепет струился где-то очень далеко, неизвестно где, и жил своей, отдельной от нас жизнью.

— Прахов, а смертники?

Мы тревожно взглянули друг на друга, а потом — в стену, за которой были они.

Он взял кружку и стукнул несколько раз. Молчанье.

Опять настойчивый вызов. И слабый, очень редкий,

сбивчивый отзвук: та-та-та... пока живы... но не живем... та-та-та...

Шли дни навстречу тишине, а из тишины текло оцепенение. Прахов уже не садился ко мне на койку, а топтался по камере, заложив руки за спину, и о чем-то думал, упорно и напряженно. Митря лежал без движения, как тяжелобольной. Я бредил в полузабытьи и жил в мире призраков, идущих из прошлого. Как-то незаметно мы научились разговаривать взглядами. Я открывал глаза и встречался с глазами Прахова. Он усмехался и кивал головой.

— Ну, как?..

— Ничего... хорошо... А ты?

— Прекрасно.

И опять проваливались в собственный мир. Эти провалы были очень длительными — на целые часы, но времени мы не ощущали. Вдруг попадаешь в какой-то необъятный омут и плаваешь в его спокойном водовороте, постепенно погружаясь в мерцающую пучину, не достигая дна. И всюду — неугасающие мелодии: и весенний шелест листьев, и поющая капель, и топот человеческих толп за стенами тюрьмы. Я взрывался воющим кашлем — и все исчезало. Этот мой кашель был невыносим Прахову: он готов был свирепо броситься на меня с кулаками, незабываемо оскорбить меня, и его глаза туманились от борьбы с собою. Я тоже стал ненавидеть его до отчаяния. Были мгновения, когда я мог бы убить его с наслаждением за его широкую спину, за то, что он грызет свою молодую бородку, за то, что он силен, как буйвол, и нарочно старается давить всех этой силой.

В одну из таких минут острой молчаливой вражды Прахов застучал кружкой. Тишина. Опять настойчивый стук. Тишина.

Я сел на койке и закачался вместе с камерой в неустойчивом колыхании. В ушах волновался колокольный звон.

— Повесили, мерзавцы... все-таки повесили...

— Я не понимаю, Прахов, откуда у тебя такая прыть к категорическим заключениям? Я почти не сплю по ночам и слышу всякий малейший звук. Они — там.

Может быть, слабы, но не умерли. Даю руку на отсечение.

Глаза у него стали маленькие, в щелочку, в них были презрение и ядовитая ухмылка.

— Умный человек должен знать, что лучшие воры в мире — это тюремщики.

Митря встал с койки и, шатаясь, подошел к параше. Забыл, что ему нужно, и опять упал на койку. Глаза его были слепые, устремленные вдаль и в себя. И будто так же внутренно и таинственно улыбался он, как слепой.

— Жгет, братцы... нутро жгет... Умру я... Аль мне чего надо? Мне ничего не надо... Братцы!..

И заплакал, покорно, без слез, захлебываясь слюной.

Слова Митри не потревожили Прахова. Тяжело и лениво он сказал ему:

— Ну, не вякай, осина-борона!

А я напрягал все силы, чтобы твердо глядеть в глаза Прахову.

— Хорош революционер! Ведь он же твой союзник, а не скот...

Щупая меня одним глазом, он тянул, едва связывая слова:

— Ты по-прежнему крутишь свою шарманку, приятель. Говори прямо, что накипело на сердце, а нечего канителить.

Он дремотно ухмылялся.

Между мною и им уже не было простого расстояния: какая-то огромная тень окутала нас. Эта тень была уже неустранима: она была выше и глубже нашего сознания, и наша воля исчезла в ней, как ничтожная пылинка в ночной беззвездной мгле.

Это было на восьмой день голодовки.

А ночью я внезапно очнулся от страшного удара. По ночам у меня не было сна, а только плавное оцепенение, когда слух чутко воспринимает все шорохи, а глаза через призраки сновидения отражают твердые плоскости стен и волны огнистого полусумрака. И эти шорохи, и неосторожный звон ключей, и одинокий бредовый всхрип, вылетевший из далекого волчка, потря-

сали грохотом и ревом. Я приходил в сознание, и все исчезало. Сопел Прахов во сне, и Митря скрипел зубами.

И вот вдруг этот удар. Прислонившись к стене, я сидел на койке и, не мигая, смотрел в волчок. Все ныло в нестерпимой тоске: случилось что-то непоправимое, — может быть, я сейчас умру, а может быть, разразится какая-то неслыханная беда. За волчком, рядом с нашей камерой, мягко ходили люди и украдкой перешептывались. Смертники. Это пришли за ними.

Я понял это сразу и бесповоротно. Почти ползком добрался до волчка и ткнулся в отверстие. В этот же миг около моего лица засвистало предсмертное дыхание. Пальцы вцепились в железную обшивку волчка. Разрывая свист порванных легких, хрипло, безголосо закричал человек. Я прижался к двери и смотрел на эти посиневшие пальцы, и мне чудилось, что не человек кричал за волчком, а эти расплющенные пальцы.

— Ха-ха... да что это?.. Да что это?.. товарищи!.. хо-о... хой!.. Я не могу... я не могу... Хо-ой!..

Я заметался около волчка, бился головою о дверь, о простенки и тоже хрипел и задыхался в последней борьбе.

Спотыкаясь о собственные босые ноги, крался ко мне между коек Прахов.

В коридоре были смятение и борьба. В разных местах кричали заключенные:

— Что вы делаете, мерзавцы!.. Людей душат в камерах, товарищи!.. Вставай!..

Кто-то визжал в истерике, и в пустоте коридора рвался плач и сумасшедшие крики.

А у волчка человек все визжал:

— Х-ха!.. я не могу... я не могу... боже мой!.. Х-хой!..

Прахов смотрел на эти пальцы, которые, слабея, скользили по железу, и рыхло отодвигался от них по простенку, онемевший и бледный.

Пальцы оборвались и выскользнули в дырку. Человек упал на пол. Двое надзирателей тащили его за ноги, а он, серый, растерзанный, хватался растопырен-

ными пальцами за бетон и скользил назад. Штаны сползали с бедер, и рубашка сбилась к лопаткам, оголяя спину с желобком посредине.

Двое надзирателей держали под руки молодого парня. Он покорно стоял, переминаясь с ноги на ногу, и с любопытством смотрел на товарища, с которым боролись другие надзиратели. Потом он криво улыбнулся и начал старательно напяливать на голову арестантскую шапочку.

— Ну, будет... будет, Бабакин... Маленький ты, что ли? Чего дурака валяешь?..

Надзиратели ловко подхватили первого и поставили на ноги. Он сразу успокоился. Подтянул штаны и стал одергивать рубаху.

Потом все исчезло, и в волчке опять зияла сумеречная пустота.

А коридор все еще рокотал и плакал.

Человек с золотыми крылышками

...За эти одиннадцать дней голодовки наша боевая тишина нарушена была один раз. В этот день в камерах зазвенел смех, а Замятин опять взбунтовал всех своими песнями.

В полдень широким вздохом распахнулась дверь, и в коридор, напором, ввалилось целое стадо. Затопотали шаги в сдержанном говоре голосов, раскатисто зазвякали запоры, зашипели двери камер. Впереди по-хозяйски заливался молодой тенор. Не видя этого человека, я уже знал, что у него румяное, чисто выбритое лицо с подстриженными усиками, на носу пенсне, волосы ершиком, а погоны на черной шинели — как золотые крылышки.

— Это ж смешно, господа... не правда ли? Раз слабы — надо искусственное питание. Приведите двух молодцов из уголовных и — дело в шляпе.

Как и всегда, наша дверь распахнулась во весь размах квадратной дыры. Упруго впорхнул на своих золотых крылышках пухлый румяный человек в пенсне. Ершика не было, а молодая лысина искрилась шелко-

вым зачесом волос над ушами, и эти шелковые мочки по бокам лысины были тоже похожи на крылышки. Он причесался, вероятно, уже в коридоре.

— Ну, что ж, господа... здрасте!

Уныло и сердито вошел доктор. У него была длинная черная щетина на голове. Он наклонился над Митрей и взял его за руку.

— Умру я, ваш... Что ж это, ваш... Братцы!

Прахов посмотрел на него и забасил:

— А ну-ка, молчать... овца!

И Митря сразу застыл, как труп.

— Говорят, что у нас — жестокая политика... не правда ли?.. Это ж смешно. А у самих — диктатура друг над другом. Нам — нельзя, а им — можно. Каково?

И румяный человек весело засмеялся, оглядывая нас и всю толпу тюремной челяди во главе с Мымрей. А он, Мымря, был слепой и глухой, как бурхан. Дынников стоял впереди Мымри с хмельцой в глазах. Усы необычно спутались на губах.

— Ну, так что ж, господа? Долго ли еще будет эта канитель? Ведь кушать же хочется, не правда ли?

И опять засмеялся.

Доктор с тем же сердитым раздражением подошел ко мне и протянул руку. От моего крика он испуганно остановился.

— Доктор, не ломайте комедии. Отойдите прочь.

Он послушно отвернулся и шагнул к Прахову.

— А ну-ка, пошел вон, коновал! Твое дело щупать руки повешенных. Отчаливай!

— Ну, так что ж, господа? Дело получает серьезный оборот, не правда ли? Ведь ничего же не добьетесь... Смешно! Применим к вам искусственное питание. Не так ли, доктор?

Прахов с черной мутью в глазах подошел к нему вплотную:

— Что такое? Вы хотите, чтоб было кровопускание? Вы хотите спровоцировать бойню? Посмотрим, как это вам удастся!..

Золотые крылышки затрепетали, и пенсне блеснуло изумлением.

Мымря запыхтел в борьбе со своей разбухшей тяжестью.

— Господа, надо все-таки, так сказать... Вы же интеллигентные люди... Господин товарищ прокурора сам пожелал...

Прахов осадил его:

— Я с вами не разговариваю. Следите за своей квашней... только и всего...

Товарищ прокурора весь вспыхнул от восторга.

— Это же великолепно. Говорить на русском языке и не понимать друг друга...

Я сел на койке и злобно крикнул:

— Да, мы не понимаем друг друга. Наши дела для вас понятнее слов. Убирайтесь к черту!

Я свалился от ревущего кашля, но продолжал еще взмахивать кулаком. Доктор опять шагнул ко мне, но я остановил его глазами.

— Но ведь это не может кончиться добром, не правда ли? Это ж смешно. Вы староста, да? Вы ж должны понять, что мы будем вынуждены...

Прахов, опираясь руками о край стола, смотрел на товарища прокурора с невозмутимой уверенностью.

— Попробуйте. Вы можете нас только зверски перебить. Другого ничего не добьетесь. Но имейте в виду, что на другой же день все будет известно во всех уголках. Ведь девятьсот пятый еще не остыл.

— О нет, господа. Это не страшно. Мы уже хорошо подковались, и все ваши силы и намерения нам прекрасно известны. Одно дело — пугать голодовкой, другое дело — кончить голодовку смертью. Мы не будем препятствовать вашему самоуничтожению. Пожалуйста! Но я думаю, что умирать-то вовсе не хочется даже и в этих неприглядных стенах. Не правда ли, а?

Лицо Прахова было неподвижно.

— Мы идем до конца, без всякого колебания. Нам нечего терять.

— Ого, значит — ва-банк? Это очень азартно.

Товарищ прокурора стал вдруг серьезен и важен.

— Доктор, этот — как? слаб?

Он ткнул перчаткой в сторону Митри.

— Да, переносит довольно трудно.

— Тогда — в больницу. Распорядитесь, начальник.

Мымря горой поднял живот и, приложив руку к шапке, издал звук, похожий на отрыжку.

Прахов властно заявил:

— Нет. Он не будет в больнице.

Товарищ прокурора растерянно махнул рукой и смял зачес над правым ухом.

— Я не понимаю, господа. Надо ж все это кончать. Это смешно.

— Кончайте. Наше дело ясное.

— Это ж смешно... это ж смешно...

И с улыбкой досады и тревоги он упруго пошел к двери, в гущу своей тюремной свиты.

А Мымря, измятый, мясистый, ворочал белками, и щеки его студенисто дрожали.

— Ах, господа, господа!.. Что вы делаете, что вы делаете!.. Никогда этого не было в нашей тюрьме. Какие неприятности, господа... какие неприятности!.. Ведь вы хотите не тюрьмы, а общежития. Невыполнимые претензии, господа...

— Мы хотим и в тюрьме человеческих условий.

Мымря был невыносим мне, и я кричал ему в лицо с яростным наслаждением:

— Вы из тюрьмы хотите сделать зверинец и застенок. Это вам не удастся. Никогда не удастся. Пусть мы ваши пленники, но мы — не рабы и не скоты. Живыми мы не сдадимся. За нами тысячи, имейте в виду. Вы очень ошибаетесь, что вы победители.

— Ах, господа, господа! Какие неприятности, какие неприятности!.. Всякие слухи... волнуется весь город... Разве это допустимо?.. Прекратите это, господа... Ведь я тоже человек... У меня семья. У всякого свои немощи...

Это была хорошая весть. Там, за стенами тюрьмы, наши неизвестные товарищи тревожат обывателя. Там жизнь не умерла, и силы, загнанные в подполье, будоражат страхом испуганный покой. Нет в мире стен, которые бы раздавили в своих трущобах огненное

трепетание борьбы. Наши стены дрожат, и от них летят незримые волны тревожных призывов.

Я махал над собою перевязанной рукой и смеялся в восторге.

— Вот, вот. Очень хорошо. Превосходно. Об этом заговорит вся Россия, а потом и — Европа. Ваши стены не крепче решета. Браво!

— Ах, господа, господа!.. Что вы делаете, господа!..

И он ушел, убитый, сырой, неустойчивый в ногах.

Победа

Мы были в тюрьме, но наслаждались свободой. Не умолкая, гремели цепи, и воздух рассыпался осколками стекла, а ноги ненасытно шагали по длинному коридору. В крови волновался не звон кандалов, а музыка праздничной радости. И я понял впервые, что свобода не в широких горизонтах, не в том, что открыты тебе все пути и дороги, — истинная свобода в борьбе и победе. Если бы во время голодовки передо мною открыли двери и сказали: «Ты свободен!» — я с презрением крикнул бы тюремщикам: «Вон!» Потому что я не нашел бы тогда свободы под открытым небом, на шумных городских улицах: там я замуровал бы себя навеки.

Наши камеры были открыты уже на целый день. Мы могли уже иметь бумагу, чернила, газеты, книги. Я раз в неделю мог видеться с Ольгой. Я мог выходить в коридор и бродить по нему из конца в конец. Мог гулять по двору, мог заходить в камеры товарищей и говорить с ними до пресыщения. Только камера смертников была отодвинута к двери, ведущей в другие корпуса, — камера № 1. Она одна по-прежнему была надежно закована железом, и к ней нельзя было подходить.

Утром, ровно в семь, как обычно, дверь распахнулась, и в нашу камеру вошел Дынников. Он был пьян: усы в клочьях и мокрые, глаза влажны, безумно тупы в кровавом наливе. Мизинчик растерянно и бес-

помощно улыбался у порога, точно его ударили по шее.

Дынников прошел к столику, сорвал шапку с головы и бросил на мою койку. Сел на табуретку верхом (нам дали новую) и с удивлением осмотрел нас всех, точно не сознавал, куда и как он попал. Смывая слюною слова, он заговорил торопливо, возбужденно, с едкой насмешкой:

— Поздравляю с победой, фанатики. Ну? Дешево? Подумаешь!.. Грош цена вашей победе, потому что нельзя бороться с судьбой. Ни в какую! Самообман. Ерундистика. Жульничество. А вы тут философствуете — наводите тень на плетень. Тупицы! Куриные башки! Куклы!

Прахов смотрел на него в упор, и глаза у него были мутны.

— Что вы здесь разводите баланду? Что за чепуха?

— Хлык... я только говорю о регламентах и правилах. Они же остались нерушимыми. Всё по-прежнему. А вам — дулю под нос. В этой вашей истории я играл роль не хуже твоей, доблестный боец Чугунов. Ведь ты же не Прахов... Какой ты черт Прахов? Ерунда. Трусливая шкода. Дрожишь за шкуру свою, как собака. Тьфу! Ты думаешь обмануть судьбу? Дудки, Чугунов! Дудки! Ты передо мною извиваешься глистой. Ты весь в моих руках. Что хочу с тобой, то и делаю. Хлык, хлык... Трагедия!.. Плевал я на ваши трагедии. Трагедия — это собственная тюрьма. Дураки! Вы даже этого не понимаете. Курослепы!

Прахов был немного растерян и усмехнулся устало. Голодовка покоробила его лицо. Оно было синее и жухлое, а под глазами были темные провалы.

— Что ты здесь разоряешься, Дынников? Судьба!.. Судьба — это утка. А ты тявкаешь, как дворняжка. Ничуть не страшно. Я ведь, как ты знаешь, не из пугливых.

— Знаю... хлык, хлык!.. Раз тебе капут, и мне — капут. Шишка. Тебя нужно повесить. Я тебя удавлю собственными руками. Вот этими... на! Ты убийца... самый мерзкий убийца... Тебя нужно колесовать... на!

Прахов молчал и улыбался.

Мизинчик в изумлении и испуге смотрел на Дынникова и, оглядываясь на дверь, смущенно шептал:

— Господин помощник, надо бы сделать поверку. Дежурный ждет. Как бы не вышло неприятностей. Опасно.

Дынников встал, браво вытянулся в пьяной готовности.

— Слушаюсь, верный раб. Я гарантирую спокойствие предержащей власти. Впрочем, ты бестия... хитрый, мерзавец... Я тебя вижу насквозь... Хлык, хлык!..

Он вышел с высоко поднятой головой. Прахов с угаром в глазах сидел неподвижно на койке и был чужой и одинокий.

Митря лежал с закрытыми глазами, с пеплом на лице, как мертвец. Губы были черные, сухие, в корках. У меня кружилась голова, и я сел на его койку, дрожа от слабости. Неиспытанная легкость была во всем теле, точно я попал на другую планету. А кандалы были во много раз тяжелее, чем в прошлые дни, и дни эти таяли в памяти, как далекие годы.

В коридоре толкались группы товарищей. Шаги их слабые, утомленные, шаркающие по бетону. И голоса — слабые, но по-ребячьи радостные. Точно не в тюрьме, а в больнице.

Я откинул одеяло и взял руку Митри. Она тоже была покрыта пеплом — не мужичья.

— Митря, вставай, дружок. Сейчас будет кипяток и свежий хлеб. Праздновать будем.

Он открыл глаза, и в них я не увидел ни радости, ни печали: они были тусклы и оторваны от жизни.

— Не трогьте... Христа ради... Не надо... ничего не надо...

Меня осторожно, почти робко, оттолкнул Прахов, и я молча отошел к двери. Он не взглянул на меня, точно меня не заметил. А мне было и обидно и приятно: пусть все идет своими путями — он сам по себе, я сам по себе. Мы бесконечно чужды друг другу.

Он мягко и нежно взял Митрю под мышки и посадил на койке.

— А ну-ка, вставай! Я, брат, тебя одену, обую, умою и тюрькой заморю червяка. Шевелись-ка, осина-борона.

Митря послушно сел и равнодушно отдался во власть Прахова.

— Мне... все тятя... мерещится... покойник... Мерещится и мерещится... И всё — издали... цепом машет... Иди, говорит, молотить, Митря...

— Во-во. Значит, Тит, иди молотить — брюхо болит. Помолотили — будет.

— Покойник ведь тятя-то... нехорошо... не к добру... А время-то, верно, хорошее... гуменное время... Крещенские морозы... Молотить сейчас гоже... Зерно само просится...

Я вышел в коридор и зашатался: и пыльные окна в решетках, и грязные стены, и пол в щербинах и выбоинах — все заколыхалось, стремительно падая вниз, как на палубе корабля. Я прислонился плечом к стене — и все вдруг озарилось оранжевым пламенем. Затошнило.

Около меня стоял Мизинчик и трепал по плечу с неумелым участием:

— Ну-ну... ничего... Знамо, лихостит... Ну-ка, сколь дён... кому ни доведись...

И засмеялся, смущенно и виновато.

Я погладил его по плечу со слезной щекоткой в горле: в нем впервые я почувствовал не тюремщика, а просто человека, связанного со мною какой-то неуловимой трепетной нитью.

— Хороший ты мужик, Мизинчик... Спасибо за ласку...

— Ничего, ничего... отудобишь... Свет не клином сошелся... Везде люди...

Брови его вздрагивали и глаза увлажнялись тоской.

— Жратва одолела... Жратва... Вот в чем катавасия... Ежели бы не семейство да не чертовая жизнь — разве я здесь торчал бы? Будь оно проклято!.. За что народ гибнет? За что его заушают? Разве я не чую?.. Разве мне не прискорбно?.. Сам такой же, как все... Чем мне лучше?.. Куда я пойду? Кому я, такой, нужон?..

Он махнул рукой и угрюмо отошел от меня. Потом вспомнил о чем-то, возвратился и торопливо, украдкой сказал:

— Этот... помощник... как его... малохольный-то... Запил... Неблагополучный человек... Так и жалит, так и жалит... Шли мы сюда, а он: «Давай, говорит, Мизинчик, всю тюрьму взорвем. И сами — в тартарары, в преисподнюю...» А тут еще бабенка ввязалась... Повесилась третьеводни. А в него уж совсем какой-то черт вселился... Съест себя человек... Жизнь-то что делает с людьми, ай-а-ай!..

Он пошел от меня вразвалку вдоль по коридору. Валенки были у него тяжелые, как пни, длинные, выше колен, и он никак не мог совладать с ними.

Прахов еще не знал о судьбе Наташи. А в Дынникове он ничего не видел, кроме алкоголя. Теперь мне было ясно нутро этого нелепого человека: в нем сгорала мертвая Наташа. Почему Прахов не хотел свиданий с нею? Что она такое, эта трагическая Наташа? Почему так скупо говорил о ней Прахов? Почему он так загадочно прятал ее от меня?

Коридор пел и смеялся перекликами голосов. Мимо меня сновали бледные лица, волосатые головы — все были точно больные. Все пристально, с улыбкой, с детским любопытством вглядывались друг в друга, волновались, сплетались в обнимке и целовались. Кто-то пытался петь, но обрывался от слабости. Вороша толпу и поднимая руки, как крылья, высокий — выше всех — прошагал размашистым шагом Замятин и, глядя сразу на всех, пел в такт своим шагам:

Греми в барабан и не бойся...
Пляши, маркитантка, скорей!
Вот смысл глубочайшей науки,
Вот смысл философии всей...

А ему хлопали в ладоши и кричали:

— Браво, Замятин!.. Загибай ему салазки!.. Да здравствует победа!..

Хромая и скользя по стене от слабости, я пошел к камере Немиловича.

Я слышал его голос, привык к его сияющему глазу в волчке, но я ни разу не видел его лица. Мне он казался худым, высоким и апостольски важным.

Мои обмороженные пальцы на руках и ногах в струпьях, и уши в струпьях. Я удивленно смотрел на всех с неудержимой улыбкой, и они тоже оглядывали меня с изумленной радостью. И странно, все они, мои товарищи, были на одно лицо и одного возраста: или мои глаза ослепли от истошения, или голодовка сделала всех одноликими. Колыхались стены и пол и плыли вместе с толпою и вперед и назад.

Я испугался от неожиданности. Меня обнимал мальчик в серой арестантской куртке, в кудрявой шапке волос. Он поцеловал меня три раза, не отрывая губ, и дышал глубоко и восторженно. Губастый рот в оскале зубов сочно искрился мальчишечьей улыбкой. Юноша волновался в нетерпеливой готовности к порыву.

— Вы давно здесь, товарищ? На каторгу? По какому делу? У вас — кандалы. По несовершеннолетию — мне только ссылка, а по уголовному положению — каторга. Жаль. Ведь у меня тоже дело. Я ведь по убеждениям два года как большевик. Ссыльных не закандаливают. А с каким бы удовольствием я погремел по этапам и тюрьмам!..

И сочно сверкал зубами, ласково ловил мои руки и робко пожимал их.

— Вы хромаете. Дайте я провожу вас. Вам куда? Это у вас от карцера? Я слышал и очень интересовался вами. Досадно, что я тогда не мог принять участия. И я был бы в карцере.

Я взял его под руку и прижал к себе.

— Брякать кандалами — удовольствие небольшое, юноша. Что может быть нелепее железных цепей на человеческих ногах? И карцер не рекомендую: большая мерзость.

Он загорячился и заговорил торопливо, захлебываясь, — и видно было, что он хотел убедить меня и заставить почувствовать, как неизбывна его жажда к подвигу.

— Нет, нет, товарищ! Вы не должны говорить так. Вы не можете этого говорить. Вы революционер. Когда у меня делали обыск, мать и сестра были сами не свои. Ведь я еще учился. А я держал себя удивительно спокойно. Я радовался: вот и я арестован, вот и я буду в тюрьме. Я с наслаждением пошел бы на виселицу тогда. Вот и сейчас. Я тоже голодал, как и все. Даже не хотел пить воды, да уговорили товарищи. И если бы еще столько же — все равно... никак и нипочем... я даже ждал, что дойдет до агонии...

Мы подошли к открытой камере Немиловича. Там было пусто, и только в зеленой полутьме на одной из коек ползали складки бурого одеяла.

— Я — сюда. К товарищу. Вы не сказали, как вас зовут.

— Архип. В переводе значит — старший конюх. Нелепое имя.

— Почему старший конюх?

— По-гречески. Ведь я тоже учил эту премудрость. К черту Византию: она только кровь и рабство. Можно с вами?

— Пойдемте. Тут Немилович. Только вы его не очень слушайте: у него немножко ум за разум заходит.

— Ах, как мне нужно много учиться! Ведь революционер должен быть подкован на все четыре ноги. Чтобы разрушить буржуазную цивилизацию, нужно овладеть культурой. В руках пролетариата — это самое сильное оружие, а без культуры он беспомощен.

Мы вошли в камеру, такую же тесную и плесенную, как наша. Немилович лежал на койке, плоский, почти неощутимый, будто только одно лицо бледнело на подушке, а тела не было. Я узнал его по глазам. Они были такие же, как в волчке, где они горели сухим внутренним блеском. Щеки были худые, прилипающие к зубам, и тоже горели рваными пятнами. А лоб был твердый, белый, череповидный, с огромными глазницами. И совсем лишней была длинная борода, узкая, черная, заботливо разглаженная, должно быть мягкая, хрустящая шелком. Он обеими руками — желтыми и прозрачными — женственным перебором длинных пальцев чесал ее, разглаживал и играл воло-

сами. И как только я увидел его, такого, — с маленькой головой и большой бородой, — мне сразу стало скучно: он показался ненужным здесь и ненастоящим.

— Ну вот, Немилович. Я вас еще не знаю. Пришел поглядеть на вас.

Он засмеялся, как больной, и протянул мне руку.

— Мы с вами, Угрюмов, давнишние друзья и спорщики. В столкновении и переплетении внутренних человеческих энергий завязываются узлы новых ощущений, и комплексы элементов мира раздвигаются, сливая нас с бесконечностью. Это хорошо. Это чудесно. Это невыразимо прекрасно. Я немножко ослабел физически от этой голодовки. У меня, видите ли, пошаливает туберкулез. Тюрьмы. Ведь я три года до этого провел в тюрьмах. А теперь, вероятно, — тоже надолго.

— Вот вам и закон объективных фактов, Немилович. Вы ведь отвергаете примат объективных фактов. Ваша философия расползается по всем швам.

У него захрипело и захлюпало в груди. Но он не переставая чистил длинными пальцами свою шелковистую бороду.

— О нет. Это — закон первобытного примитива, ибо закон так называемых объективных истин есть следствие основного закона чистой относительности. А я только звено в бесконечной цепи свершений: я — во всем, и я — всё. И весь мир — только моя сказка, мое творчество, причудливый трепет сгущенной энергии...

Мне казалось, что он безнадежно отравлен чем-то вроде алкоголя или морфия. Он был далек от нашей действительности и создавал какой-то свой, несуществующий, непонятный мне мир. И то, что он говорил, — и говорил только один, не давая говорить мне, — утомляло меня, опустошало душу. Меня неудержимо потянуло в коридор, на морозный открытый воздух, звенящий солнечными волнами, утонуть в хороводной толпе товарищей и слушать богатырские крики Замятина, который был роднее и ближе всех.

Архип внимательно и жадно слушал Немиловича и не сводил с него широко открытых глаз. Он стоял

около меня и тянулся к нему с восторженным самозабвением юнца, который впервые в жизни услышал необычайные слова, полные сказочной красоты и глубокого значения. Очарованный, он робко, осторожно сел на край койки Немиловича и пролепетал стыдливо:

— Товарищ, могу ли у вас остаться, чтобы послушать вас и поговорить с вами?

— Я очень рад, милый юноша.

— Вы скоро умрете, Немилович. И это будет лучше для вас.

Эти мои слова потрясли его, как сильный электрический разряд. Он застыл, окоченел и стал еще больше похож на мертвеца.

Архип тоже с пристальным испугом смотрел на меня и вздрагивал от волнения.

— Зачем вы говорите мне эти мерзости? Я не хочу этого слушать.

— Закон объективных фактов, Немилович.

Архип протянул ко мне руку и лепетал растерянно и гневно:

— Это жестоко, товарищ Угрюмов. Я не ожидал от вас...

А лицо Немиловича уже дрожало от нутряной улыбки, и глаза смотрели на меня женственно кротко и радостно.

— Можно ли так говорить о вещах, которых вы не знаете, Угрюмов? Вы говорите так потому, что боитесь тех слов, значение которых вам непонятно. Что вы мне говорите о смерти, когда это — только особая форма жизни, как холод есть особая форма теплоты. Разве в ней меньше глубоких переживаний, чем в том, что мы называем жизнью? Голубчик мой! Вы никогда не будете революционером, если не произведете революции в себе. Тогда революция внешняя согласованно пойдет по принципу наименьшей траты сил. Внешняя революция без внутренней — вульгарная, мещанская утопия.

Я махнул рукою и захромал к двери.

Весь этот день был пьяный и беззаботно-пустой. Камеры были открыты, и в коридоре плавала пыль,

как жидкий сизый дым. Люди были слабы и глупо праздничны. Встречались в коридоре, заходили в чужие камеры, не знали, что говорить, ухмылялись, опять уходили и бездельно слонялись, не находя себе места. Ели мало, а когда ели, на лицах корчились гримасы отвращения. Митря съел большой ломоть хлеба и мучился животом. Он лежал на койке и стонал, нудно и глухо, по-телячьи.

Было скучно и тоскливо от пустых расстояний: все были чужие, далекие, и не было слов для дружеского общения. Однообразно звучали в разных местах только одни надоевшие слова:

— Вы из какой камеры?

— А вы?

— Ну, как?

— Ничего...

И было странно и непривычно от этой внезапной свободы. Что-то нужно было делать, произвести какой-то переворот в нашей жизни, но все бродили по коридору и по камерам, натыкались друг на друга и глупо улыбались. И в лицах и в движениях было недоумение, разочарование и сконфуженность. Уже к полдню коридор был пуст: все громоздились по своим камерам, и эхо голосов перекатывалось встречными волнами. В прошлые дни мрачные стены камер давили нас, и мы задыхались в этих склепах, а теперь эти стены вдруг стали ближе, роднее, уютнее и успокаивали душу своей каменной устойчивостью и молчанием.

Мутная тень

Я ждал, что Ольга первая вызовет меня на свидание. Мне хотелось испытать ее. В чем? В любви? В желании быть около меня? В товарищеской привязанности? Я жил только одной мыслью: вот войдет надзиратель и крикнет мне издали:

— Угрюмов, на свидание!

Каждый день кто-нибудь получал письма. Некоторые уже виделись с женщинами, с которыми сидела Ольга. А я упрямо сидел и ждал.

И дьяволом ухмылялся Прахов. Его слова незабываемо плыли в памяти и мучили меня до отчаяния:

«У нее пустые глаза и лицо пустое. Она никого не любит. Ты ее любишь, а я не допустил бы ее на версту к партийной работе».

Она стояла передо мной как живая: вот она чуть-чуть сутулится в постоянном стремлении бежать куда-то по неотложному делу, чуть-чуть склоняется голова в глянцевых волосах на висках, и глаза широко распахнуты, непроницаемы для меня, вспыхивающие далеким огнем полупонятного намека. Вспоминались ночные часы торопливой любви. Это была азартная игра под зоркими глазами жандармов.

Однажды, когда я уходил от нее воровской тенью, я взглянул в ее лицо в загадочно скрытой улыбке, и мне на миг показалось, что я ее совсем не знаю, что она непроницаема для меня, что она — Ольга — только маска, и этой маски она не снимает никогда.

— Ольга, ты не думаешь, что нас в два счета можно схапать? надо переменить квартиру.

Она взглянула на меня и засмеялась.

— Вот. В этом вся острота любви. Меня не привлекает мерзость мещанского сластолюбия. Я и в любви приемлю только риск.

Она обняла меня и сразу же оттолкнула.

— Надейся на меня, голубчик, и верь. Ни один жандарм не может ворваться сюда. А если ворвутся, мы сумеем уйти за тридевять недостижимых расстояний.

Она отдернула по шнурку белую, в прошивках, занавеску на кровати от ножки к ножке и нагнула мою голову:

— Смотри.

Я заглянул под кровать. Там было пусто, чисто (когда она успевала следить за чистотой?), немного пахло пылью, только около стены валялись стоптанные башмаки.

— Я ничего не вижу, Ольга.

— И никогда не догадаешься. Тут ход в подполье, а из подполья — в сад, а в саду — худые заборы.

— Все это сделано твоими руками?

— В этих теснинах совершались большие дела. И будут совершаться еще. На случай обыска все предусмотрено, и я еще ни разу не опростоволосилась. Будь спокоен, дорогой: у меня здесь пардусово гнездо.

Нет, у нее, Ольги, не пустые глаза.

...По ночам я смотрел на сонного Прахова, и сердце мое обжигалось ненавистью к нему. И где-то в глубине черепа плелась неотвязная мысль:

«А ведь Прахов — провокатор. Это он нарочно смущает меня туманными загадками насчет Ольги. Это для того, чтобы мое недоверие к нему перенести на Ольгу и любовь мою отравить убийственным подозрением. Несомненно, так может поступать только провокатор».

И мне казалось, что он тоже не спит и следит за мною сквозь дрябло закрытые веки. В один из таких бессонных часов он нечаянно взглянул на меня, и на мгновение я увидел в его помутневших глазах несдержанный испуг. Что это: боится он меня или чутко сторожит каждое движение? Почему бы не встать ему с койки в тот миг, когда я незаметно теряю сознание и погружаюсь в сон? Это дело секунды: навалиться на меня, задушить, а потом симулировать мое самоубийство. С этих пор я уже не знал больше ночного сна.

Однажды утром, за чаем, он через прищурку спросил меня:

— Почему ты не спишь по ночам?

— А почему ты знаешь, что я не сплю? Следишь за мной, что ли?

— А почему бы и не последить за тобой?

Он ухмылялся и посматривал на меня с насмешливым презрением. Он издевался надо мною, а я едва сдерживал свое бешенство.

— Из-за трусости или из иных побуждений?

— Дурака ты валяешь, приятель.

Он встал и пошел к двери, твердый и уверенный в себе, с широкой, неломкой спиной. А я, изуродованный ненавистью, брякнул кандалами и вскочил с табуретки. Он обернулся и, не вынимая рук из карманов, молча уставился на меня в ожидании скандала.

— Я тебе не прощу, Прахов... Твое подлое отношение к девушке и ко мне... Ты знаешь, о чем я говорю... Это мною оценено по достоинству. Я теперь понял, с кем имею дело. Поэтому я скажу тебе с особым удовольствием...

— Ну, кончай, черт бы тебя съел... ну?

— Твоя Наташа...

— Что — моя Наташа?..

Если бы я улыбнулся Прахову и посмотрел ему в глаза с дружеским смущением, все кончилось бы сердечным примирением: мутная тень, которая колыхалась между нами, растаяла бы, и мы бросились бы друг другу в объятия. Но я летел в пропасть, и никакая сила не могла меня спасти. Слова вырвались уже сами собою.

— Так вот знай же! Дынников прав... ты эгоист, трус и убийца...

— Овва! Бей оглоблей по воробьям, черт подери...

— Да, я бью тебя... с особым удовольствием. Твоя Наташа повесилась... Вот.

— Что? Да я тебя, гадина, задушу, как поганого щенка.

Не знаю, почему он не убил меня в эту минуту. Я ждал как неизбежного: вот он бросится на меня, и мы будем кувыркаться с ним по полу, рычать, грызть друг друга. Но было тихо и пусто. Прахов сел на койку и посмотрел на меня синим, угасшим лицом.

— Ты это... откуда? Кто тебе сказал? Разве этим можно шутить?.. Это тебе сказал Дынников?

Потом встал, боязливо огляпулся вокруг, опять сел и поперхнулся. Опять встал и рыхло вышел из камеры.

Разбитый и обессиленный, я вдруг остро почувствовал, что я — один, что вместе с Праховым исчезла и моя связь с людьми, которая завязалась давно через стены камер и через волчки, живые от глаз. Удар, который был направлен в Прахова, обрушился на меня самого. Стены стали ближе и тяжелее, и бурой плесенью в них вросла безнадежность.

Митря лежал на локте и смотрел на меня жадными, обалделыми глазами.

— Ых, галманы, мордоплюи, осина-борона!.. По усам текло — в рот не попало... Разве так дерутся? Ведь срамота одна...

Он брезгливо сплюнул и лег, обиженный и унылый.

В этот день я не был в своей камере (невыносимо было чувствовать стены) и не видел Прахова до поверки. Когда заперли камеру, он лег на койку, повернулся ко мне спиной и застыл без дыхания, без движений. Мне было больно и стыдно, и где-то в глубине дымилась мстительная радость: а все-таки я проучил Прахова — сделал его беспомощным и жалким. И в то же время мне неудержимо хотелось подойти к нему, склониться над ним и сказать задушевно:

— Прахов, я был к тебе несправедлив. Забудем об этом и по-старому будем друзьями.

Но я был во власти какой-то силы, в которой утопал, как пылинка. Бороться с нею я не мог, и вырваться из нее было невозможно. Почему я не переживал этого раньше, когда был в подполье, в открытой революционной борьбе, в моей маленькой личной жизни, богатой сплетением живых связей с людьми?

Это — отравная плесень тюрьмы, это — гарпии, живущие в камнях.

Свидание с Ольгой

В комнате свиданий, огромной, сумеречной, с низким сводчатым потолком, с грязными потеками на стенах, пустой в этот час, меня встретил Дынников и грубо ткнул рукою в скамью.

— Честь и место. Можете признаваться в любви и вести брачные разговоры. Очень амурная обстановка.

— Это вас не касается, господин Дынников.

Он щелкнул каблуками и уставился на меня.

— Черта с два! Именно касается. Вы в моей власти. А вот над собой власти у человека нет. Нет у меня над собой власти. Над вами есть, потому что я — ваш тюремщик, а моя судьба показывает мне язык.

Извольте не расхаживать. Сядьте! Вы в тюрьме, а не в кабинете.

— Не орите, пожалуйста, — не страшно.

— Знаю. Вы тупицы, потому что фанатики. Мне — черт с вами. Но мне страшно. Моя тюрьма мерзее вашей.

— Ну, и удирайте из своей тюрьмы. Кому вы нужны?

— Именно. Хлык-хлык... к черту в глотку...

— Куда угодно. Хоть повесьтесь.

— Это мое дело. В советах не нуждаюсь.

Он зашагал широкими шагами, подергивая головою, ухмылялся и мычал что-то неопределенное.

Ольга вошла уверенно и твердо. Глаза ее были такие же голубые и широко открытые, но в них было что-то новое для меня: они были сухие и отвердевшие, будто роговые. Она улыбалась с натугой, и эта улыбка была не своя и сейчас же угасла. С мимолетным любопытством скользнула по моему лицу чужим взглядом и молча села около меня на скамью.

— Ну, здравствуй, Ольга!

Она опять мертво улыбнулась и, насилуя себя, протянула мне руку.

— Здравствуй!

Потом опять с удивлением взглянула на меня, как человек, который видит меня впервые, и чуть-чуть отодвинулась.

Дынников топтался около нас и что-то невнятно бормотал.

— Как давно мы не виделись с тобой, Ольга!

Она не ответила и смотрела в пол. Только улыбка дрогнула на лице отраженной судорогой.

— Ольга, я все время думал о тебе. Почему ты мне ничего не писала?

Она быстро взглянула на меня с упреком и изумлением.

— К чему этот сентиментальный разговор?

И отвернулась, точно хотела скрыть от меня свое лицо. Она тяготилась мной и ждала той минуты, когда кончится наше свидание. Прежняя Ольга ныла в душе тоскливой болью: эта Ольга — не Ольга. Та Ольга

умерла и стала недостижимой. Это был чужой человек, которого я не знаю и нутро которого спрятано за стеклянными глазами куклы. Так бывает только в кошмарах, когда ждешь приближения чего-то огромного, бесформенного, непонятного, которое не подчиняется никаким физическим законам, — оно скрыто в глубинах, куда не в силах проникнуть сознание. И потому, что оно непостижимо и кромешно, — оно страшно в своей неотразимости.

— Скажи мне что-нибудь, Ольга. У тебя есть что рассказать.

Она зябко ежилась, вздрагивала и напряженно думала о чем-то своем, — мучительно думала, будто на нее обрушилась какая-то беда.

— Да что ж говорить? Я тебе уже все сказала. Полный разгром. Кроме Гельгеров, никто не избежал расправы. Каторга, ссылка. Я еще до сих пор не оправилась от этого удара.

Она снова взглянула на меня оледеневшими глазами и опять улыбнулась. И когда я увидел эти глаза, мне показалось, что комната стала темнее и ниже и со стен и потолка сползала угрюмая тень.

Ее глаза были пустые.

— Ну, а ты, Ольга?.. Ты ничего не сказала о своей участи.

— Моя участь?.. Я, право, не знаю...

— То есть как не знаешь! Ведь ты же приговорена?

— Нет, я не была на суде.

— Как же это? Ведь организация тебе многим обязана...

И опять блуждающая улыбка в пустоту.

— То же самое говорят и другие. Это должно вызвать подозрение, не правда ли?.. Супруги Гельгеры и я...

— При чем тут подозрение? Я просто интересуюсь...

— Меня направили в административную ссылку.

— Куда же?

— Не знаю. Куда-нибудь ближе к Якутке.

Внезапно вывертом руки, как актер, Дынников уткнул в Ольгу дрожащий палец.

— Она лжет, каторжанин. Не верь ей... Впрочем, любовь построена на глупости и нелепости. А легковерие — из этого порядка... Хлы... хлы!.. Она на днях отправляется к своим пенатам.

Ольга медленно подняла голову и взглянула на него с холодным недоумением.

— Да? В первый раз от вас слышу.

— Ну, и больше ничего. Довольно! Шагом-марш по своим клеткам! Священное слово — тюрьма. Это надо понимать... хлы... хлы!.. и чувствовать смак...

Ольга поднялась сразу, будто обрадовалась, и торопливо сунула мне руку откуда-то из подмышки. Я тоже поднялся и ждал, что она взглянет на меня и скажет на прощанье какое-то свое, наболевшее слово. Но она ушла быстро, обычным бегущим шагом, и ни разу не оглянулась.

Дынников засмеялся глухо, с хрипотцой, и глаза его налились слезами.

— Поздравляю... с трагическим браком...

— И вас также...

— Ш-што-с?

Он дико вытаращил на меня пьяные белки, и усы задрыгали в растерянной улыбке.

— Надзиратель!

Слепая пустота

Стены камеры раздвинулись, но воздух был такой же застойный и грязный, как в прошлые дни. В длинной воронке коридора целыми сутками дымилась вонючая муть. Она пакостно вползала в камеры, царапала горло, растворялась в крови, осаждаясь в мозгу неугасимыми головными болями.

Однажды вечером надзиратель притащил пузатый тюк махорки и спичек. И долго, до самой полночи камеры смеялись и пели, и уже не было той строгой, ушедшей в себя тишины, которая недавно сгущала тьму раздумным самоуглублением. Тогда ночные стены и эта подвальная тишина были полны смутных предчувствий и тревожных томлений. Тогда каждое мгно-

вение разбухало в часы, и мы растворялись во времени до потери сознания.

Теперь время играет и плещет потоком. Оно застаивается только в ночных необитаемых углах и закоулках. И хороводные голоса, и взрывы хохота, и вспыхивающая цигарка в зубах у Митри, и растянутые спутанные спирали дыма в камере, и зеленый туман в коридоре — все это превратило тюрьму в вагонную сутолоку. Все стало обычно, скучно, буднично, однообразно.

Каждый день, с утра до вечера, камеры теряли свою обособленность: двери широко распахивались, и стены смахивали застойную пыль. Камер не было, и коридор сливал их в одну общую казарму. И люди стали тусклы, с маленькими словами, неотделимыми от их платья, от сна, от еды, от их привычных движений. Курили до одурения, играли в коридоре в чехарду, писали письма, читали газеты, коченели над шашками. Замятин пел песни по целым дням. Бродил по коридору из камеры в камеру, брякал кандалами и говорил:

— Хорошая песня, друзья, — это крепкий, надежный винт для жизни. Ежели бы не было песни, половина наших героев издохла бы без всякой славы. Песня — это хорошая отдушина в недобрый час невзгоды. В дни наших побед и завоеваний мы отведем песне и музыке самое почетное место.

Он всегда был полон здоровья и бодрости, всегда был шумный и размашистый, всегда ворошил и будоражил всех своей неуемной силой.

— Други мои, аскеты и скопцы! У вас нет радости жизни, потому что в вас нет трепетанья будущего. Вот я имел вчера свиданье с анархистками, с юными бунтующими девами, а вы меня облаяли ерником. Лицемеры! Как истинный революционер, исповедующий единую реальную цель — железную диктатуру пролетариата, — я высоко ценю и возвожу в культ великое творение природы — прекрасную женскую любовь. Новая античность — это здоровое тело, могучий мозг, любимый труд, творящий искусство. Вот оно — будущее. Разве я не могу создавать гимны будущему в стиле

несравненного Уитмена? Черт вас подери, это я доказываю вам каждый день. Вы тупицы и бездарь, потому что не можете оценить по достоинству моих талантов.

На дворе уже не было бессмысленного и казенного хождения гуськом около пáлей. Пышный снежный сугроб был вспахан множеством ног и теперь был уже грязный, комкастый, льдистый и не искрился радужной пылью. Только воздух по-прежнему хрустел морозом и высекал искры на солнце. Надзиратель стоял уже около стены секретной, у входных дверей, и был дремотно-рыхлый, глухой, слепой и безгласный, как чучело.

Замятин, как всегда, первый выбегал, в одной арестантской блузе, рвал кандалы и будоражил снег огромными опорками. Он с ревом бегал по двору и, комкая снег в широких ладонях, встречал нас белыми бомбами, которые сочно рвались у наших ног и на стене секретной. Начиналась всеобщая ералашь, хохот и толкотня.

Каждый день я подходил к палям и смотрел на дворик женской тюрьмы. Там тоже была снежная свалка, и визг женщин волновал нас и ломал этот гнилой забор. Каждый день мы гурьбой толкались у палей и кричали:

— Товарищи женщины!.. Сюда!.. Женщины, сюда, к нам!.. Женщины!..

Забор трещал и шатался от напора, и наши крики и крики женщин сливались в общий гам: мы осязали друг друга в запахах, в дыхании, жадно ловили пальцы, просунутые в прорехи забора. Мы не могли видеть лиц и фигур, но мы чувствовали их близость и уносили с собою случайные прикосновения их рук и их голоса, которые звучали чудесной музыкой.

Несколько раз я один подходил к этому забору и смотрел на двор, живой от птичьего смеха. Я хотел хоть на миг увидеть Ольгу. Ее не было в толпе. Она была или в камере, или сидела где-нибудь около стены, одинокая, нелюдимо-строгая, ушедшая в себя. И оттого, что я потерял ее и она растаяла в моих дневных впечатлениях, — я тоже отчужденно бродил

по двору, и мне было больно, что я один с своей тоской, что никто из этой ералашной артели не поймет меня. Я избегал товарищей и в коридоре и боялся только одного, как бы не подошел ко мне кто-нибудь из них и не оглушил меня шальным и назойливым словом. Некоторые из них смотрели на меня пытливо, исподлобья, порывались встряхнуть меня вопросом, но не решались.

В одну из таких минут ко мне подошел Архип.

— Что с вами, товарищ Угрюмов? Вы не больны?

Тюремные будни цвели в его душе весенним праздником, и потому, что он считал себя узником за дело революции, он был счастлив и трепетал от гордости и восторга.

— Если вы нуждаетесь в помощи, товарищ Угрюмов, я с радостью...

— Видите ли, Архип... бывают моменты, когда человеку важно остаться наедине с собою. Так вот, я переживаю именно такой момент.

Он сразу загорячился, и глаза у него стали совсем младенческими и прозрачными. Его мысли вспыхивали в зрачках ярче, чем его слова, и я видел их раньше, чем они воплощались в звуке.

— Вам ли это говорить, товарищ Угрюмов? Вы боевой революционер. На ваших плечах — годы каторги, а на ногах — кандалы. Вам ли унывать и уходить в себя? Я не могу этого понять. Ведь это же мне нужно бы распускать нюни, — мне стыдно, что у меня только паршивая ссылка.

Он обезоруживал меня своей детской серьезностью и радостью. Его голова горела книжными вымыслами и сказками о небывалых подвигах и богатырях, которых не бывает в жизни. Он забывал, что революционер — эта непримиримая ненависть и безрадостное детство, что это долгий путь мучительной борьбы, отверженности и бесправия. Я сказал ему об этом неясными словами, похожими на намек: я не хотел, чтобы он ушел от меня, отравленный обидой. Он тихо и грустно перебил меня:

— Ну да. Я это хорошо чувствую: ведь я из рабочей семьи. Мой отец машинист. Он погиб при круше-

нии поезда. А сестра у меня кончила только начальную школу, а сейчас в ученье у портнихи. У матери только и была одна надежда — это я.

— Откуда же у вас такой радостный пыл? Вы романтик, Архип.

— Радостный пыл? У меня-то радостный пыл? Вот уж не ожидал... Да мрачнее и злее меня, кажется, и человека нет. Я только и думаю о беспощадной борьбе, о кровавом восстании против господствующих кровопийц. Я знаю, что это — навсегда. Живым я не сдамся.

Разгорелись дискуссии в камерах, и эти дискуссии были сумбурны, крикливы, душны от толчеи и отравлены табачным дымом. Спорили до надсады, до хрипоты, до обалдения. Споры велись обычно между эсдеками и эсерами по аграрному вопросу. Уши глохли, рвались мозги от «социализации», «муниципализации», «отрезков», «национализации», «латифундий», «парцелляций»...

— Ваши отрезки — это трусливый паллиатив. Это реакционная утопия, с которой нужно бороться как с самодержавием. Это пошлость, которая выдает всю вашу беспомощность и убогость. Крестьянин не нищий: он не хочет собирать кусочков. Мы не хотим пауперизации... Муниципализация — это уже рабское подражание социализации социалистов-революционеров.

— Что такое? Мы, меньшевики, реальные политики и никогда не шли на поводу у эклектиков. Муниципализация земли вытекает из реального соотношения сил современной деревни... Производительные силы страны... Мы решительные противники вооруженного восстания... Большевики не меньшие утописты с своей теорией захвата власти... Это подпольный авантюризм, это младенческая игра... бланкизм, который осужден историей... Организация сил вокруг думы...

Я бешено кричал им:

— Позор! Позор!.. Меньшевики, как и эсеры, в одинаковой степени капитулируют перед буржуазией. Только диктатура пролетариата является единственным лозунгом для революционной борьбы. Вы панически бежите с поля битвы. Вы изменники, пошлые ликвидаторы... Вы бессовестно предаете пролетариат за чече-

вичную похлебку... Принцип классовой борьбы для вас только грязная тряпка ..

И так — каждый день.

С Праховым мы мучительно нудно молчали. А когда глаза наши невольно встречались, у него вздрагивали веки и в зрачках были мутные капли. Митря был одинаково открыт и ему и мне. Прахов был по-прежнему прост и понятен, когда разговаривал с ним, добродушно смеялся, болтал будничный вздор и возился с ним, как с кутенком.

Днем я редко видел Прахова. Сначала он ушел с головой в работу по организации коммуны. Пропадал в кухне: вводил там дисциплину среди поваров из уголовных, инструктировал дежурных, устраивал общие собрания по вопросам внутреннего быта.

В течение недели произошли большие перемены в секретной. Каждый день по утрам все были заняты чисткой камер и коридора. Из камер убрали параши, а на их место поставили крепко сбитые стульчаки с ведром в середине и отводной трубой. И уже не было нудного смрада в казематах, и по камерам и в коридоре долго пахло смолистым запахом новых досок.

Впервые за это время дурашливой толпой ходили в баню. Покрытые белыми хлопьями мыльной пены и тающие в струях воды, все эти нагие люди казались не арестантами, а свободными обывателями, которые сейчас выйдут в предбанник, оденутся и, распаренные, разбредутся по своим домам. Я утопал в певучем гуле голосов, смеха, шлепанья ладоней, и сам заражался бодрым весельем, дурил и забывал, что я в тюрьме, что на ногах у меня кандалы.

Прахов сильно изменился за эти дни: ссутулился, постарел, смотрел исподлобья угрюмым, немножко одичалым взглядом, и скулы у него стали острыми, сизыми, а лицо грязным, точно он не умывался, и в морщинах на лбу и около глаз чернела застарелая копоть. И воло́с будто не чесал: на голове они были кудлаты и сальны, а борода — спутана, в клочьях. Он ни с кем не говорил, не останавливался на зов, всегда был замкнут, деловит и сосредоточен на одной мысли. И уже не боролся с Замятиным и не принимал участия в

снежных свалках: он был один с затаенной, неумирающей болью. Я знал его боль, знал, чем он жил в эти дни, но был к нему равнодушен: ведь у меня тоже была боль, до которой нет ему дела. Может быть, для того чтобы заглушить в себе эту боль, он взял на себя всю тяжесть хозяйственных и организационных дел в нашей секретной. Голос у него стал как туго натянутая пружина; этот голос трудно было вынести: он давил, бил по нервам суровым убеждением и ледяным спокойствием.

Многие одобрительно улыбались ему вслед, а многие возмущались и, бледные от обиды, шумно ругались в его отсутствие. Потому ли, что Прахов был эсдек-большевик и эсдекам была по душе его властная суровость, — большинство их стояло горой за него и насмешничало над недовольными.

— Прахов молодец, крепкая голова! Плевал он на ваше самолюбие с высокого моста. У вас нет даже мужества выступить против него открыто. Погодите, он вас быстро возьмет за жабры...

Эсеры и анархисты хотя и не действовали активно, но составляли дружный оппозиционный блок. Спорили обычно в камерах, и споры эти возникали сразу в разных местах. Кричали безалаберно, не слушая друг друга, и было похоже, что во всех камерах бурные ссоры и склока, которые разразятся всеобщим мордобоем.

Однажды вечером, перед поверкой, Прахов вышел в коридор и прислушался к выкрикам. В камерах была очередная горластая бестолочь. Мне почудилось, что он сразу стал высоким, мускулисто-крупным и властным. С суровой усмешкой уверенного в себе человека он гулко крикнул:

— Эй вы, скандалисты! Выходи и слушай! Живо!

Крики оборвались, затопотали опорки, и железом рассыпались кандалы.

— Заявляю вам решительно и прямо, друзья и недруги. До тех пор, пока я староста и выполняю возложенные на меня обязанности, я буду держать себя так и поступать так, как требуют интересы коммуны. А на ваши капризы мне начхать. Кого-то я обидел, кому-то

не понравился, кому-то не сказал нежного слова, кто-то не выносит власти... Слабо, друзья мои. Вы хотите, чтобы я струсил и разыграл роль буржуазного министра: ах, граждане, вы выражаете мне недоверие — я слагаю свои полномочия. Я, голубчики, не из таковских и собачьей старостью не страдаю. А со всеми смутьянами и политическими жуликами мы сумеем справиться по-революционному. Я все сказал, можете успокоиться.

Он повернулся с уверенностью человека, знающего свою силу, и пошел в камеру. Его шаги замерли в аплодисментах и криках:

— Браво, Прахов!.. Молодец!..

— Позор!.. Долой диктатора!..

— Браво!.. Завинчивай крепче, товарищи...

Впервые в эти ночные часы между мною и Праховым завязалась новая тревожная связь.

Уже закутавшись в одеяло, он бросил мне на стол комочек бумажки. Она была грязная, засаленная и туго сложена острым треугольником. Я прочел слепые слова, нацарапанные карандашом:

«Родной мой! все силы уже истрачены. Я надорвалась. Я — не для тебя. Слишком непосильную ношу я взяла на свои плечи: любовь к тебе раздавила меня. А кругом без тебя — такая тьма, такая могила, что непереносно жить. И я уже много дней умираю от мысли, что я тебе не нужна. Наши жизни несоизмеримы. Прости меня за то, что я не могла дать тебе того, что тебе нужно. Ты слишком сильный, чтобы не тяготиться моим бессилием. Я уже не способна к сопротивлению. Благодарю тебя за то счастье, которое ты мне дал: я его не заслуживала. Ты же достоин другой любви — могучей и неломкой. Есть такие пороги, через которые не дано переступить. И я исчезаю с мыслью, что ты — за этим порогом. Забудь о неудачной осенней былинке, которая растоптана безвременьем. Но вспоминай иногда о былой, горячей и жертвенной Наташе».

Я опять тщательно сложил бумажку по прежним складкам в тугой треугольник, положил ее на противоположный край стола, около Прахова, и украдкой взглянул на него. Он лежал на койке вверх лицом и, закинув руки за голову, смотрел в потолок непотухающими глазами. Он не заметил, а может быть, сделал вид, что не заметил, как я положил бумажку, и сказал обычным жестким и упругим голосом:

— Баба — даже самая умная — всегда шагает через глупость.

Его точно душила икота.

Я ответил не сразу, рассеянно, сквозь зубы:

— Парадокс — тоже разновидность глупости. То, что для тебя просто и вызывает презрение, то для меня — сложно, вызывает раздумье и тревогу.

Он не отозвался и отвернулся к стене.

После свидания с Ольгой я уже не видел Дынникова. Вместо него на поверку приходил чистенький, надушенный, всегда свежевыбритый молоденький помощник. Он был всегда деликатен, предупредителен, с манерами щеголеватого офицера. Говорил тихо и бархатно, с едва заметными поклонами.

Сношения с миром были уже через Мизинчика. Когда он нагружал письмами свою пазуху или передавал их Прахову, сердито усмехался и бормотал в бороду:

— Пропадешь с вами, черти не нашего бога. Ведь закуют. А у меня — семеро с ложкой... В деревне нé при чем, а в городе, окромя полиции, и места не найдешь. Кто возьмет меня, такого чумного? Хуже волчьего билета.

Его давили тесной толпой и ласково хлопали по плечу.

— Ничего, ничего, Мизинчик, не робей. Это тебе зачтется. Дадим тебе самую лучшую рекомендацию. Да и зачем тебе идти на сторону: ты и здесь хорошо служишь революции.

— Ах вы, шпана шилохвостая!.. Да я вас в бараний рог согну!.. Да я мокрого места не оставлю от вашей революции... Да вы знаете, что я здесь поставлен для удавления крамолы...

Все тормошили его и кричали «ура». А он, довольный и грозный, смеялся глазами и уморительно шмыгал носом.

— А-а!.. то-то же... я вам покажу, какие бубны за горами!

Неожиданно я получил ошеломляющую записку. Она была без подписи, но Прахов сказал мне почему-то шепотом:

— Письмо от местных подпольщиков. Это верно.

А письмо это было только из трех строк:

«Муха — под подозрением. Сведения — от верных людей. Есть факты, но требуют подтверждения и проверки. Будьте осторожны».

У меня дрожали руки и ноги, и в животе замирало, будто я летел вниз с огромной высоты. Не было ни людей, ни стен — была только густая пустота. Я лег на койку, но койки тоже не было, а только нестерпимая дрожь в руках и ногах. И странно: в душе было тихо и спокойно, и мысли были такие серые, будничные и совсем не об Ольге.

...Нет расчески — только обломок. Надо купить... Завтра дежурство по кухне... У Немиловича чахотка и кровь горлом: скоро умрет...

В коридоре надоедно орал Замятин. Он ходил задрав голову, и все время пел. Те песни, которые волновали на воле, сейчас выворачивали нутро и мяли мозги. И весь этот день был только криком Замятина, и я не помню, какие были события, какие были встречи и разговоры. Может быть, я не обедал и не ходил на прогулку. А может быть, все это было, но делалось само собою, без участия моего сознания.

Ночью я проснулся от собственных стонов. Гаснущие образы сна были потрясающими. Сердце билось редко и больно. Это была обреченность приговоренного к казни. А сон был простой и прекрасный, как картина большого художника. Но что-то в нем было страшное и отвратительное.

...Поле горит весной. Ядреная золотая зелень и цветы — множество белых и желтых цветов: все ромашки, сурепка и одуванчики. И лазурь тает теплым ветерком. А по цветам ходит Ольга в длинном белом платье. Оно

спускается сплошным полотном от плеч и теряется в зелени и цветах. Вот она уже стоит неподвижно, опустив руки, точно неживая. Я очарованно смотрю на ее лицо. У нее огромные провалы вместо глаз, а вместо ресниц — дождевые черви. Я хочу спрятаться в траве, спастись от Ольги, но не могу. Я во власти нечеловеческой силы, которая непреоборима и которую нельзя объяснить никакими законами. Потом Ольга начинает медленно плыть ко мне. Я слышу, что вместе с нею льется тихая милая песня. И будто не она поет, а все зеленое поле в цветах. Я хочу крикнуть от ужаса и — не могу... Я задыхаюсь и падаю от безнадежности.

В коридоре шаркали шаги, шелестел воровской шепот, и откуда-то издалека наплывали тревожные волны, и эти волны ощущались не слухом, а всем нутром.

Смертники!

В страхе и смятении я встал с койки и, придерживая кандалы, засеменил к волчку. Мне почудилось, что отворилась входная дверь и опять затворилась. Я приложил ухо к волчку. В коридоре была сонная тишина, и где-то далеко певуче цыкала редкая капель. Я опять пошел назад, наклонившись над кандалами и не выпуская их из рук. Прахов не спал и смотрел на меня с тревожным и немым ожиданием.

Последнее свидание

Ольга вошла не так, как в прошлый раз. Она быстро влетела, облитая прежней сияющей улыбкой радости, и глаза ее были широко открытые, чистые, утренние.

Перед нами, опираясь на проволочную сетку, стоял чистенький, тщательно выбритый помощник, похожий на молоденького офицера. Он с холодной вежливостью встретил Ольгу едва уловимым поклоном. Ольга даже не взглянула на него и с неугасающей улыбкой протянула мне руку.

— Ты сердишься на меня за прошлое свидание?

Да? Это не хорошо с твоей стороны. Я была больна, и ты этого не заметил. Это плохо, что у тебя нет чуткости. Теперь же вот видишь: я сама тебя вызвала. Только уж не надо ни ругаться, ни упрекать друг друга. А тем более сомневаться друг в друге. Я тебе должна сообщить следующее: меня отправляют обратно. Очевидно, привлекают к суду.

В ее глазах, таких прозрачных и распахнутых, не было ни тревоги, ни притворства. В них искрилась только радость и вспыхивала та свойственная ей внезапная улыбка, которая бывала только в редкие минуты возбуждения.

— Я не вижу причин особенно ликовать по этому поводу, Ольга. Ведь, кроме каторги, ты ничего не получишь.

Она откачнулась от меня в смешливом изумлении.

— Мне говорят, что я похожа на Софью Перовскую. Ты не находишь этого?

И засмеялась.

В первый миг этой встречи я опять готов был броситься к ней на шею: улыбка, которая светилась еще издалека, от самых дверей, побеждала меня, и все мои сомнения и муки сгорали в ней, не оставляя пепла. Но этот неожиданный смех вдруг испугал меня. В нем было что-то такое, чего я не слышал никогда. Этот смех вызвал улыбку на усиках щеголеватого помощника, но в душе у меня что-то провалилось и заныло мутной тоской.

— Что с тобой? Мы, кажется, меняемся ролями в это свидание? Какой ты злопамятный! Не надо сердиться.

— Я не сержусь, Ольга. Мне только приснился очень скверный сон.

— Ну, вот. Выходит, что сон в руку. Ты хочешь сказать, что этот скверный сон — к худу. Нечего сказать, удружил.

И опять я испугался. Эту болтливость я заметил у нее впервые. В ней было что-то чужое и оскорбительное.

— Я видел тебя во сне, Ольга... с пустыми глазами.

А потом будто получил письмо, в котором было только два слова, которых я не помню, но значение их ужасно.

Она в упор врезалась в мое лицо застывшими глазами, и, сквозь окоченевшую улыбку, через вздрагивающие веки, в зрачках запрыгали тонкие иголки.

— Ну, и что же? Какой же скрытый смысл во всем этом?

— Нет, какой же тут смысл? Просто скверный сон, и больше ничего.

Она с затаенной враждой стала ощупывать меня прищуренными глазами.

— Ко всякому скверному сну надо относиться с особой осторожностью. Сон — всегда прошлое, а не будущее. Вопреки рассудку, сон всегда создает ложь из самой настоящей правды. Это будто бы утверждает Бергсон.

Помощник рассеянно ходил вдоль сетки, курил, держа папироску на отлет и смахивая пепел мизинцем. И в тот момент, когда он сделал около нас военный поворот на каблуке, я сунул Ольге записку — ту самую, которую я получил накануне. Она мгновенно и жадно вцепилась в нее глазами, и грудь ее поднялась от судорожного вздоха. И в тот же миг она крепко зажала бумажку в руке.

Веки и губы у нее дрожали, и я опять увидел, что у нее — пустые глаза. И не знаю почему, я почувствовал больно и непоправимо, что передо мною не Ольга, а этот образ кошмарного сна. Не Ольга, а страшный призрак — убийца под личиной невесты. А что, если это она надела на меня кандалы? Что, если эти несколько лет каторги были приготовлены мне первыми ее поцелуями? Как примириться с этой чудовищной нелепостью? Я был болен в эти дни, болен и в эти минуты нашего свидания. От кого исходила эта злополучная записка? Кто-то знал меня в этом далеком городе, кто-то знал и Муху — ее, Ольгу, — чтобы выделить нас из массы тех, которые заперты в казематах. Я сидел перед ней больной и разбитый и не мог посмотреть ей в глаза.

Она натянулась, как струна, и вздохнула, и в

улыбке ее, мертвой, как маска, было огромное напряжение воли.

— Ты знаешь, кто это?

— Откуда мне знать? Для меня это слишком неожиданно.

— Это кто-то из Гельгеров. Подозрение падало на одного из них и на обоих вместе. Самый пошлый, избитый прием, который, к сожалению, еще не потерял эффекта, — это направить следы по ложному пути. Я очень рада, что возвращаюсь на место. Я сумею разоблачить эту мерзость. Скажи мне, что ты думаешь сам.

— Не знаю.

Иголки опять сверкнули в ее глазах. Она откинула голову и взглянула на меня сверху.

— Ну, хорошо — не настаиваю. В эти гнусные дни — в дни самой подлой реакции — реакции внутренней, когда люди сходят с ума, — нужно быть готовым ко всему. Предатель мерещится даже в любимом человеке. Потому что предатель сидит прежде всего в самом себе. Всеобщий крах, всеобщее ликвидаторство. Нужно иметь железные нервы, стальную голову, каменное сердце, пустые глаза — да, именно пустые глаза, — чтобы выдержать этот ужас. Не только тебе тяжело: я страдаю невыразимо.

Она поднялась и, не подавая руки, не прощаясь, пошла к двери. Потом оглянулась. Подбородок у нее дрожал, а глаза заливались слезами. Она плакала... Ольга плакала!..

— Я не хочу убеждать тебя. Думай обо мне как угодно. Это твое дело.

Уже не было ни смятения, ни боли внутри, а какая-то безразличная туманная пустота. И совсем некстати, помимо воли, сами собою сказались последние слова, и эти слова я не ощутил в себе, а послышались они откуда-то издали:

— Ты, Ольга, не беспокойся... Я верю... Все образуется...

Она опять обернулась и бросила сквозь зубы мимо меня, в решетку:

— Как же тебе не стыдно лгать!

И ушла.

Провал

Утром, когда мы, по обыкновению, пили чай, вошел молоденький помощник и чопорно кивнул каракулевой шапкой.

— Доброе утро, господа. Будьте любезны, господин Прахов, пожаловать в контору, — там для вас есть экстренное дело.

Прахов встал и пристально взглянул на меня. Потом усмехнулся в бороду и отвернулся к койке. Обычными неторопливыми движениями он напялил на себя свой длинный пиджак и хлопнул шапкой по ладони.

— Ну, вот. Готово.

И непонятно было, что он хотел сказать: напился ли чаю, или пришел для него давно ожидаемый решительный час.

— Ну, пошел. Обязанности старосты пока возьми на себя, Угрюмов. Распредели дежурство и просмотри отчетность. Понаблюдай за кухней.

Он прошел быстрым тяжелым шагом мимо помощника и скрылся в коридоре.

Митря ел хлеб и запивал его чаем с бездумной беззаботностью. К столу я больше не подходил и в тревожном предчувствии бродил в пролете между коек.

— С нашим Праховым случилась беда, Митря.

Он испуганно посмотрел на меня и подавился хлебом.

— Неужели ж опять голодовка будет?

— Не знаю. Может быть, и будет.

Он весь повял и обрюзг.

— Опять, видно, накуролесили, идолы. И чего это вы гузном трясете, галманы? Чем вас обидели, осина-борона? Ежели жрешь — сиди. А открыли двери — тряси портками и молчи. Мордой не крути и других не доводи до греха.

Меня разбирал смех. Мы совсем не знали этого нашего деревенского союзника, и много еще придется принести жертв, чтобы узнать его и заставить пойти за собой. Через его необозримые поля должна пройти

огненная буря, чтобы сжечь его тысячелетних домовых, разворошить его первобытные капища и навсегда уничтожить его избяной покой. Я не мог говорить с Митрей; не было общего с ним языка. Но мне неудержимо хотелось сделать ему больно, чтобы вызвать в нем злобу и бунт. И ничем, кроме обмана, я не мог испытать его.

— А ты знаешь, Митря, что хотят сделать с тобою и Праховым?

— Со мной нечего делать, я теленок.

— А вот я погляжу, какой ты будешь теленок. Разве ты тоже был теленком в аграрных бунтах?

— Ну, осина-борона... Тогда я был хуже барбоса. Это верно. Копыта у меня были телячьи, а башка собачья.

— Вот денька через два я погляжу, какие у тебя будут копыта. Прахова уже, кажется, повели. А теперь очередь за тобой.

Он недоверчиво улыбнулся, но глаза уже лопались от страха.

— Это... чего же, осина-борона!.. Потяни меня за хвост, а я тебя — за пупок... Мели на все поставы — помол недорого стоит.

— Можешь не верить, Митря, — дело твое. Но вас, аграрников, здесь два-три — и обчелся. Какая вы сила? А бунтари вы известные. Так вот вас и хотят закандалить на всякий случай. Ты этого и не знаешь, а Прахов все пронюхал и стал за вас горой.

Он стал вдруг маленький, грязный, с трупным налетом в лице.

— Ну, не ври, чертова кукла! Что больно высоко кукарекаешь? Дурее тебя, что ли?

— Как хочешь. Потом не говори, что тебя водили за нос. Я тебя предупредил, а там не пеняй. Видишь, Прахов передал мне и обязанности старосты. Для чего? Для того, чтобы в случае надобности организовать сопротивление. Не знаю, чем кончится этот день, но думаю, что будут большие события.

Он силился что-то сказать, но давился и не мог прорвать клокотавшую хрипоту в горле.

— Ну, так что же теперь делать-то, браток? а? Как же быть-то?

Я спокойно положил перед ним крепко сжатый кулак и сказал тоном приказания:

— Этого нельзя допустить. Мы будем бороться до последних сил. Раз нам объявлена война — будем воевать. Гамузом. Голодали гамузом — добились своего. И теперь будем бить дружной артелью. Мы возьмем свое, не беспокойся. А отобьешься от артели и будешь куксить — загремишь кандалами. Понял?

Не знаю, заразил ли я его искренностью своей лжи, или он ослеп от отчаяния, — он вскочил как безумный и начал метаться в проходе, между мною и столиком, натыкаясь на койки, на меня, на табуретку и путаясь в собственных ногах.

— Бить буду, сволочи... кусаться буду... как бешеная собака... Умру — не дамся!.. Кости ломать — так кости ломать... Нам не впервой бунт... Все одно пропадать — бей!.. Булгачь народ — сам вожаком пойду...

А я наслаждался его буйным припадком и был в восторге от своей удачно сыгранной роли. Прахов не умел подойти к нему, а я вот на мгновенье сделал его человеком.

Я взял его за плечи и так же спокойно и властно посадил на табуретку.

— Теперь слушай, Митря: об этом пока никому ни слова. От этого зависит все. Надо взять себя в руки и ждать, что будет дальше. Остальное предоставь делать мне. Сядь и успокойся.

— Я сейчас, браток... за этого Прахова... за родного человека... в огонь и в воду пойду... на нож полезу, осина-борона... Ведь вот он какой человек!..

Я вышел в коридор и деловым перезвоном кандалов заглушил шорохи, голоса и песни товарищей.

Прахов не возвращался.

Была дообеденная прогулка. В снежной борьбе, как и в прошлые дни, задыхались от ребячьей бестолочи. В метельной будораге слепили глаза от обжигающей огненной пыли, пыль таяла на лицах и стекала

ручьями со щек, со лба, и горячая кровь в шуме и хохоте враждовала с морозом.

В час обеда вместо Прахова около куба с горячими щами стоял я рядом с дежурными по кухне. И только теперь, когда люди нанизывались друг на друга длинными хвостами около стен — и вправо и влево — с деревянными чашками, — только теперь, с разных сторон с праздным любопытством равнодушно срывались вопросы:

— Где же наш Прахов, туда его горой?

— Что же это он? Начинает уж на манер патриарха-организатора? Не хочет спускаться к народу?

И — пересмех и переклик от скуки и давки, от неустоявшейся крови после прогулки.

После обеда, когда бак с остатками пищи и грязную посуду сволокли в кухню, я вышел в коридор и крикнул в один и другой конец:

— Товарищи, на экстренное летучее собрание. Выползай скопом. Продолжительность заседания — пять минут.

Как и всегда, на собрания высыпали из камер охотно, — это были минуты, когда каждый приносил с собой прошлое. Были когда-то ночные собрания, были когда-то митинги и массовки, а теперь они вспыхивали в коридоре тюрьмы в докладах, прениях и голосованиях. Стены исчезали, и забывались арестантские будни.

Так и теперь: коридор затолпился и зашагал в мою сторону и справа и слева. Все сгрудились, подпираясь плечами, и густо толпились кругом.

— Какого же черта... где Прахов?..

— Почему в отсутствие Прахова? При чем тут Угрюмов?..

— Тише, товарищи!.. В чем дело, Угрюмов?

— Тут что-то, друзья, неладное... Я, брат, это сразу почуял...

— Прахов... Угрюмов... Тише!.. К порядку, товарищи!.. Избрать председателя...

Архип смотрел на меня влюбленными глазами и волновался. Он почему-то высоко поднял руку и, захлебываясь от восторга, крикнул певуче:

— Товарищи, предлагаю в председатели уважаемого товарища Угрюмова!

— Почему Угрюмов?.. Много таких уважаемых... Эсдеки всегда ведут захватную политику... Немиловича в председатели!

— Эсеры похлеще эсдеков выставляют примат своей личности...

Архип не опускал руки и кричал:

— Я к тому, товарищи! Здесь нам спорить не приходится... Стыдно кричать о местничестве... Я к тому, что товарищ Угрюмов неспроста... У него какое-то важное заявление...

Смех. Возня.

— Это еще что за пифия?.. Он еще гоняется за воронами... Ну-ка, Угрюмов, кажи, с какого боку ты уважаемый.

Архип сконфузился, обиженно вздрагивал и озирался.

Я тоже поднял руку, призывая к порядку, и сказал спокойно, но с видом человека, которому известно то, что им не дано знать...

— Товарищи, я должен предупредить вас, что необходимость этого экстренного собрания вызвана особым тревожным обстоятельством. Прахов был вызван в контору еще утром и до сих пор не возвратился. У меня есть все основания думать, что с ним произошла катастрофа. Нам нужно приготовиться реагировать на это событие организованно и решительно.

Изумление, растерянность, тишина.

Замятин затрубил, раздувая ноздри:

— Вот что, друзья! Кажется, опять мы накануне веселого праздника. Праздник — дело необычное, и справлять его нужно особым манером. Я любитель всяких ядреных праздников. Разрешите мне быть председателем по этому исключительному случаю.

Кто-то засмеялся пискливо и осекся. Прошелестели улыбки. Но тревожное любопытство сейчас же смыло их с лиц.

Не ожидая, что скажет толпа, Замятин только оскалил зубы и брякнул кандалами.

— Нет возражений?

И сразу же ответил сам себе:

— Нет. Единогласно! Послушаем, что еще скажет нам Угрюмов. (А у самого — хитрая, знающая гримаса.) Валяй, душа моя. Тебе внемлет напряженный слух испытанных борцов и ветеранов революции.

Я кратко сказал, что Прахову грозит или смертная казнь, или долголетняя каторга. О причинах этого я нахожу нужным пока умолчать. Есть только три выхода из этого положения: или он будет отправлен в свой город, или водворен опять в нашу секретную, изолирован, или, наконец, возвратится в первоначальное состояние. Что мы должны делать? Если его изолируют вместе со смертниками или в другом корпусе в подвале (других изоляторов нет), мы не должны заходить в камеры и потребовать, чтобы его водворили обратно.

Все стояли неподвижно и замкнуто. Я видел множество глаз, но они не смотрели на меня и прятались друг от друга. Даже Замятин крутнул головой и щелкнул языком.

— Да, это называется — уравнение со многими неизвестными! Кто предлагает решение? Впрочем, одно решение предложено Угрюмовым. За вами слово, доблестные ветераны.

Кто-то робко промямлил:

— Как же так? Дело пахнет кровью... Надо обсудить... Это не шутка...

Архип поднял руку и получил слово.

— Товарищи, в этот критический момент нельзя рассуждать. О чем мы будем спорить? О том, выступим ли мы на защиту товарища, или нет? Разве из вас найдется кто-нибудь, который сказал бы: нет, мы умываем руки — пусть гибнет Прахов? Конечно, наоборот. Тут может быть только одно решение: бороться до конца, даже ценою собственной крови. Я первый буду идти впереди всех. Я за предложение товарища Угрюмова.

Кто-то крикнул рваным голосом:

— Дело ясное, Замятин, голосуй!

Все закричали наперебой, сумбурно, проталкиваясь в передние ряды, не слушая никого.

— Я не понимаю... Это безобразие... Позвольте, товарищи... Я требую... Голосуйте!.. Дайте мне слово... К черту — валяй!.. Голосуй!..

И совсем неожиданно появился около меня Митря и, надрываясь от непослушных и непосильных слов, замахал руками:

— Да за милого брата, за Прахова, я в огонь и в воду полезу... кишки порву... зубы буду дробить!.. Что вы, осина-борона?.. Прахов иди за других, — за нас, чертей, — в пропастину?.. Сейчас Прахова на веревку, а за ним — меня на веревку... Рваться — так рваться миром... Что же это, братцы? а? С ума сойду, а не убью души...

Он засморкался и захлопал глазами.

— Помощник идет...

Толпа колыхнулась, но сразу же успокоилась. Все, по привычке, сделали вид, что не заметили начальства. Замятин опять крикнул:

— А ну-ка, друзья, мы сейчас сделаем интерпелляцию!..

Помощник — тот же молоденький — подошел с офицерской молодцеватостью и приложил руку в перчатке ко лбу.

— Здравствуйте, господа. У вас, очевидно, собрание. Я к вашим услугам.

Чисто выбритое лицо его цвело морозным румянцем, и весь он дымился уличной свежестью.

Смешливый мальчишечий зуд, как щекотка, подмывал меня схватить его за нос и поводить по коридору. А Замятин с улыбкой рубахи-парня весело крикнул ему:

— Весьма польщены вашей необыкновенной предупредительностью, монсеньор. Хотя знать любопытно, какого рода услуги вы изволите оказать нам?

Помощник улыбался румянцем и весь растворялся в готовности выполнить все наши желания.

— Господа, я далек от мысли ставить вам на вид то обстоятельство, что вы устраиваете собрание без присутствия администрации. Я не формалист. Это будет между нами. Предлагаю вам свое посредничество.

Кто-то крикнул из задних рядов:

— Лиса — самый опасный зверь: она слишком тонка в обращении и любит посредничать.

Архип подталкивал меня плечом и волновался от нетерпения:

— Говорите, товарищ Угрюмов.

Я спросил этого щеголя холодно и официально:

— Нам хотелось бы знать, что случилось с нашим товарищем, старостой Праховым? Отвечайте прямо и открыто.

Помощник конфузливо опустил глаза и улыбнулся. Эта улыбка была тоже опрятная, чистенькая, готовая ко всякому случаю.

— Я ничего вам не могу сказать, господа. Мне ничего не известно.

Я перебил его тем же холодным голосом:

— Вы лжете. Вы не можете не знать, где он: здесь или вне тюрьмы. Вы, как дежурный, обязаны быть в курсе дела.

Он немного смутился, но не нарушил своей молодцеватой выдержки.

— Я, господа, не хочу получать от вас незаслуженных упреков. Если бы мне была известна судьба Прахова, я бы немедленно сообщил вам. Я одного желаю — жить с вами в дружбе и взаимном доверии. Знаю только одно, что Прахова в тюрьме нет.

Я насмешливо поклонился ему и проговорил с актерской кудреватостью:

— Я не имею смелости, мосье, утруждать вас больше своими вопросами. Ваши обязанности столь тяжки и почтенны, что мое праздное любопытство усугубляет их трудность и ответственность вашу перед незыблемыми законами... кровавого режима...

Я не кончил, сброшенный со своей позиции взрывом хохота. А Замятин, раздувая ноздри, одобрительно похлопал ладошками.

— Ведь вот какой молодец, а? Государственный у тебя ум, Угрюмов!

Архип стоял, потрясенный, нетюремный, и теребил меня за рукав.

— Надо же решение... товарищ Угрюмов... Мы

совсем не договорились. Я не могу дальше... С этим шутовством я не могу согласиться...

Мы переглянулись с Замятиным и поняли друг друга: продолжать заседание больше нельзя.

— Ну, товарищи, все ясно. Расползайся по своим норам. Надо всхрапнуть после обеда. Финис коронат опус [1].

Замятин по-военному приложил ладонь к уху и выпалил в лицо помощнику, отрубая каждое слово:

— Честь... имею... кланяться, пенитенциар!

В глазах помощника дрогнула растерянная улыбка, но он держался с чопорным достоинством.

Через толпу гуляющих по коридору людей мы пошли с Архипом к последней камере. Меня останавливали товарищи и смотрели тревожными, недоуменными глазами.

— Ну, так как же, Угрюмов?.. Ведь вопрос-то остался нерешенным, а? Что же делать?

— Решим по камерам.

— А ведь начальство-то сторожит... Пронюхало... черт возьми! Знает, что даром не пройдет.

— Вот что, Угрюмов: как бы не промахнуться? Дело нешуточное.

А иные с озорными глазами шептали как заговорщики:

— Ударим, товарищи... обязательно. Надо пополировать кровь... Сердце чешется: надо что-нибудь выкинуть, а то начинают заедать обывательские будни. Сплетни пошли друг о друге... Ерунда.

Немилович лежал на койке, по-прежнему маленький, высохший, но важный в своей сизой бороде. Лицо его окостлявилось и омертвело еще больше, и руки стали длинными, узкими и прозрачными, в синих прожилках.

Архип первый подошел к нему, сел на край койки и любовно погладил ему руку.

Немилович глядел на нас мерцающими глазами и радостно дребезжал смехом. И смех прежний — рваный, с придыханиями, немного хриплый. В груди у него что-то хрустело, всхлипывало и пищало.

---

[1] Finis coronat opus — конец венчает дело *(лат.)*.

— Вот этот юноша не забывает меня... юноша, полный даров и возможностей. Он неугасим от внутреннего огня... хотя может сгореть в некий день даже мгновенно. Мы с вами всё ссоримся, Угрюмов... Это тоже неплохо, но это уже — с другой стороны. Право, я люблю остроту жизни... во всех ее напряженностях...

С обычной своей неласковой насмешкой я отмахнулся от него.

— Давайте, Немилович, не философствовать. Это скучно и бесполезно. Колокольное ботало называется языком. Неспроста. Люди любят посмеяться над собой.

Архип с упреком взял меня за руку.

— Но, товарищ Угрюмов, ведь вы тоже философствуете.

Немилович засмеялся и уткнул в меня длинный прозрачный палец.

— Да, да... он тоже философствует. Он безуспешно борется со своими стихиями. Ибо он знает, лукавец, что язык колокола и язык человека — это благовестие, то есть та же философия.

Я сделал вид, что не слушаю его, и перебил с тревожной серьезностью:

— У нас опять пахнет событиями, Немилович. Прахова изъяли утром и куда-то увезли. Что-то нехорошо. Придется реагировать.

— Вот и прекрасно... и превосходно...

— Что же прекрасно? События или несчастье с Праховым?

— Это все равно. Несчастье — тоже событие. Жизнь не терпит покоя.

Архип смотрел на него жадными глазами любознательного ученика. Волнуясь, он робко спросил его, как мудрого учителя:

— Товарищ Немилович, мы считаем необходимым предупредить вас и узнать ваше мнение. Нужно ли нам выступать? Одобряете ли вы наше решение — требовать возвращения Прахова в свою камеру, если его изолируют? Не будет ли это напрасная жертва? А столкновенис, возможно, может быть сегодня.

Немилович пожимал руку Архипа, улыбался и лепетал, как младенец:

— Превосходно... прекрасно... Чем больше событий, тем больше движения. Ибо комплексы восприятий... диалектика энергии жизни...

Я встал и быстро вышел в коридор.

Опять бунт

Коридор был пустой, и уже никто не бродил в этот вечер, как это было обычно. Все сгрудились в нескольких камерах. Говорили вполголоса и ждали. Надвигалась тревога, и в коридорных пустотах темнело предчувствие.

В сумерки, когда еще не зажигали огня и тени ползали по коридору лохматыми облаками, вздохнула и чавкнула выходная дверь, и вместе с густым туманом ввалилась толпа надзирателей и солдат. Вот этого глухого взрыва дверей и топота ног мы и ждали с мучительным напряжением.

Толкаясь и напирая друг на друга, все хлынули из камер.

С разных концов бежали группами и по одному: одни неслись вперегонки, другие задерживались на ходу и останавливались поодаль с любопытством посторонних людей. Я слышал позади гул голосов, отдельные визгливые выкрики и чувствовал, что я — один впереди и должен что-то делать, не теряя ни минуты, — и не своей силой, а силой, стоящей надо мною и позади меня.

Издали, от двери, потрясая пространство между нами, взвыл бас старшего надзирателя:

— По камерам! Марш по камерам сей же минут, я приказываю! Надзиратель, камеры на запор!

И вперебой ему веселый голос Прахова прокатился по коридору:

— Товарищи, разойдитесь по камерам! Дело не так страшно: меня только водворяют в камеру смертников. Это пока что изоляция, а потом видно будет. Разойдитесь и не устраивайте скандала.

И без волнения, с силою, которую я знал только в исключительные минуты, когда мысли четки и упруги, а назад уже нет отступления, я крикнул всей грудью:

— Товарищи, мы не зайдем в камеры! Мы требуем, чтобы Прахов был освобожден. Мы не допустим, чтобы он был изолирован от нас и водворен к смертникам!

Напор толпы и вой голосов смял последние мои слова. Люди задыхались, давили меня, толкали вперед и оглушительно кричали не поймешь что. Надзиратели плотным кольцом сжимали Прахова и дрожащими руками вынимали огромные револьверы. Солдаты защелкали затворами винтовок.

Архип кричал неслыханным голосом, весь устремленный вперед, и я не знаю, почему он не бежал к Прахову, когда ноги его не стояли на месте.

— Долой палачей!.. Умрем, а не допустим свирепой расправы над нашим товарищем... Долой тюремщиков и висельников!

Полыхали горячие волны из толпы позади меня. Она лежала на моих плечах судорожной массой и рвалась вперед, но не могла двинуться с места. Эти душные волны поднимали меня, толкали вперед, и я чувствовал себя легким, освобожденным от одежды, от кандалов, от стен и сводов, точно был вынесен на простор городских улиц и шел впереди многотысячной массы, заполняющей улицы своей махиной, потрясающей солнце и фасады домов. А впереди, в тупике, маленькая растерянная кучка черных теней, которая будет сейчас раздавлена о камни.

Нужно было сдержать толпу и поставить ее на место. Если она прорвет мой упор — она сломит меня и ринется вперед. Будут свалка, бешенство, кровь, огонь и изуродованные трупы. Я повернулся назад и расставил руки.

— Товарищи... стой, товарищи!.. Дайте мне вести переговоры...

И я видел только искаженные злобой и яростью лица — массу нечеловеческих лиц. Они напирали на меня и были глухи к моим выкрикам.

Замятин кричал около меня с обычным размашистым добродушием:

— Отпустите Прахова, друзья! Дело говорю. На кой черт он вам нужен? А мы возьмем его под гарантию: лучше нас никто ухаживать за ним не будет. Хорошие слова говорю, приятели!

И, покрывая рев и грохот стен, опять рявкнул солдатской командой бас старшего надзирателя:

— По камерам, сукины дети, шпана, дармоеды!.. Всех перестреляю, мерзавцев... Солдаты — на прицел!..

Под рев и гул коридорных пустот забрякали железом болты и запоры, толпа черных людей рванулась к стене, и Прахов, сутулясь, исчез за дверью камеры смертников. Опять забрякало железо запоров, и надзиратели с револьверами в руках и солдаты с винтовками наперевес запрыгали к нам с рычаньем и матом. Меня рвануло назад — не эта куча тюремной стражи, а обратная волна отхлынувших товарищей. Архип стоял впереди меня и разрывал рубашку на груди. Он уже охрип и кричал один, как безумный:

— Стреляйте!.. Бейте!.. Вот моя грудь — стреляйте!.. Вот моя грудь!..

С высоко поднятой головой он пошел навстречу надзирателям, немного шатаясь и выпирая голую грудь.

Позади меня была уже пустота и торопливый топот ног. Я оглянулся. Люди разбежались в разные стороны. Они прижимались к стенам, терлись о штукатурку, прятались за выступами простенков и поодиночке исчезали в камерах. И я вдруг ощутил гаденькую дрожь в ногах и руках и холодную тошнотную струйку в животе. И как-то помимо воли у меня вырвался запоздалый крик:

— Товарищи! По камерам!..

И будто каждый ждал этого крика: все забегали по коридору, съежившись, падая, ползая на четвереньках. Сразу все стало пусто — сузились стены, потолок опустился и куда-то далеко провалилась черная узкая воронка коридора.

Надзиратели стояли с револьверами в руках, а солдаты с винтовками. Старший надзиратель, опутанный

ремнями, мотая бородой, хрипел в злобной радости:

— Ах вы, сволочь поганая!.. Барбосы!.. Я вам кости раскрошу, мерзавцы... Трусы!.. Ишь, хотели показать свою храбрость, дармоеды!.. Я еще вам покажу, какая вам нужна баня... я еще вам покажу, крамола паршивая!

Архип стоял в прежней позе, с высоко поднятой головой, и рвал рубашку последними, застывающими движениями. Замятин, перезванивая кандалами, подошел к нему и взял его под руку.

— Ну-ка, пойдем, милый друг. Отдохни немного, голубчик. Шагай!..

Старший надзиратель точно увидел их впервые. Он шарахнулся к ним и замахнулся револьвером. Я успел подбежать к нему и стал между ним и Архипом.

— Убери руки, мерзавец! Не смей бить.

Он гекнул, как дровосек, и со всего размаху ударил меня по плечу. Я не почувствовал боли, а только мгновенный потрясающий вздох всего тела, точно меня пронизала молния. Мне стало дурно. Шатаясь, я пошел по коридору, но натолкнулся на стену.

На другой день

Утром камеры открылись в нудной тишине. У всех нас были измятые лица, тусклые, припухшие глаза. Они блуждали по полу, по стенам и окнам коридора и уползали друг от друга. И, будто нарочно, день был потухший — дымный и грязный; небо тяжело и густо спускалось до самых крыш тюрьмы бурым арестантским сукном. И снег на дворе был тоже грязный и льдистый, а воздух мутный и осаждался на пáлях сизыми хлопьями инея. Голоса за забором, в соседних дворах, глохли и казались очень далекими.

Мы встречались неохотно, избегали разговоров, замыкались в себя и прятали головы в воротниках бушлатов. А когда говорили о том, что было вчера, — говорили натужно и коверкали лица брезгливой усмешкой. У меня разнесло плечо, боль рвала руку

и грудь до стона и сжимала горло. Митря делал мне согревающие компрессы.

Только Замятин, как ни в чем не бывало, бродил по коридору и по камерам и, закинув голову, орал песни.

— Да что вы, черт вас подери?.. Монастырь у нас, что ли? или психиатрическая больница? Хористы, в коридор!.. Шагай с достоинством и высоко поднятым забралом, но отнюдь не с тем напором и героизмом, который был проявлен вчера... Ибо песня любит спокойное величие и коллективный согласованный ритм. Мы учимся на собственных ошибках, друзья, и наши страдания и кровь — залог великих радостей и побед...

Пришел ко мне в камеру Архип и сидел вялый и больной. В его глазах, чистых, как вода, мутно струились слезы и тоска. Он был в той же рубахе, которая была разорвана накануне. Он хватался за голову и грудь и смотрел на меня с лихорадочным криком в глазах.

— Товарищ Угрюмов, что ж это такое? Значит, все пропало? Значит, мы на большее не способны? Я ничего не понимаю и никак не могу согласиться... Что же делать, товарищ Угрюмов?

Он раздражал меня и своим видом и жалобами. Мне было стыдно смотреть на него: растерзанный и опустошенный, он еще дышал вчерашними событиями. То, что скрывали другие, он безобразно выворачивал наружу.

— Что ж, Архип... Идите к Немиловичу — он вас утешит. Он вам скажет, что вся вчерашняя трагикомедия — чудесная мистерия.

— Я уже был у него. Он счастлив и горит восторгом. Теперь же не могу к нему пойти: боюсь оскорбить его, а я этого не хочу.

— Ага, очень рад! Ведь вы были влюблены в него как барышня...

— Не будем говорить о нем, товарищ Угрюмов. Он скоро умрет. Мне очень жаль его: он совершенно замучен заточением.

Не сдерживая себя, я едко усмехнулся, наслаждаясь своей злостью.

— Последний отпрыск интеллигенции, блаженной и развинченной.

Архип встал, и лицо его исказилось судорогами.

— Я больше не хочу вас слушать. Вы завидуете ему. Вы не любите его потому, что уступаете ему по всем пунктам. Что вы вчера сделали? Захотели быть вождем — и срезались. Я не желаю с вами иметь дело. Кончено.

— Пожалуйста! Вы слишком тщеславны, молодой человек. Рвать на себе рубашку — это, согласитесь, Архип, вовсе не героический подвиг.

Он в ужасе попятился от меня к двери и схватился обеими руками за голову.

— Что такое? Что вы говорите, товарищ Угрюмов!..

Он выбежал разбитый, с паническим страхом в глазах.

Митря лежал на койке, вздыхал и мучился в тоске. Он не вставал к утреннему чаю, барахтался в одеялке, сопел и шмурыгал носом, как дурачок.

В тот момент, когда Архип вышел из камеры, он зашевелился, сел на койку и посмотрел на меня угарными глазами. Отвернулся, опять посмотрел и плюнул. Потом вздохнул и во вздохе выворотил многословную матерщину. Опять лег и промычал в потолок:

— Ну, за что ты обидел парнишку-то, осина-борона? За что? Городите вы прясло не слегами, а навозом. Бейте мужика в лоб и в зад — мало еще били. Ну, дай срок — он, брат, свое возьмет: учухаете, какой у него крепкий лоб, а от тяжелого зада екнете...

Я вышел из камеры, а меня провожали злые глаза с тусклой затаенностью. Эти глаза не забывают обид и несут их в себе до самой могилы.

Вечером опять пришел ко мне Архип. Он отдохнул, надел другую рубаху, причесал волосы, и глаза его опять стали прозрачные и чистые, как вода.

— Товарищ Угрюмов, мы должны забыть, что у нас было утром. Если я вел себя гнусно — простите. Я был несправедлив к вам. Ведь я еще ничего не сделал для революции, а вы идете на каторгу.

Я засмеялся, чтобы скрыть свое волнение, и потряс ему руку.

— Все вышло глупо, Архип! Забудем. Баста!

Он сразу расцвел и загорелся, и стал опять прежним, бодрым и радостным.

— Сегодня ночью дежурит Мизинчик. Я уже договорился с ним.

И взглянул на меня исподлобья, с видом заговорщика.

— Давайте с вами на «ты». Ведь мы же родные по духу.

И мы опять крепко потрясли друг другу руки.

Мне было хорошо с ним: он весь был на виду и прозрачен, как его глаза. И не было в нем ни хитрости, ни скрытой задней мысли. Сердце мое волновалось от нежности к нему.

— Мизинчик поможет, товарищ Угрюмов. После поверки я перейду на время в твою камеру. А потом вместе с тобой пойдем к Прахову. К волчку.

— А ты знаешь, Архип, что Прахов — действительно не Прахов, а Чугунов? Ты знаешь, что ему грозит смертная казнь?

— Я давно догадывался. Мне все время сверлило гвоздем, что Прахов не может быть обыкновенным, рядовым борцом, что он несет в себе больше, чем многие из нас. Меня сейчас это не удивляет: я ожидал этого. Не знаю почему, но мне было обидно и досадно, что он выдает себя за ничтожную пешку.

— Ты не допускаешь мысли, Архип, что Прахова кто-то выдал?

Он вздрогнул и выпрямился. Глаза его стали огромными от ужаса.

— Как? Неужели среди нас есть шпионы и провокаторы? Ведь это же невозможно.

— Почему невозможно? Ничего удивительного нет. Я, например, недавно получил записку с воли, а в ней сказано, что девушка, которую я любил, серьезно заподозрена в провокации.

Он сидел напротив меня, на койке Прахова, и не мог оторвать от меня глаз.

— Я не могу этого понять. С этим нельзя жить.

Сознание, что любимая девушка... Как ты переносишь это, товарищ Угрюмов?

...Ольга. Где она теперь, и что такое Ольга? У меня только тоска и неутолимая боль. Ольги нет, и где она — неизвестно, и рана в душе неизлечима. Она глубока, и боль ее похожа на тихие, неощутимые волны. Я живу только надеждой на неожиданную радостную весть, но под покровами этой надежды скрыта душевная язва.

Мне хотелось рассказать Архипу об Ольге и моей тоске, но я испугался: нельзя тревожить себя в эту минуту — я могу выйти из строя и жить только своею болью.

— Так вот, Архип, насчет Прахова. Его, кажется, выдал Дынников. Не думаю, чтобы это было обдуманно. Дынников — в белой горячке, и возможно — бредовая болтовня... У них сложная и нелепая история в личных отношениях.

И я рассказал ему то, что слышал от Прахова в дни голодовки.

В зрачках Архипа вспыхнули капельки восторга.

— Дынников — уродливая фигура. Он погибнет: ему уже нет спасенья. А Наташу страшно жаль: вероятно, чудесная женщина. Но как может революционерка дойти до такой безнадежности? Тут что-то от дынниковщины. И как это возможно, чтобы ввязался Дынников... Революционеры — и Дынников... Какая-то отвратная жуть...

Митря сидел с ногами на койке и глядел на нас нелюдимо, с любопытством случайного человека. Мы встретились взглядами с Архипом. Язык глаз в тюрьме так же ясен, как язык слов, и я увидел в глазах Архипа вопрос: а вдруг этот предаст?

Митря усмехнулся с угрюмой враждой и рыхло свалился на койку.

— Нахлобучат вам урыльники на башку, шерстобиты. Опять масло запахтали, осина-борона! Ишь дудоры!..

Архип по-мальчишечьи тряхнул волосами.

— Что такое дудоры?.. Чудак! Мы дудоры, а ты не такой же дудор?

— Вы только задом умеете крутить, осина-борона. Ни одному вашему кряку веры нет. Вы меня не шевельте: мое место лежачее. Хвостом заденете — хвост отгрызу. Знаю я, чем вы воняете.

Архип сначала засмеялся, забавляясь Митрей, потом вдруг озлился. Он поднял плечи к самым ушам и весь напыжился, как петух перед боем.

— Это еще что такое за легавый пес? Не вздумаешь ли ты еще брехать на нас по начальству? Смотри, брат, тут умеют пришивать на все четыре гвоздя.

Я дружелюбно засмеялся и взял Архипа за руку.

— Не надо, Архип, перестань. Митря парень верный и стоит за всех горой. Он тоже страдает за правое дело и всегда — за артель.

Митря размяк и угрюмо ухмыльнулся:

— Мели, мельник, размолом, а отруби — дома, через сито... Дудоры!..

Будто по уговору, мы с Архипом вышли из камеры.

В коридоре было пусто. Даже Замятин замер в молчании: должно быть, устал от рева и теперь спал крепким сном здорового человека, не отравленного думами.

Мизинчик бродил по коридору, звенел ключами и мычал хриплым басом. Он прислушивался только к своему голосу: сгорбился, отсырел и голову вдавил в плечи. Мы притаились и стали прислушиваться. Мы никогда не слышали, чтобы Мизинчик пел наедине с собой в наших казематах, и от одного того, что он зарычал мелодию и ушел в другой, внезапный для него мир, — мы, пораженные, остановились и прилипли к стене: он выводил «Похоронный марш».

— Ты слышишь? Что это значит?

— А это значит, Архип, что и для тюремного стража не проходит даром дыхание революции. Эти моменты надо ценить. Не будем ему мешать.

Но Мизинчик уже увидел нас и потух. Он круто повернулся и побрел вразвалку в ночную тьму коридора.

— Ну, так о чем же ты сговорился с Мизинчиком, Архип?.. Ах да, насчет свидания с Праховым.

— Но я не сказал самого главного, товарищ Угрюмов.

— А ну-ка... только, пожалуйста, без утопий.

— Почему утопия?.. У нас почему-то всякое смелое дело считается утопией. Для трусов — каждый шаг утопия.

— Не считаешь ли ты и меня трусом?

— Не говори мне никогда этого паршивого слова — утопия! Я его терпеть не могу.

Он оборвал себя и быстро наклонился к моему уху:

— Прахову необходимо немедленно бежать... бежать, не теряя ни одного дня, иначе он погиб. Они расправятся с ним быстро и незаметно. Ты знаешь, где они устраивают полевые суды? В тюремной церкви, при свечах. Это мне сказал Мизинчик.

И потом вслух сказал почему-то необычайно громко:

— Это ты считаешь утопией?

Вместо ответа я остановился, и мы обменялись взглядами: я — изумленным, он — торжествующим и радостным. Эта мысль уже волновала меня целый день, но я старался заглушить ее хозяйственными заботами по коммуне: она казалась мне несбыточной, безумной и праздной. Она и сейчас взволновала меня в словах Архипа, но теперь она показалась мне шальной, а потому и неосуществимой.

— Имей в виду, Архип, что это невыполнимо, хотя это и не утопия. Не забудь, что мы сидим за пятью концентрическими стенами. Если бы даже была удача в центре, остальные кольца оказались бы ловушкой.

Он сразу вспыхнул, заискрился и нервно заторопился.

— Нет, нет, товарищ Угрюмов. Ты послушай... Я очень обдумал... Это так просто... Ты послушай...

— Больше ни слова, Архип: идет Мизинчик. Об этом не говорят ни вслух, ни шепотом, а особенно в коридоре. Молчок. Пойдем, сейчас будет поверка.

Я был бессилен перед его постоянным горением. Он был всегда праздничный, непотухающий, всегда

с новыми беспокойными мыслями. Он врос в меня незаметно и быстро. Мне было тоскливо и грустно, когда он долго не являлся ко мне. В эти минуты я бродил по коридору, по камерам и искал его с бессознательным нетерпением. А он был непоседа: никогда не оставался в своей камере. Целый день бегал из одной камеры в другую и говорил с каждым по нескольку раз, с одинаковым возбуждением и неутомимым любопытством ко всем этим людям и их делам. Я знал немногих из этих людей, со многими не сказал ни одного слова, и они для меня были далекие, тусклые, слишком обыкновенные, как тысячи тех маленьких жизней, которые прошли мимо меня за всю мою жизнь, не оставив следа. Их — много, попавших сюда и случайно и по делам. Придет час — их отправят в неизвестные дали, и я забуду о них в тот же день, как забывал многих, и лица их навсегда потухнут в моей памяти. А он, Архип, знает уже всех — знает, чем живет каждый из этих семидесяти человек во всех тринадцати камерах, знает их прошлое, знает, какие они сказки творят о будущем. И я видел, что он всем был близок и все были рады общению с ним и улыбались, когда он смотрел им в глаза.

Свидание у волчка

Митря похрапывал сытно и безмятежно. Архип лежал на койке Прахова и рассказывал о своей матери. Мать уже стара и работает до сих пор: стирает белье на чужих. Сестра учится на швейку.

— Одного я не могу изжить, товарищ Угрюмов: сестра пропадает. Но не это... А вот — руки матери. Знаешь, они у нее всегда в язвах — простираны. И такие выносливые. Смотришь и чувствуешь, что эти руки четверть твоей жизни носили тебя. Сколько она перелила в тебя крови, и сколько отдано силы! Ничего — ни глаза, ни лицо, а вот эти руки. Были моменты — особенно, когда я сидел первые месяцы в тюрьме, — я рыдал целые ночи от этих рук. И в

тюрьме я впервые постиг, что за эти руки я должен отдать себя революции... самой беспощадной борьбе... и с радостью умереть...

Я слушал его, и эти грустные слова волновались в груди неумирающей болью воспоминаний: у моей матери тоже были замученные руки, и я сам плакал когда-то от жалости к ним.

Он жил образами ранней юности: они еще трепетали неостывшими впечатлениями — подпольная работа, конспиративные собрания молодежи в глухие ночи, где-то в развалинах, на краю города или в лесу, в праздничный день, рабочие кружки, где он был пропагандистом, пылким и страстным, но беспомощным и наивным...

Потом он мечтал о социализме. Точно ребенок, спрашивал меня, как я представляю социализм. Я отвечал ему сухо и бледно, книжными словами. Он не выдержал и оборвал меня:

— Нет. По-моему, не то... Что-то слишком похоже на алгебраическую формулу. Я думаю не так. Ты понимаешь? Это — невиданная и неизведанная красота. Это — сказка, полная чудес. Но это сказка — не сказка. Ведь будущее всегда похоже на сказку, потому что тогда не будет того, что есть сейчас, а будет новое, чего не видел никто. Все это мне представляется хрустальным, воздушным: прозрачные дворцы, солнечный океан, люди реют в воздухе, как птицы, облака подчиняются воле человека, всюду золотой и серебряный блеск машин. И нет тюрем, нет оград, заборов и каменных стен, нет горя и несчастных, натруженных рук. Нет, это невозможно передать словами. А наша эпоха будет казаться проклятьем и ужасом.

— Ты мечтатель, Архип.

Он вскочил с койки, и лицо его стало суровым и гневным.

— Как ты не понимаешь, что революционер только силен своей мечтой! Грош цена твоему революционеру, который вязнет в будничных лозунгах, как в болоте. Энтузиазм революционера — это мечта. Отсюда — герои, вожди и великаны мысли.

Я любовался им и чувствовал, что у меня у самого глаза наливаются восторгом и радостью.

Мизинчик тихо отпер нам дверь, и мы вышли в одних чулках. Я обеими руками держал кандалы. А Мизинчик прятал глаза под шерстью папахи и улыбался одной бородой.

— Удавят меня вместе с вами, крамольники... Чую, до добра не дойти.

И мне было смешно: от кого он скрывает свои поступки? зачем эти воровские вылазки? Ведь Мизинчик — один на всю ночь в этом коридоре. Может быть, он прячется от самого себя, а может быть, хочет обмануть тишину?

В волчке смеялся глаз Прахова. А я дрожал от радости и любви к нему: точно мы не виделись уже много дней, и мне хочется сказать ему такие слова, которые не умещаются в груди, — они кипят и рвут сердце. Это были трогательные и бодрые слова: он, Прахов, нам родной, его нельзя оторвать от нас, и мы пойдем ради него на смерть, на голод, на побоище, на всякие жертвы. Но слова громоздились в горле, мешали дышать, а вздоха одного было мало, чтобы выдержать их сумбурный напор. И слова эти не сказались, только растеклись дрожью по нервам.

— Как видишь, Угрюмов, я опять воплотился в прежнюю шкуру. Если меня не отправят немедленно в мои родные палестины, то с удовольствием прикокнут в этих пещерах. Такое дело. Ну, как? Камеры живут, как жили, как будто ничего не случилось? Теперь оппозиции не с кем драться.

А я торопливо шептал, перебивая его слова:

— Я пришел увидеть тебя, Прахов, и спросить, что делать. Надо делать что-то немедленно и организованно. Давай быстро обсудим.

К моей щеке прижался горячей щекою Архип. Он тоже струился мелкой нервной дрожью.

— Товарищ Прахов... ну, пусть Чугунов, но вы для меня пока Прахов... Не в этом дело... Мы только хотели предложить вам... надо воспользоваться временем...

— Ну, ну, хорошо... Я уже по глазам вижу, что вы хотите предложить. Идите, ребята, обратно: не подведите Мизинчика.

Но Архип, не слушая его, торопливо шептал и задыхался от волнения:

— Нет, вы слушайте... План очень прост и легко осуществим... Во время поверки... камера ваша открывается... и вы...

Прахов строго цыкнул на него, и глаз его стал большой, круглый и злой. Затененный нашими лицами, он заполнял весь волчок и разбухал, как в лупе.

— Вы с ума сошли, ребята. Идите по камерам!

Потом вдруг запнулся и ласково засмеялся:

— Ну, как там Митря? Он хороший парень. Ты его не обижай, Угрюмов. Нас здесь трое. Ожидаем очереди, кому надлежит лететь в небесное пространство. Вероятно, придется быть званым и избранным. Придется надевать белый фрак и серый галстук. Говорят, там не принимают без этих причиндалов.

И ни боязни, ни дрожи в голосе не было у Прахова: каждое его слово было шуткой, грубоватой и немного наивной.

— Протяни палец, молодой товарищ: я тебе пожму его за твой героизм. Ты хорошо держал себя. Из тебя выйдет матерый боец. Голыми руками тебя не возьмешь. Молодчина!

Архип радостно просунул руку в волчок и залепетал, как маленький:

— Товарищ Прахов... для меня жизнь — только в революции. Я всего отдал себя... и только для борьбы...

— Правильно! Валяй и дальше в этом роде. Главное, не унывай и ни на минуту не теряй веры в победу рабочего класса. Время теперь подлое, предательское, трусливое. Трудное время и ответственное. Нужны большие силы, чтобы пережить его и не скопытиться. Пусть бьют тебя, травят, распинают, но не залезай в подворотню. Подворотня — это скотный двор, где ничего нет, кроме навоза и свиного хрюканья.

Архип прижался ко мне, вцепившись пальцами в плечо, часто глотал слюну и вздрагивал. Мне показалось, что он плачет.

Борясь со слезами, я сказал неожиданно и совсем некстати:

— Прахов, ты помнишь ту записку? Она об Ольге. Ты читал ее? Муха — это Ольга. Я не могу этого допустить... и у меня все спуталось...

— Ну, ну... Что поделаешь — зыбучее время... Не знаю, что тебе сказать. Я тогда сбрехнул сдуру. Ты не придавай значения и держись крепко. Впереди всегда цель и надежда. А стал на месте — значит, потянет назад, и тут ты сгибнешь, как сукин сын. Знай, брат, что под ногами все-таки твердая почва. Только не теряй головы.

Он оборвал себя и оглянулся. Из-за его плеча я увидел камеру в оранжевом полусумраке. На койках сидели два парня в нижнем белье и, скрючившись, играли своими кандалами.

Прахов усмехнулся и прошептал едва слышно:

— Работа — на всю ночь. Учатся проделывать трудный фокус.

Сначала я не мог разобрать, что они делали, и только в последний момент увидел, как у одного из них вспыхнули тусклыми пятнами руки и ноги. Парень, в путаных пепельных волосах, с пушистыми щеками и подбородком, разгибал ступню и старался вытянуть ее в одну линию с голенью. Он учился снимать кандалы.

— Ну, идите, ребята. Имейте в виду, что я не хочу идти на виселицу. И не пойду. Если потребуется ваша помощь, я скажу вам. Я уже готов... не к смерти, а — к жизни. Это не так легко в моем положении.

Архип опять рванулся к волчку и зашептал горячо и страстно:

— Товарищ Прахов, не лишайте нас возможности помочь вам хотя бы в мелочах. Если что... это помните... я буду с вами...

Обалдевший от тревоги, около нас стоял Мизинчик и теребил за рукава и того и другого.

Побег

Перед поверкой камеры запирали за полчаса, а в семь часов входил помощник с надзирателем, который вступал в ночное дежурство. Открывались камеры по порядку, с № 1 по № 13. Первым входил помощник, а за ним — надзиратели. Они безмолвно стояли посредине камеры не больше секунды, внимательно щупали глазами заключенных, обстановку, стены и уходили. Звякали запоры, и камера захлопывалась на целую ночь, до утренней поверки. Коридор гремел железом и брякал шагами. Так было каждый вечер, когда вешались полупудовые замки на двери; так было каждое утро, когда эти замки, как отрубленные головы, ржаво разевали пустые рты.

В этот вечер я лежал на койке и дрожал в лихорадке. В коридоре застойно глохла усталая тишина, а мне казалось, что стены тюрьмы потрясаются от гула и воздух клубится в порывах и вихрях.

Митря успокоенно и сонно попыхивал своей цигаркой, задумчиво шмыгал носом и мычал от зевоты. И этот дремотный вой делал все простым и тяжелым.

Я чувствовал только самого себя, — не себя, а сердце: проходили через него горячими всплесками волны, и я качался на них — взлетал и падал, замирая.

Ждал я только этой последней минуты, — ждал, как страшного удара, как взрыва, который разнесет тюрьму в брызги и пыль; ждал, как последнего часа моей жизни, который несет мне что-то большее, чем смерть.

Голова пустая; бездумная муть заливает клеточки мозга, и уродливые, рваные образы кружатся и летят, кувыркаются и реют в фосфорическом хаосе.

Впрочем, Ольга... Эта боль уже тает и меня не тревожит. Меня уже ничто не тревожит: прошлое умерло и не воскреснет, и будущее сгущено в этих трепетных минутах, горящих копотным язычком пламени тюремной лампочки. Вот пройдет еще несколько этих огненных мгновений, и будущее взорвется грохотом железа и звериной борьбой за жизнь.

Свобода! Свобода! Надо пройти через ужас, чтобы уметь распоряжаться жизнью и увидеть ее красоту.

Как только запирали камеры, Митря сейчас же ложился на койку и расслабленно затихал в дремоте. Он спал много и жадно: запертая камера для него была тихой, уютной колыбелью. А сейчас вот он не спал, возился, вздыхал и чесался в тоске.

— И что делают, что делают с рабочим человеком!.. До чего сдавили, до чего опустошили!.. Куда пойдешь, кому скажешь?.. Что получилось, осина-борона: конь — без телеги, вожжа — без коня, мельница — без воды... Вот оно как, братцы милые, друзья и сродники!

И от этого мычания Митри все опять стало обычным и устойчивым. Что, если и эти минуты пройдут так же дремотно и покорно, как всегда!

Я не мог уже лежать и ждать в терпеливом молчании. Это — острая грань, когда жизнь ломается, как палка, а следующий час будет уже иным, полным потрясающих событий.

— Митря, вставай, дорогой друг. Сыграем с тобой в шашки. Тебя ломает тоска.

— Да как же, милый человек! Раздумался о домашности, и прямо, скажи на милость, душа — сирота. Что делают, что делают с нашим братом!.. Сколь трудящего люда гниет по острогам! Сколь сгибло под кнутом и под пулей! Сколь удавлено и замучено!.. ай-ай-ай!..

— А ты забыл, как о тебе здесь заботятся? И угол, и харч, и работой не утруждают...

— Эх, осина-борона! Память у человека — как соль: ее жуешь вместе с хлебом. А все же из брюха она идет не в парашу, а в кровь. Растревожь кровь — она сейчас тебе в голову ударит, и память тогда дюже соленая. Я теперь вот места не нахожу: всё о Прахове думаю, о родном человеке. И за что пропадает его отчаянная башка?

— Да, брат, Прахова скоро повесят. Может быть, этой ночью. Устроят полевой суд, и оттуда — с арканом на шее на перекладину.

Он сидел передо мною около стола, и лицо его дергалось в младенческом изумлении и ужасе. Расставлял хлебные шарики на шахматной дощечке и не видел их; они рассыпались без всякого порядка — и на белых и на черных квадратах, — а он мешал их дрожащими пальцами, как глупенький. Вздрагивала челюсть, и глаза кружились в слезах.

Я боролся с собою: сказать ему или остаться немым, чтобы оглушить его через несколько минут?

— Вот что, Митря... Только ни звука — молчи, как могила! Хочешь, мы устроим побег Прахову?

Он вздрогнул, и лицо его помертвело от внезапного удара. Вероятно, такое лицо у него бывало во время ослепляющей грозы. Потом я вдруг заметил, что он стал наливаться кровью, выпрямлялся, рос и весь засветился из глубины. Он встал и задохнулся от крика.

Я сделал скучное лицо и зевнул.

— Ну, не дури, Митря. Садись, расставляй шашки. Я пошутил.

Он испугался и сразу сел в беззащитной растерянности. Потом опять рванулся с табуретки и замахнулся, слепой от ярости.

Я схватил его за плечи и тряхнул из всей силы.

— Дикарь! Иди на свое место и ложись спать. Чучело!

Он долго смотрел на меня слепыми глазами, порывался что-то сделать, что-то крикнуть, но не мог.

Вздохнула входная дверь и глухо тяпнула, как топор.

Мизинчик гремел ключами и бормотал рапорт, а вперебой ему, на ходу, лаял надорванный голос Дынникова:

— Ну, отверзай свои хляби, Мизинчик. Камера номер первый — рыцари пеньковой подвязки. Шире дверь — надо с ними побеседовать. Давно не видался.

Голос его был трезвый, но истеричный.

Грохот замка и задвижек оглушил меня, и сквозь визг крови в ушах я услышал всхлипывающий вскрик Дынникова:

— Ты уже здесь?.. Уже не Прахов, а Чугунов?.. Поздравляю!..

Потом все затихло. Мне показалось, что я теряю сознание. Было мгновение, когда я уже владел собою и из горла уже рвался крик:

— Прахов! не теряй ни минуты...

И сразу же по коридору шарахнулись какие-то огромные тени, глухо застонали, забились и растаяли. Где-то далеко крякали, задыхались люди, точно боролись с обычным смаком, переплетаясь мускулами. И не было тревоги в коридоре: камеры успокоенно рокотали запертыми голосами, и никто не знал, что происходит в камере № 1 и какие события обрушатся на наш застывший мир через несколько секунд. Где-то грустно пели два голоса: «Дэ ты бродышь, дэ ты бродышь, моя доля...» Где-то смеялись.

Я стоял у волчка и прислушивался с затаенным дыханием. Митря лежал на койке неподвижно и сонно, его тоже не коснулось дыхание тревоги. А я точно вынырнул из мутного омута: на душе стало ясно и тихо, и мысли были четки, неторопливы и прозрачны.

А потом все сразу вздрогнуло и колыхнулось. Почудилось, что даже в лампочке затрепыхался язычок пламени, точно от порыва ветра.

Голос Прахова, необычно жесткий и сверлящий и необычно веселый, пропел по коридору, как команда:

— Товарищи, сохраняйте спокойствие и тишину. Мы оставляем тюрьму. Кто с нами, выходи. Сейчас пройдет товарищ с ключами. Но условие: выбор сделаю я. Остальные будут оставлены на замке. Большой риск — не скрываю. Провалимся — петля, а кто не будет мне подчиняться — застрелю без разговоров.

Около меня толкался и царапался к волчку Митря и надсадно орал:

— Прахо-ов... миляга!.. Али забыл?.. Прахов!..

В волчке забултыхалась горбатая тень, и меня оглушило железом. Распахнулась дверь, и тень исчезла, а где-то рядом опять звякнуло железо.

Митря выбежал из камеры, как выбегал обычно по утрам: голова — вперед, а руки наотмашь. Широ-

кими взмахами ног, задыхаясь, пробежали еще трое. Архип споткнулся около моей камеры и прохрипел, не владея восторгом:

— Скорее!.. Не теряй ни минуты!.. Беги!.. Сбрось кандалы!..

И исчез, как призрак.

Я вышел в коридор и сразу же был подхвачен какой-то большой воздушной волной. Эта странная волна отбросила меня назад по коридору, а потом опять хлынула обратно и неудержимо понесла вперед. Я физически ощущал дыхание этих волн и не мог им сопротивляться.

Навстречу мне волочили белую куклу двое парней. Они обливались потом, и глаза их набухли страхом и бешеной радостью. Куклу положили поперек коридора, лицом кверху. Руки были закручены за спину, и тело лежало на них всею тяжестью. Ноги тоже были туго опутаны веревками из полотна. Я узнал Мизинчика. Он смотрел на меня глазами оглушенного животного. Подштанники и рубашка трепыхались на нем судорожной дрожью: вероятно, и от холода и от страха. Я прошел мимо и забыл про него, потому что навстречу мне несли еще одну белую куклу, а за ней — еще. Дынников взглянул на меня спокойно. Мне почудилось, что он даже улыбнулся своей обычной усмешкой в усах. Лицо у него было в желваках от недавнего пьянства, но уже промытое трезвой и надрывной мыслью.

Двери камер кряхтели и задыхались. Кто-то ссорился недалеко от меня.

— А я тебе говорю, что не дам... К черту!.. И ты не имеешь права...

— А ты не смеешь... Кто ты такой?.. Отпирай! Товарищ... тебе говорят, отпирай!..

А далеко визжал нетерпеливый, младенчески странный голос:

— Ну, и я же... ну, и что же это, товарищи?.. Ну, сюда же!.. да ко мне же!..

И опять:

— Я сказал: не позволю — и не позволю... Я не хочу под военно-полевой... Это идиотизм...

Кто-то бегал от камеры к камере и шипел:

— Тише же, черт бы вас побрал! Тише!..

Около выходных дверей стояли двое в черных шинелях и лохматых папахах. Они прислушивались и дрожащими руками затягивали ремни. Прахов — тоже в черном тулупе и папахе — очень похож на Дынникова. Он стоял посредине коридора и тихой командой басил в кучку людей около него:

— Как только войдет — немедленно за горло. Не забывать: прежде всего сделать немым. В рот — затычку. Раздевать, класть рядом с остальными. Надо выудить старшого — и тогда все пойдет как по маслу.

Он стоял совсем неподвижно и даже как будто скучал от ожидания.

— Взять себя в руки и не терять головы. Кто дрожит — отправлю обратно. Это не игра в бирюльки.

Он поманил меня пальцем и сам шагнул ко мне, но меня будто не видел. Лицо его было странно чужое, деревянное, почти тупое.

— Вот что, друг. Иди-ка в камеру. Тебе здесь не место. Ты вздумал бежать? да еще в кандалах? Марш обратно и не смей выходить!

— Я не пойду в камеру, Прахов. Я не желаю оставаться.

Он вынул револьвер, прищурил один глаз, и губы у него стали тонкие и белые.

— Я тебе приказываю. Не заставляй прибегать к крутым мерам. Марш!

— Почему другим можно, а мне нельзя? Я протестую, Прахов.

— Если ты скажешь еще слово, я пришью тебя, как предателя. Ну! Шагай!

Я почувствовал, что слабею и у меня нет никаких сил к сопротивлению. Если бы он даже не пригрозил револьвером — все равно я не выдержал бы его лица.

— Подбери кандалы, не греми. Иди ложись на койку. Я знаю, что делаю. Прощай! Может быть, не увидимся.

Навстречу мне размашисто шагал с папиросой в зубах Замятин. Он был без кандалов и выбрасывал

ноги необычно легко и широко, должно быть от непривычки.

— Спокойной ночи и счастливо оставаться. Чтобы бежать из казематов, надо иметь веселые и упругие ноги.

Я оглянулся. Прахов сортировал людей: за рукав дергал к себе или отбрасывал в сторону. За мной нехотя брели еще несколько человек.

Уже из камеры я услышал, как Прахов приказывал Замятину:

— Опять в камеры — и на запор. А этих расставь по местам.

И без обычной дурашливости, но дурашливыми словами Замятин ответил:

— Принято к неуклонному исполнению, что подписом и приложением печати удостоверяется.

Зашаркали спутанные шаги по коридору, и звякнула неосторожная россыпь ключей.

— Валяй, ребята, восвояси. Не всякий глаголющий: «Господи, господи!» — внидет в царство небесное. Там, оказывается, тоже действует закон естественного подбора.

Голос Архипа был рваный, но упругий и неподатливый:

— Я не пойду, Прахов. Можешь меня застрелить, задушить, но я не пойду. Употребишь насилие, буду орать, но в камеру не пойду. Я решил — и выполню.

И по голосу Прахова видно было, что он усмехается.

— Можешь оставаться. Потом не скули, ежели что случится.

— Не беспокойся, пожалуйста, Прахов. За свои поступки отвечаю я. А за трусость можешь меня расстрелять.

В камеру вразвалку вошел Митря и кувырнулся на койку.

— Прогнал, сопатка! Говорит: тебе нечего бежать — все равно скоро на волю. Оно правильно: зима — куда пойдешь? Ну, только мне охота больно кости помять начальству. Облапил было одного гуся — прямо сердце занялось, — он, Прахов, цап меня за шиворот! Чуть не задушил, осина-борона.

Я стоял на пороге и смотрел в коридор. Все было спокойно; камеры дышали уже обычным ночным безмолвием, но в этой тишине была гнетущая дрожь и взрывы сердца.

Замятин, пыхая папироской, по-хозяйски подходил к камерам и широким взмахом загонял любопытных обратно в двери.

— Ну-ка, смело, друзья... не теряйте бодрости в неравном бою... Заходите в свои раковины и прячьте головы под камень. Учитесь оберегать свой покой у страуса — мудрая птица!

И все послушно прятались в камеры и растерянно икали от смеха, застрявшего в горле.

Он перезванивал ключами и грыз двери тяжелыми запорами.

Двое смертников, которые черными надзирателями стояли у выходных дверей, точно по команде подняли револьверы. Все, кто стоял около Прахова, мгновенно исчезли в провалах дверных каменных ниш. Прахов браво пошагал к двери. Вместе с густым облаком пара вошел старший надзиратель. В этой клубастой морозной мгле он сразу растаял, а с ним растаяли и другие две черные фигуры. А когда клубы пара осели вниз и расползлись по полу, около двери пыхтела изнуренная возня. Придушенный хрип разорвал тишину:

— Он кусается, сволочь!.. Дави ему горло, стерве поганой... Его надо удавить, палача...

Спокойный и по-прежнему сверлящий голос Прахова раздавил этот хрип.

— Молчать! Хоть бы нос отгрызли — молчи про себя. Ты знал, на что шел, — не жалуйся. Заткните ему глотку хорошей затычкой.

Из стены вырвались остальные ребята и с немым остервенением набросились на новую добычу. И опять так же торопливо и дружно сволокли и эту белую куклу к первым трем. Издали они белели нижним бельем в пыльном полусумраке, как трупы повешенных, снятых с перекладины.

Замятин с тем же беззаботным весельем захлопнул и нашу камеру. Когда я был уже за порогом, он

протянул мне руку и сразу же стал совсем другой — тревожный, бледный, похудевший.

— Ты должен остаться. Это ясно. Мы решили тебя поберечь. А я люблю риск. В эти паршивые времена я все равно приговорен. Если приспичит — убежишь: торопиться тебе нечего. Ты и не догадывался, что этот побег мы с Чугуновым, инако рекомо — Праховым, порешили еще в дни оны. Прощай и мужайся.

Были минуты, когда в коридоре затихало, как ночью во время сна. Не слышно было ни шагов, ни шепота, ни перезвона цепей. И это напряженное безмолвие давило последними мгновеньями развязки. Вынести эту тяжесть не мог человек, ожидающий обычных рассветов и вечерних сумерек, койка которого нагрета скучающим телом. В эти несколько минут смертельной тишины я ждал, когда они пройдут мимо моего волчка, чтобы проводить их в невероятный путь к свободе. Но их не было, и за моим волчком реяла только мутная пустота и кромешная тишина. Что это такое? Струсили они? опоздали? поняли безнадежность своего положения? Я сел на пол у двери и стукнулся головою о стену. Передо мною стоял Митря.

Очнулся я от задавленного рычания. По коридору катилась какая-то рыхлая глыба и стонала не горлом, а чревом. Толпа шаркала подошвами, задыхалась и билась в борьбе с этой глыбой. Как раз против нашей двери эта животная масса грохнулась на пол. Митря заплясал валенками и захлебнулся от хохота.

— Хоп, осина-борона!.. Вот это брякнули!.. Ох ты, орясина!.. А вы под пах ему, жирному борову... под пах!

Я столкнулся головою с Митрей, и меня обдало жаром его дыхания. Он очарованно смотрел в волчок, бился в дверь, точно хотел выскочить в узкую дырку.

Несколько человек сидели на бычьей туше Мымри и рвали на нем шинель, рассупонивали ремни и палкой вбивали в рот белую тряпку. А он стонал глухо, жирно, с задышкой, перекатывался на спине с боку на бок, огромный и разбухший, выскальзывал из-под тел разъяренных людей, как скользкая большая рыба.

Кто-то свирепо размахнулся железной фомкой и ударил его по голове. Ужас оглушил меня, и я не слышал звука железа по черепу. Я услыхал только одно мычание, глубоко спрятанное в утробе. Этот стон выдавливал изо рта туго забитую тряпку и сотрясал все тело, раздутое жиром.

Волчок заслонила черная тень, и голос Прахова прозвучал коротко и строго:

— Ну, пошли, ребята! Живо! Забирай свои ноги! Марш!

И все быстро, бегущей толпой затопали по коридору.

— Прощайте, товарищи!.. Молчите, не отвечайте!.. Прощайте и до свиданья!..

Где-то далеко упали ключи, свистнула дверь и опять тяпнула, как топор.

Мымря колыхался на спине и глухо мычал.

Расправа

Я не знаю, сколько прошло времени после этого события: может быть, несколько минут, а может быть, час. Этот отрывок времени совсем исчез из моего сознания. Помню одно: я встал около волчка и смотрел на Мымрю. А он бился, дрыгал ногами и рычал с той же потрясающей живучестью. Камеры дышали в коридор сдавленным шепотом и бормотанием. Только где-то далеко в ужасе вскрикивал одинокий голос.

В глубине стен, в корпусах, звякали звонки и сверлили воздух сверчковые свистки.

И сразу откуда-то из нутра, вместе с гулом стен, коридор взорвался большой толпой, ревом и погромом. Задыхаясь и не владея словами, кто-то взвизгнул короткую невнятную команду, и этот крик был похож на плач: ай-ах!.. Огнем взметнулся воздух в оглушительном громе, и я вместе со стенами кувырнулся на пол. С замирающим сердцем и тошнотой я на четвереньках пополз под свою койку. Ударился головою о железную ножку и лег, уткнув голову в угол. Эта боль от удара опять успокоила меня, и опять все стало просто и обычно. Митря метался по камере и плакал:

— Да, господи!.. Да куды ж я-то?.. Что ж я один-то?.. Браток! Милый!.. Убойство ведь... По душу ведь грянули... Где же мне-то?..

— Не вой... тюря!.. Лезь ко мне под койку... Ползи сюда!..

Поднялся край одеялки, и Митря, пыхтя и всхлипывая, полез на меня.

— Да что ты, чурбак... занял все! Разве тут спрячешься?.. Куды я тут денусь?..

— Ну, иди к себе. Лезь под свою койку. Чего визжишь? Дубина!

— Да-а!.. как же я один-то? чай, страшно, осина-борона... Ведь смерть пришла... Нельзя, чтоб душа была сирота...

Он лепетал, как маленький, хныкал, всхлипывал и мял меня, не находя места. Потом залез на меня и придавил горячим дрожащим телом.

Раз за разом стреляли залпами, крик лаял в отчаянии:

— Бей их, паразитов!.. Бей!.. Стриги под бритву, дармоедов!.. Держи ниже!.. Мишени, что ли, не видите? Бей!

Глубоко в стенах выли и визжали замурованные голоса. Это были уже не отдельные выстрелы пачками, а торопливая, беспорядочная стрельба. Заскрежетала железом и забухала дверь, точно срывалась с петель. На голову мне брызнула штукатурка. Я хотел отодвинуться от стены назад, но рыхлая тяжесть Митри придавила меня к полу, и я никак не мог повернуться.

— Поднимись, Митря. Дай подвинуться, а то штукатурка бьет по лицу.

— Ну тебя к лешему! Лежи! Черт с ней, с головой-то!..

Штукатурка била мне в голову, и струйки песка и пыли сыпались на лоб, на глаза, попадали в ноздри и в рот.

Митря заплакал и закорчился. Руки его впивались мне в плечи скрюченными пальцами до невыносимой боли. Он полз по мне ближе к стене, давил и мял меня, и на лицо мне закапали слезы и холодная липкая слизь.

— Родненький! спрячь меня... Страх-то какой!.. Ляг на меня... Не вынесу я... Мочи моей нет...

— Ну, вались к стене, урод. Поднимись немного... Ну!.. проваливайся за меня... к стене...

И в тот момент, когда он завозился на мне, переваливая свое тело к стене, я оглох от нового взрыва. Митря внезапно дрогнул и весь обмяк, как тесто. Голова его упала мне на лицо, и весь он стал стекать с меня густо и тяжело. И очень спокойно, с нежной лаской залепетал в ухо:

— Вот... Видишь, как? Вот и готово... Ты лежи... тихонько... Тебе — ничего...

И замолк; только около моего уха что-то хрипело, пенилось и разрывалось, как паутина. По щеке на шею щекотно ползла горячая тягучая струйка.

В коридоре и где-то далеко, в разных местах, громыхали запоры, выли и стонали люди, лаяли и рвались, как псы, что-то трещало и ломалось, бухали удары чем-то тяжелым.

Через лязг и бряканье железа в камеру ворвалась ревущая толпа. Меня рванул кто-то за ноги и выволок на середину пола. И чудилось, что желто-сумеречная высота камеры до туманного потолка загромождена огромными крылатыми чудовищами с космати лицами и раскаленными глазами. Кто-то из них заржал в смешливой злобе:

— Один готов!.. Добивай другую гадину!.. Дроби позвонки, выворачивай ребра!..

Два раза откуда-то с высоты обрушилась на мое лицо исполинская мокрая подошва. Боли я не чувствовал, а только костистый хруст в голове, и при каждом ударе она становилась тоже огромной и плескалась полынно-горьким колокольным звоном. И не было страха — был только нелепый кошмар и бред, уродливые видения, падение в бездну и — немая безнадежность. Я чувствовал себя совсем маленьким — не больше мухи, разорванным на две части, были только голова и ноги. Голова набатно звонила, а по ногам кто-то изо всей мочи колотил молотком.

И когда я увидел почти около своего лица такой же исполинский и уродливый револьвер, я не испу-

гался: пусть стреляют — все равно. Сейчас я угасну, превращусь в ничто и совсем не почувствую боли.

Блеснула вспышка молнии, но выстрела я не услышал и не ощутил никакого толчка. Все равно — может быть, я уже убит, а может быть, это только удар той же исполинской подошвы, которая ломает кости и выдавливает внутренности.

— Бей еще, грохай почем зря!.. Видишь — не берет: засела в костях... Бей!.. Тьфу, сволочь, осечка!..

— Вдарь своей кочергой, у меня — ни боже мой... Не орудие — пугало на воробьев...

— Да черт ли... у меня тоже — никак: всё выстегал... Лупи рукояткой... Энтой елдой любой черепок — вдрызг...Стегай!.. Дай чебурахну...

Черная махина рухнула на меня целой копной шерсти и обломков и сразу же поглотила всего без остатка. И опять оглушительно бухнул колокол и раскололся. Эта боль разбитого черепа была тупая и твердая, будто воткнули деревянный кол в голову и он прошел до самого живота. И не знаю, звонил ли дрябло расколотый горшок, иль это я выл от омерзительной боли. Потом вдруг все смолкло, и я погрузился в густую тьму, точно попал в сухой песок, а он опускался в узкую воронку и неудержимо всасывал меня, скручивая в веревку. Где-то около самой головы молотили цепы — дзук, дзук!.. Они мягко колошматили по снопам, а снопы вздыхали и позванивали, как пустые бочонки.

В прорывах сознания я на очень короткие миги чувствовал, что меня волокут за кандалы и голова моя безбольно стукается по ступеням крутой лестницы. Голова была привязана к ногам тоненькой ниточкой и вертелась на ней, чужая, распухшая и мягкая, как пузырь.

Военно-полевой

Нужно было открыть глаза, но от усилий голову пронизывала ноющая боль. Лицо залила липкая грязь. Она подсыхала, и корки ее больно вонзались в кожу. Я стонал протяжно, нудно, одним нутром, а сознание

отмечало, что стонал не я, кто-то другой около меня — не один, а множество людей. Потом я почувствовал, что весь трясусь от страшного холода. Надо мною и всюду — необъятным размахом — морозная пустота, и эта пустота рычит криками и плачем. И — запах ладана и горящих свечей, шаркающие шаги, шепот, сдержанный говор и далекий звон бубенчиков.

Где-то рядом пискливый, почти младенческий голосок невнятно дрожал обрывками слов:

— Я умираю... товарищи! Прощайте, товарищи!..

Да. Это — Немилович, это — он. Так никто не мог говорить, кроме него,— у других не было такого голоса.

Я долго собирал силы, чтобы поднять руку и коснуться пальцами лица. Но рука была чужая, гигантских размеров, и не слушалась меня. Сжимая зубы до треска в челюстях, я толчками долго волочил ее на грудь, с груди — к подбородку, и потом — на лицо. Другой руки я не ощущал совсем и забыл, что она есть. Липкие льдистые сосульки застывшей слизью покрывали лицо — заливали нос, губы, шею и жирными лепешками коробились в глазницах. Кровь.

Когда я с режущей болью открыл глаза, я увидел вверху, очень близко своды, огромными скалами сползающие с потолка. И вправо и влево таяли в огнистой полутьме пузатые колонны и острые ребра простенков. Оттуда, из ночных сводов, черной струей стекала капелью железная цепь и расцветала горящими гроздьями. Огненные пятна ползали по стенам и колоннам, и всюду играли мутные искры, звезды и язычки пламени. Это были иконы в золотых ризах, и лица изображений тупо и бледно глядели на меня неподвижными, смиренно-кроткими масками монахов и монахинь. Впереди, тоже очень далеко, сверкала золотая, причудливо увитая сусальными лозами винограда, стена иконостаса с ажурными, матово сияющими дверями. Перед амвоном стоял стол с зеленой скатертью до самого пола. За столом сидело трое офицеров в серебряных погонах и белых аксельбантах, похожих на привязанные к плечам нагайки. Двое из офицеров были молодые, сочные, с лицами, вымытыми молоком. У одного черные усики — вверх, у другого ры-

жие — вразлет. В середине — генерал в бакенах, весь серебряный от погон до седой щетины на голове.

Направо — аналой в золотой парче, а за аналоем — священник. Он смотрел в глубину церкви, тупо скучал, держась левой рукой за наперсный крест, и похож был на этих святых, которые плоско и благочестиво скорбели на стенах и иконостасе.

Около клиросов сидели тоже офицеры. Направо — коротко остриженный, с длинными пышными усами, закрученными винтом. Другой, налево, — белокурый, курносый, очень похожий на Николая II.

Генерал часто смотрел на часы и наклонялся вправо и влево, перешептываясь с офицерами.

Мне неудержимо захотелось посмотреть в стороны — узнать, кто около меня и почему мы в церкви, но я никак не мог повернуть голову. Впрочем, я уже знал, что кругом, по всему полу, рядами лежат товарищи. Я чувствовал это по стонам, по хрипам и по шелесту рук и ног и просто по тому, что на меня со всех сторон громоздилась и дышала теплыми волнами груда тел: их теплота и дыхание наплывали на меня встречными волнами и колыхались по всему размаху здания. Потом я увидел вдали частую шеренгу солдат в шинелях, с винтовками у ног. Чернели неуклюжие фигуры надзирателей во главе с молоденьким помощником.

Генерал поднял серебряные брови и быстро повернул лицо в сторону священника. Я не разобрал его слов, слышал только сиплый кашель. Потом он откинулся на спинку стула и ладонью стал взбивать к ушам седые бакены. Священник пропел тихо и робко какой-то возглас. К аналою зашаркала черная куча надзирателей. Бородатая голова старшого истово наклонилась и кашлянула в руку. Позади прятался за спины и растерянно поглядывал в нашу сторону Мизинчик, исковерканный пережитой ночью.

Точно потрясенные одним ударом, завыли и заметались все эти нагроможденные вокруг меня люди. Подчиняясь общему гулу и стонам, я тоже завыл, извиваясь от холода и судорожной дрожи. В передних рядах кто-то надрывался от злобы.

— Не разводите же комедии, палачи!.. Вешайте сразу, если вы еще не захлебнулись нашей кровью... Это же наглое издевательство...

Из кучи тел поднимались на локтях или садились, опираясь на руку, измазанные кровью, растерзанные люди, тянулись к столу и потрясали кулаками.

Зазвонил колокольчик, и генерал скомандовал что-то непонятное, но по бакам и бровям видно было, что слова сказал строгие и властные.

Встал один из офицеров, справа от генерала, ткнул пальцами в пенсне и близоруко уткнулся в бумагу. Он держал ее левой рукой в белой перчатке, а правой, без перчатки, опирался пальцами о край стола. Он стал читать быстро, но четко, с красивыми изломами в голосе, точно декламировал. Так он, вероятно, говорил с женщинами или в гостиных, когда нужно вести привычную светскую болтовню. Усатый офицер злобно смотрел на него и нетерпеливо отмахивался от своих хвостатых усов.

Я изнемогал от холода, и каждая клеточка моего тела ныла и звучала, как струна. Я сжимал зубы, чтобы оборвать эту струнную дрожь, но зубы лязгали и скрипели от бессилия и боли.

Военно-полевой суд. Пройдет час, и мы все, избитые и изуродованные, будем висеть на перекладинах, которые уже ставят на одном из маленьких двориков. Я понял это сразу, но не удивился и не испугался. Я был в тупом оцепенении. Все равно. Вот и смерть. Сейчас — ночь, и днем меня уже не будет. И их, этих моих товарищей, тоже не будет. Совсем не страшно. Скорее бы. Больше уже не будет этих мучений. Ни ужаса, ни предсмертного крика. Только болит голова, невыносимо болит. И кровавый туман, и омерзительный холод, а вместе с холодом — удушливый огонь в голове и где-то в области живота. Зачем этот золотой и серебряный блеск? Зачем сидят эти нарядные куклы и глупо играют нелепую канитель в этом христианском храме, — бездушно, уныло, мертво, как восковые автоматы из паноптикума? И не я, а судороги в горле и эта струнная дрожь вырываются визгом:

— Я замерзаю, мучители!.. Довольно пыток!.. Скорее душите, мерзавцы!

И опять наплеск стонов и надрывных выкриков. Офицер будто не слышал этих проклятий и читал невозмутимо и выразительно, со смаком, а генерал все взбивал ладонью седые баки.

Волна опять замерла и рассыпалась успокоенным шелестом. Все равно — ведь это неизбежная ступень к смерти.

В последние мгновения нашей судьбы я услышал о Прахове, об Архипе и Замятине. Было это или не было? Может быть, то, что сейчас происходит, это бред? Может быть, это агония? Уродливые тени потухнут, а мир превратится в черную бездну? Ольга... Была она или не была? Может быть, это тоже призрак агонии?.. У нее — пустые глаза. Все равно. Это было во сне. Сны — это призраки того, чего нет. Может быть, это игра света и теней, только короткие вспышки звездного спектра...

Там читал офицер в белой перчатке на левой руке, его слова били по разбитым костям моего черепа, и где-то глубоко внутри творилась легенда, насыщенная жизнью.

Восемь черных теней прошли по ночной синеве снега на маленьком дворике секретной. Вверху, над головами, недоступно лучились звезды, а внизу, по сторонам, громоздились каменные корпуса и высокие на́ли безнадежными преградами. Большой человек в тулупе чиркнул спичкой и зажег папиросу. Задребезжала старая калитка, и испуганно промычал простуженный голос из тьмы:

— Это кто?

— Ну, отворяй... Не знаешь, кто ходит в такие часы? Занозило, ядренцы...

— Виноват, вашбродь!..

Ржавый скрежет запора и визг калитки. Торопливая безмолвная возня. Скрип снега под ногами. Звезды. И опять:

— Ну, отпирай. Принимай смену. Шагай, Мизинчик.

И опять — ржавый скрип калитки и скрежет запоров. И опять — безмолвная возня и скрип снега под торопливыми шагами.

А уже перед каменной крепостной стеной, высокой, как скала, врезающейся в двухэтажные корпуса зданий, набатно завыл колокол и пронзительно завизжали сверчковые свистки. Где-то далеко, в утробе внутренних стен, глухо захлопали двери и в панике залаяли голоса.

Выхода не было. Восемь человек наглухо отрезаны от мира. Последний шаг их был отброшен от ворот тюрьмы в каменный тупик. Чтобы коснуться свободы, нужно было разбить черепа о кирпич неприступной стены. Смерть. Смерть — и там, позади, смерть — и здесь, у подножья крепостной преграды, скалой улетающей к звездам. Свобода так близка, и есть еще надежда перешагнуть через невозможное, которое тьмою смотрит в глаза. Лучше смерть здесь, в борьбе за жизнь, чем позади — в тупой покорности перед веревкой.

Прахов с уверенностью человека, выполняющего будничный труд, заботливо распоряжался:

— За мной, товарищи! Лестница на крышу. Валяй смелее.

Один за другим, гуськом, стали карабкаться с торопливой поспешностью. Зарокотало железо под ногами, а позади, в глубине — там, где свистели сверчки, захлебывались голоса, придушенные ночью.

Внизу, под стеною, в изумлении и страхе стояла окоченелая тень караульного солдата, и видно было, что он ошарашенно смотрит на эти невиданные ночные тени, блуждающие по крыше, не может двинуться с места, оцепенелый от ужаса, и не в силах вскинуть винтовку. Прахов наставил на него револьвер и с угрозой скомандовал, как боевой солдат, которому уже нет спасения, который ждет удачи только от чуда:

— Кругом марш!.. Бегом!.. Брось винтовку!..

И, подчиняясь этому окрику, солдат побежал вдоль стены, судорожно вцепившись в штык, и его черная крылатая тень трепыхалась в ночном мерцании снега, как огромный уродливый нетопырь.

— Прыгай, ребята!.. Осторожнее... Не поломай ног...

И Прахов первый полетел вниз, как исполинская птица. Вслед за ним ворохом закувыркались другие.

Свобода так близко. Она — вот, в этом снежном размахе полей и далеких волнистых взгорий, в этом безбрежном просторе бездонного неба, блистающего звездами. Вон недалеко, за снежным перевалом оврага, дрожат и уютно дышат теплом людского жилья оранжевые домашние огоньки, а вправо, в ночном морозном тумане, подземными вздохами рокочет город, издали похожий на взгроможденные вороха льдин на оснеженной реке. Вот она — жизнь и свобода! Нужно только броситься в снежный овраг и затеряться в этих лачугах рабочего предместья. Черные тени заползали по снегу и одна за другой покатились вниз, по сугробам оврага. Около стены, прилипая к снегу, закорчились и застонали четыре беспомощных тела.

— Товарищи!.. помогите!.. Вызволяйте, товарищи! Мы обезножели...

А потом, падая на грудь, поползли вслед за другими.

С бархатным изломом в голосе декламировал офицер в белой перчатке:

— ...Из них скрылись: государственный преступник Чугунов, он же — Прахов, ссыльно-поселенец Архип Цветков и двое приговоренных к смертной казни... Государственный преступник Замятин обнаружен в овраге, что около тюрьмы, в бессознательном состоянии, обмороженный, с переломом обеих ног. В том же овраге в различных местах обнаружены остальные...

В груди клокотала радость. Милый Прахов, милый Архип! Я также свободен, безгранично свободен... Все так просто и нестрашно, когда в сердце клокочет радость.

Среди внезапной тишины — солдатский рапортующий голос:

— Трое скончались. Четверо отходят.

Что-то выкрикивал офицер с хвостатыми усами. Он махал рукой в нашу сторону и бил кулаком по

столику. Говорил и другой офицер, похожий на Николая II. Говорил невнятно и гнусаво. Он часто сморкался в платок и потрясал своды церкви трубным ревом. Должно быть, у него был насморк.

А голос Мизинчика был хриплый и больной. Он, Мизинчик, старался стоять браво, как старый служака, но, потрясенный, не мог владеть собой.

— Его благородие, господин Дынников, сейчас же были убиты... как есть раздался первый залп... Ну, нас развязали... Никого из заключенных, которые заперты, в коридоре не было... Преступником Праховым взяты были только желающие... а все никак не пожелали...

Простяга Мизинчик! Он не изменил себе и в этот час. Грозная сила не затуманила его добрых медвежьих глаз.

Я уже не слышал, что говорили там, около стола. Теряя сознание, я погрузился во тьму и невыносимый холод. Потом опять на мгновение в поющих звуках блеснуло сознание... И опять — холод и мрак. Равнодушный, далекий от жизни, я погружался в ледяные глубины, безучастно внимая недостижимо мерцающим голосам.

— Военно-полевой суд... всех находившихся в камерах, не участвующих... оправдать... Государственных преступников... захваченных... в тяжелом состоянии... Замятина... подвергнуть смертной казни через повешение... немедленно привести в исполнение...

...Огромный шквал подбросил меня, как пылинку. Я летел долго и плавно. Рев, хохот, рыдания потрясали колонны и стены. Большая толпа бегала в панике по всему размаху церкви, сбивалась в плотные кучи. И среди этой толчеи и топота надсадный голос Замятина пел, как труба:

— Товарищи!.. Прощайте, товарищи!.. Погибаю, товарищи! Будьте вы прокляты, палачи и убийцы!.. Будьте вы прокляты!.. На всю жизнь запомните, товарищи... Проща-айте!..

И сквозь рев и гул толпы я опять погрузился в холодную бездну.

1916, 1926

ПУЧИНА

1

Всю дорогу от вокзала до дому Фома ехал не по-бабьи, как ездил при сыне, — с ногами в телеге, — а как самосильный мужик. Ехал, точно ничего не случилось: старательно причмокивал на кобыленку, кряхтевшую в оглоблях, внимательно смотрел по сторонам на бурые жнива и черные свежие полосы пара, с молчаливыми грачами, и сосредоточенно шмурыгал носом.

От встречного ветра седая борода его раздваивалась и показывала желтый выщелкнутый подбородок. Серые лохматые брови иногда вздрагивали, ползли на лоб и морщили его в мелкую гармошку, и тогда на лице трепетала жалкая плачущая улыбка.

День был ведреный, душный, пахло пылью и сжатыми хлебами. Небо — родное, тихое, близкое и такое темно-голубое, что хотелось долго, не отрываясь, смотреть на него. Кругом расстилались поля, синие и грустные в далях, дрожащие в хрустальных волнах бесконечно плывущего марева, а вблизи — мутно-золотые, горящие, туманно-зеленые, сизо-комкастые, беспокойно-оголенные. Косогорчики и лывины, и одинокие мары, в печально-лиловых далях, и убегающая вперед пепельная дорога, и далекие, на самом горизонте сияющие полоски перелесков, и полупрозрач-

ные дремлющие верхушки ветряных мельниц — все это было таким же и шестьдесят лет назад, в ту пору, которую Фома вспоминал, как сон, как то, чего никогда не было. И, слушая перепелку, которая не отставала от него, он чувствовал, что раньше, в детстве и юности, она была не такая, как теперь: не было у нее такой печали.

Вдали, на верху красного буерака, пристально глядел на него серый барский дом с мезонином. На горе, на узкой ленточке дорожки, невыносимо лучилось стеклышко и ослепительной точкой вонзалось в глаза. За домом, до самого горизонта, верст на двадцать, дымились голые даниловские поля, с одинокими хуторами на отрубах. Вправо, среди черных и желтых полей, в маленьком долочке, неприютно и тоскливо грудились в кучу избушки Сморкаловского хутора, куда вышел на отруб его зять Миколай. С ним он жил не в ладах со времени выхода его из общины. И теперь, когда Фома вглядывался в этот дикий пустырь, все эти нелады показались ему пустячными, ненужными, противными душе.

Выплывали из лывины гумна, с круглыми островерхими копнами, соломенные крыши изб и одинокая деревянная колокольня с черными дырами наверху.

И когда Фома увидел эту колокольню, он вдруг больно почувствовал, что вся его теперешняя тоска, это — думы о сыне. Да, вот оно самое главное, что он хотел собрать в одно, выразить в слове, это — боль о сыне, о Степанке.

— Да, брат... поехали с орехами, прискакали с говяхами. Жив бог, и жива душа наша...

Поклонился ему Степанка на вокзале в ноги и заревел. А когда встал, сморкаясь и утираясь рукавом шинели, захлюпал дрожащими губами:

— Прости Христа ради, тятя... на смерть иду!

— Господь простит. Даст бог... того... Пиши, бай... На отруба бы вот надо. Сваляли дурака...

— Олену-то, тятя, не отпускай к своим: дома нужна. Отруб возьмешь — работника найми.

Он шмыгал носом, утирался толстыми черными култышками пальцев, изуродованными в работе, и

растерянно озирался по сторонам. В серой мешковатой шинели, с широкими длинными рукавами, в старом чужом картузе с крестом, он был похож на арестанта. Маленький, тщедушный, белобрысый, курносый, с редким пухом на щеках и подбородке, с двойной верхней губой, он казался очень испуганным, забитым, уставшим от страха.

...Вправо, стороною, плыли облака. Они были пузатые, сытые, четко резались на небе и огромно клубились невыносимо белым и упруго-густым.

На меже, разделяющей Шунацкое поле от Воропуговского, стоял старый полосатый столб. Фома зачем-то снял картуз и перекрестился. Сегодня утром Степанка долго молился здесь, ревел, утирался рукавом шинели и тыкался белобрысой головой в полынную межу. И так же, как и на вокзале, он подошел к нему, упал в ноги и всхлипывал, как ребенок.

Домой Фома поехал не по дороге, а свернул к гумнам, чтобы проехать по своей усадьбе. Нужно было взять из половешки колосу для кобыленки. От прясла, заваленного кучами гнилой соломы и навоза и поросшего репейником и крапивой, запахло теплой прелью и солодом. Низкие половешки, как старые грибы, и сизые копны были тусклы, мертвы — большие могилы. И сердце Фомы опять облила волна невыносимой тоски.

И тут же вспомнил Фома, как Степанка, босой, в полубумажной рубахе и набойных портках, с худыми пузырями на коленках, без устали работал на гумне. Весь черный от загара и пыли, корявый от работы, утопая в соломе, он жадно нырял в ней, мял, трепал, и кудлатая, вихрастая голова его вся была усыпана охвостьем, а двойная верхняя губа растягивалась от напряжения, глаза соловели, и лицо краснело от натуги. Хороший был работник! Хоть и мал ростом, хоть и чеверелый с виду, а такого работника нужно было поискать. Что ж, что не говорлив был и не водил компании с гармонистами и бражниками, что ж, что за дурачка считали, а пусть скажут что-

нибудь плохое про его хозяйство. Людской суд! Знает он цену этому людскому суду...

Вороша вилами колос, он строго и бережно стряхивал его над кучей, чтобы не сыпать на землю, и неторопливо, истово, по привычке смотреть на продукты своего труда как на дар божий, ходил с колосом от половешки до телеги и осторожно клал его на задок. Но и это делалось само собою: душа его не участвовала в работе.

2

Ни Олены, ни Маринки не было на дворе. Фома выпряг лошадь и замесил ей колосу, а сам пошел на крыльцо и лег на конике. Но только что он закрыл глаза, как лихота еще больше защемила душу. В ушах была спутанная ералашь: и свистки паровозов, и гул поезда, и дребезжанье телеги, и голос Степанки... Все крутилось и шумело в мутном клубке, без конца и начала, и давило сердце.

Он сел, разулся, не зная, что делать. В глубине двора, под темным навесом, наперебой, изо всех сил надрывались-кричали две курицы. Одна все торопилась, беспокоилась и бесперечь сдваивала: куда-куда! — а другая спокойно, тяжело и по-старушечьи хрипло отвечала: вон туда!

— Это — пестренькая хлопочется... молодка, — подумал вслух Фома и все мучился и не знал, что с собою делать.

Кобыленка едва была видна в темноте навеса. Спрятав голову в колоде, она вкусно и старательно хрумкала свое месиво, и Фома, неохотно смотря в полумрак, думал вслух:

— Ест моя барыня...

Он встал и поплелся по двору на заднюю половину — осмотреть, всё ли в порядке, нет ли какого недосмотра. Но делал это как будто не он.

За задним двором буерак обрывался вниз красной глиной и ровной стеной шел вплоть до церкви, разрываясь узкими овражками, с родничками, ручейками

и тиной внизу. За буераком ухала пустота и улетала до заречной части деревни. У самого буерака, подмывая его ровные края, вилась и мурлыкала речка. Вся та часть была ровная, просторная, усыпанная белым песком у реки, а дальше — покрытая густой зеленой травой. Тут же, за двором направо, переплетаясь между собою, бежали вниз, в ветлы и назад, в деревню, узенькие тропочки: по ним бабы ходили за водой в родник, спрятанный в ветлах.

Внизу, у бани, около ветел, стояла с Давыдкой Макиным Олена и часто коротко похохатывала. А он, высокий, костистый, усатый, с белыми ресницами и охальными глазами, гудел то просительно, то угрожающе и наступал на нее, хватая ее за груди, за руки, за бока. Олена отступала, притворно отпихивала его, дразнила и не уходила.

Давыдка был неженат, сидел с отцом в лавочке или пропадал на дранке и целыми днями играл там на гармонии. Сам Макин не якшался с мужиками, носил длинный пиджак и стриг бороду. Часто ездил в гости на барский двор и говорил на каком-то особом, не мужицком, языке: «трушница», «лушадка», «челэк», в полной уверенности, что так говорят настоящие образованные господа.

Вся налитая, сытая, широкая костью, Олена вертелась перед Давыдкой и все старалась направить его на деловой разговор, притворно била его по рукам и с фальшивым возмущением вскрикивала:

— Ты меня, Макин сын, не трог! Ты меня не брал... Я сейчас — сама себе владыка.

— Ну, не кобенься! Ну, не баловай! Был муж Степаша — хоть гнилой, да лапоть. Аль уж в солдатках повольничать нельзя?

— Не трог, не трог! Я своей воли не продаю — не из таковских. Вы с папашей — сила на селе, ну и я, в добрый час, хозяйка. Мне забота одна — на ноги встать, а о грехе да спасенье неколи думать. Был муж — поперек дороги, а свекор — гнилая колода. Я — одна, и всё — на моих плечах: воля моя — не легкая пташка, а лихая забота. Рукам воли не давай — обломаю, а для хозяйства и самосилья — и я горазда.

Фома конфузливо отвернулся и отошел назад, смущенно улыбаясь.

— А, батюшки! а, батюшки!..

Он возвратился домой, все время хлопая себя по бедрам и цокая языком, и с лица его не сходила смущенная, плачущая улыбка испуганного человека.

— Вот и проводила... Чо ж... сама себе барыня. Беда-то какая! Знамо, ей жеребца надо стоялого. Знамо, не гож ей Степанка-то.

И провожала она мужа только до межи, а потом умчалась, как телка. А он, Фома, ослеп от горя и не заметил, как она прощалась со Степанкой и какое у нее в то время было лицо. Не любил и боялся ее Фома: вольная была, дерзкая и из дому убегала по праздникам, как девка.

— Знамо, не гож ей был Степанка-то. Знамо, и ране по табунам гонялась, нежеребая...

Маринка была в клети и выбирала из корчаги яйца, считая их как-то по-своему.

— Двадцать десять... тридцать раз...

Она часто поглядывала в двери — боялась и, когда увидела отца, не замолчала, а низко наклонилась над корчагой, не отрываясь от работы. Из-под сарафана виднелись толстые икры упрямо поставленных могучих ног и широко расплывался круглый зад.

Фома встал в дверях и, не зная, что ему здесь нужно, вздохнул и несколько раз повторил:

— Ц-ц... батюшки! ц-ц!..

— Иди-ка, что ли, тятька! — озлилась Маринка. — Чего свет-то застишь, как колода? Только в бабьи углы носы и суют с браткой-то...

Он смущенно улыбнулся, отошел от двери и поплелся в избу.

— Хоть бы на поденную шла, на барский, что ли... Была бы мать, не дала бы тащить. Девка — рази хорошо.

Он вошел в избу и сразу же почувствовал, что ему душно, мучительно, тесно. Он сел на лавку, вцепился в ее край и застыл, как больной. Что-то новое, необъятное жгло его внутренность, а что — не понять: мо-

жет быть, предчувствие смерти, может быть, хотелось рыдать по Степанке, а может быть, сильно помолиться захотелось. И так потянуло в церковь, что не знал, куда деться. Постоять бы в сумерках перед лучистым роем свечей у спасителя и поплакать тихими, обильными скорбными слезами.

Во дворе вдруг завизжали бабы — Олена и Маринка. Хлопнуло, ахнуло и на мгновенье замерло, и вслед за этим в избу, вся раскосмаченная, вбежала Маринка, постаревшая от злобы. Визжала и выкрикивала:

— Шлюшка чертова! Макина шлюшка! Рада, что мужа с рук сбыла. Жива не буду, а на всех перекрестках обохалю. Шлюшка!

С ревом, шлепая толстыми ногами, она пробежала в чулан, захлопнула дверцу на задвижку и завыла. Олена вошла спокойно, молча, строго, точно была озабочена большим трудным делом. Отперла шкафчик, вытащила кучу зазвеневших ключей и ключ от клети вдела к остальным. Потом так же спокойно и заботливо заперла шкафчик и ключик от него положила в карман.

— Было бы тебе знамо, батюшка, — сказала она с холодной злостью, — ежели я эту воровку захвачу, я ей все косы выдеру. Я ей покажу шлюшку! Было бы тебе известно, батюшка, у ней деньги есть, пра!

И, точно ничего не случилось, она перешла на ровный хозяйственный тон.

— Я, батюшка, все ключи у себя держать буду. Степаши нет, так хозяйство — сирота. Я, батюшка, на нее зла не имею, но воровать в жизнь не допущу.

— Молчи, шлюшка Макина! — визжала Маринка. — Давно Давыдке-то предалась?

Олена точно не слышала этого визга и, присаживаясь к столу, бойко и расчетливо говорила:

— А Макины — что... Умеючи, от них и благость можно взять. Они — кулаки. Им в рот палец не клади. Сейчас сам зубы точи, а то загрызут. Была бы голова да забота, а зубы у меня вострые. Я — отчаянная. Кузины вот тоже... В избе — одни бабы. Зарезались с отрубом-то. Долго тут нечего думать.

Фома слушал, что кричали бабы, что рассчитывала Олена, и удивлялся, почему это его не волнует, не поражает, не ранит души. Он молчал и, как во сне, неподвижно смотрел мимо Олены.

— Хлеба нам не абы сколько надо, батюшка, — по-мужицки рассуждала Олена, и лицо у нее было совсем иное, чем при муже: каменное, неласковое. — Щевица ноне пойдет в ход не в пример с летошним — война. Старая рожь еще в сусеке. Новое зерно не плачет и свою цену найдет. На Даниловской земля не хуже барской. Кузины не пикнут. Отруб мы буквально осилим. Для Макина мы будем всяко надежны. Вот мы тебя, батюшка, туда, на дранку-то, и посадим для порядку, — пошутила она, и Фома впервые увидел, что Олена не считается с ним, видит в нем что-то вроде старой шелухи, — скоро она оторвется и сойдет со здорового тела.

— Хозяйка... — дряхло и слабо проворчал он. — Что больно затрясла гузном-то? Проводила мужа, так и подол задрала?

— Я, батюшка, умная и в хозяйстве беспощадная, — озлилась Олена, вставая со скамьи. — Никакого греха, батюшка, не боюсь. Я это и Степаше сказывала, и от мужа своего слово на это имею. А ты, батюшка, знай свое дело — сиди и не суйся. Тут гляди да гляди. Ты — древний и темный, а на мне вся тягота и забота. Будя: была под ярмом и без голоса, а сейчас моей воли одна судьба — жизнь одолеть, не бояться ни бога, ни шабра для своего добра.

Фома махнул рукою, встал и прилег на кровать.

— Не сговоришь... пускай пока, все равно... как-нибудь...

В чулане, за перегородкой, молча хлюпала Маринка. Гудел и шлепал о стекло слепень, спугивая и вороша покорных сытых мух. На улице, за окном, задребезжала ведром бочка: должно быть, шабры поехали за водой на реку.

И как только лег Фома и задремал, опять в голове забарахталась разная бестолочь, залила его вязкой тяжестью и невыносимо задавила сердце.

3

Он очнулся и со стоном сел на кровати.

Около него сидела Паруша. Опираясь руками о лавку, говорила не то с ним, не то сама с собою.

Недавно умер у нее старик, и сыновья растащили все хозяйство. А она, высокая, костистая, с нависшими на глаза бровями, привыкшая при старике распоряжаться, кричать на детей и подчас бить их сковородником, — теперь ходила от сына к сыну и жутко проклинала их на всю деревню. Все четверо сыновей были ругатели, угрюмые, как быки, и нелюдимые. Как только приходила мать, они поднимали с нею бестолковую оглушительную ералашь. И по тихим задумчивым вечерам, когда при печальной заре хотелось молча вздыхать, разносилась она по всей деревне и тревожила у всех неприязнь к ним.

Шершавый, измятый дремотой, Фома пристально поглядел на черную от горя Парушу и подумал:

«Как-никак — мать».

И он вспомнил, как эта Паруша когда-то, очень давно, впервые заставила затосковать его сердце. Лупоглазая, озорная, горластая, похожая на мужика, она вместе с ним однажды ездила на мельницу. Свободно, без натуги, носила, как и он, мешки с воза и шутила с ним:

— Фома, приходи свататься, а то за другого выйду, — не догонишь.

— Больно ты мне нужна, толстокорая... Не набивайся: у меня краля не чета тебе, колоде.

И они долго тискали друг друга около возов и глядели один на другого пьяными глазами.

...Давно! А теперь вот она — обездоленная, злобная от постоянных обид.

— Что-о? — по-мужичьи грубо запела она. — Встал, что ли? А я, бай, пойду к Фоме-то. Степанкуто, бай, проводил, так, бай, прискорбно. Заботный был больно, а душа у тебя, как пороша. И у меня кости можжат... Аль не заможжат, чай? С такими детками заможжат... Хозяйкой была и ухаживать было кому — полна изба невесток. Хочу — за косу, хочу —

по румяной щечке. А теперь, как татары налетели. Покарай их, господи, лютыми муками! Несчастную статью приведи им, господи!

«Без ума она», — подумал Фома с тяжелой тревогой.

Махнув рукою, он сказал строго и внушительно:

— Чего мелешь, мельница? Рази так гоже? Он еще, господь-то, не так тебе рога сшибет... бадья ты старая!

И, тыкая ей в грудь старыми култышками, коротко, еще строже сказал:

— Ты — мать. Рази можно про детей так... глупая.

Баб не было в избе: Маринка, должно быть, пошла встречать коров из стада, а Олена — сеять муку в ночевки. Фома встал с кровати и подошел к окну: пора вести кобыленку на пойло.

— Проводил вот мужика-то, — пошутил он, — а теперь, как бугай старый: ни пользы, ни веселья. Нужда заставит — плясать с тобой пойдем, девка.

— Запляшешь... Детки в дуду, а я вприсядь бреду. Утащили двоих — еще двое дудят...

— Будя а ты душу-то мутить! Какая ты мать? Они выросли — все ихо. Детки живут — тебе ж слава. Башки у нас с тобой, девка, — корчаги без всякой спорыньи, пра.

И не чувствовал к ней Фома ни неприязни, ни осужденья: слишком уж одинокой и безутешной казалась она ему, лишенная детей, покинутая ими среди обломков и пустоты расхищенного хозяйства. Смутно чувствовал Фома, что в этих проклятиях была безумная любовь, тоска и молитвы отвергнутой матери.

Он пошел к двери. Паруша с угрюмой, суровой мыслью пошла за ним.

— Ну, пошла в свою келью. Дудят детки...

— Это, девка, сковородники дудят, пра! — пошутил Фома. — Ты — мать, чтобы жертву принимать. Сиди, ночуй, пошто уходишь?

— Я еще в жизнь в чужих людях по нужде не ночевала. Хорони, господи! Сижу домовихой — сама себе хозяйка.

Она медленно и гордо отодвинулась от него и вышла из избы с каменною непреклонностью в глазах.

4

Фома взял кобыленку за повод и повел ее поить на реку. Верхом он давно не ездил: трудно было подниматься на лошадь и нехорошо это было для его лет. А так пройтись по своему порядку босиком и без картуза, впереди кобыленки, было и приятно и не так одиноко.

С заречной стороны гнали с горы стадо, и между дворами этого порядка видно было, как подымалась красная пыль над избами на той стороне и как оттуда наперебой, нетерпеливо, гулко мычали коровы, блеяли овцы и пронзительно кричали детишки и бабы.

Фома свернул к колодцу. Деревянный сруб родника увяз в черной, никогда не высыхающей тине на дне оврага, дико забитого глухой и жгучей крапивой, навозом с погаными грибами и кустами лозняка. За колодцем толпились и хмурились ветлы, похожие на кучу старых баб. В их густых ветвях чернели вороха галок и грачей.

У колодца Фома увидел невестку Мосеву, Оксю. Как и у него, у старика Мосева старухи не было. Баба была в доме только Окся да две девчонки-золовки. Вся тягость работы лежала на ее плечах. А она была всегда свежая, вся выпуклая.

Окся с коромыслом на плечах уже шла домой. Увидев Фому, она остановилась и поклонилась ему.

— Проводил, что ли, Степашу-то, дядя Фома? — запела она участливо, по-старушечьи.

— По-огнали, потащили... машиной...

— Ах ты господи! Горе-то какое!

— По-огнали... Что же сделаешь? Там их така махина! Всех перелицевали — все на один серый манер. Мырнул Степанка-то, искал, искал — все под одно... Топерь, бат, мы все одинаки: нет, бат, ни пана, ни Ивана. По-огнали! Рази теперь его найдешь? в жизнь не найдешь. Ни пана, ни Ивана...

— Беда-то тебе какая, дядя Фома! — опять запела по-старушечьи Окся. — А я вот, грешница, все только и радуюсь, только и радуюсь... Думаю: господи, да счастливее меня и человека-то нет, пра...

— По-огнали... машиной...

— И чего я такая счастливая? И семья-то хорошая, и муж-то хороший, и свекор-то хороший.

Кобыленка молча и покорно пила воду из колоды и постоянно встряхивала кожей. Вода была такая свежая и вкусная на вид, что хотелось пить ее вместе с кобыленкой.

С той стороны широкой и редкой гурьбой, неся с собою розовую пыль, устало и домовито шли коровы, помахивая головами и шлепая хвостами по бокам.

Окся стояла около Фомы, смотрела на него ясным, радостным щекастым лицом, строго морщила по-ребячьи толстые губы, хлопала безгрешными серыми глазами и охотно, точно сказку рассказывала, нараспев выкладывала:

— Жизнь у меня, дядя Фома, хорошая — дай бог всякому. В девчонках я, дядя Фома, над своим Егором смеялась: чапанником да лапотником считала, а теперь лучше его и на свете нет.

— А ноне, бай, Оксюшка, слыхал я на вокзале: на этой неделе всех Егоров забирать будут по округе, — пошутил Фома, поднимая брови. — Чего ты тогда делать-то будешь, девка?

Окся не поняла шутки, испуганно замолчала и погасла. Потом сразу же опять загорелась, зарадовалась и запела:

— Я, дядя Фома, об этом и думать-то не думаю. Я, дядя Фома, никогда никакого горя не знала. Может, я такая, что и на горе-то совсем неспособна. Словно радость какую посылат господь. Заходи к нам, дядя Фома; ведь горе-то у тебя какое, пра!

Она пошла от колодца прямо вверх, по склону оврага, и на лице ее не было ни печали, ни заботы, ни усталости: вся она была ласковая, мягкая и радостная. Фома нежно и растроганно посмотрел ей вслед, и в душе у него самого стало певуче и ласково.

На той и на этой стороне по косогорчикам и зеленой луке бродили бабы между коровами и овцами, разыскивали своих и жалобно, просительно пели:

— Бара-аша, бара-аша!

Небо еще горело вечерним солнцем, но внизу, на луке, было уже спокойно, по-вечернему прозрачно и

тихо, по-вечернему пахло речкой, травой и глиной и по-вечернему грустно.

Фома постоял немного у колодца, послушал неугомонный звон воды, посмотрел на спокойное, неторопливое течение реки — отражались в ней избы и крутой яр на той стороне — и почувствовал, как сладко и глубоко скорбела его душа.

Кобыленка стояла, опустив голову, и дремала, закрывая глаза, точно скорбела и она, а Фома застыл около нее, беззвучно плакал и улыбался.

5

Праздник успенья был престольным праздником в Воропугове. Готовились к этому дню, как к пасхе: всюду топились бани, развешивались на пряслах наряды, вынутые из кладовых, и деревня окутывалась дымом и горела яркими разноцветными пятнами. В каждой избе стояла с раннего утра одурелая суета. Война не изменила этого порядка: все происходило так же, как и раньше, как и сто лет тому назад.

День был прохладный, светлый, с голубым, немного стальным небом и мутно-серыми облаками. И близко и далеко все отчеканивалось резко: на той стороне, на плоскуше коровьего навеса, видны были даже трехрогие вилы и грабли вверх зубьями. От густой росы, выпавшей за ночь, мокро зеленела и искрилась трава и жирно чернела дорога.

Маринка достала отцу из сундука пунцовую пахучую рубаху, плисовые портки и, нарядная сама, в городской кофте и узкой юбке без складок, крупно и тяжело обтягивавшей широкий зад и живот, топталась на улице около выхода, порываясь идти куда-то, но не решалась.

Народ шел и по улице перед избой, и позади двора, около яра, снизу, от реки; люди шли со всех сторон по широкой луке с блекнувшей зеленью к церкви, и у всех праздничные лица.

В церкви Фома долго плакал. Как купил две тоненькие прозрачные свечечки и почувствовал их

в своих руках, так сейчас же заплакал. Стоя на коленях перед своими свечами, он лобызал старый деревянный пол. И ему казалось, что Христос смотрит только на него, благословляет его широким взмахом руки и шевелит губами. И когда из алтаря доносился далекий певучий голос священника, Фоме чудилось, что это говорит Христос. Когда же он немного забылся, ему вдруг показалось, что не Христа он видит, а Степанку.

И только раз за все время обедни разбудили Фому громкие тревожно-скорбные голоса. Нестройно пел на клиросе хор:

— «Единородный сыне!.. Распныйся же... смертию смерть поправый!»

И душа его так во всю службу и осталась с этими словами. Ничего он больше не слышал до конца, кроме этих слов.

Они будили тревогу и смертельную боль, перехватывали дыхание восторгом, и губы его, как в бреду или во сне, говорили одно и то же взволнованно и изумленно:

— Смертию... распныйся... единородный...

Из церкви Фома вышел последним и видел с паперти, как народ расползался по площади во все стороны несколькими лентами — спицами огромного нарядного колеса. Воздух был по-осеннему свежий, по-осеннему приближающий четкие дали, с лесными взгорками, черными дорогами и желтыми жнивами. По-осеннему же бежали по луке серые тени от облаков, прорезывали толпу и уносились к молчаливым, ушедшим в себя далям. И пестрые наряды толпы и блеклая зелень последней травы вспыхивали и потухали в тревожных порывах. Разливался во все стороны колокольный звон, и люди расходились во все стороны длинной чередой.

И по этой нарядной толпе, утопающей в говоре и праздничном безделье, нельзя было думать, что многие из мужиков и парней сидят в окопах, что многие из них уже ранены и убиты.

У церковной ограды Фома увидел Миколая с Машаркой. Миколай возился с лошадью и покрики-

вал на нее с ласковой строгостью довольного хозяина. Машарка сидела на телеге в кубовом платке и вся распушилась от пышной кучи складок и оборок своего зеленого сарафана, как гусыня в гнезде, и лицо ее, курносое, рябое, с кругленькими безресничными больными глазами, казалось маленьким, старушечьим в пухлом ворохе одежек.

Она еще издали увидела отца, испуганно заметалась на телеге и крикнула навстречу ему:

— Батюшка! иди-ка сюда! Ах ты господи! Иваныч, погоди, бай, батюшка идет!

Она срывно кудахтала, точно увидела что-то новое в старике, сильно поразившее ее, растерялась и не знала, что делать. Миколай подошел к телеге и, щуря узенькие глаза, закивал на Фому головой, оскалился и пустил по безбородому лицу множество гармошек.

— Могила, гы! То есть, сколько лет, сколько зим! Двадцать две хворобы! Богоданный родитель! Наше вам большущее!

В ожидании Фомы он стал около телеги и приложил руку к козырьку. Жил он все время в городе на мельнице, а потому ходил по-городскому: в брюках навыпуск, в жилетке и рубашке «фантазия». Машарка грузно слетела со своего гнезда, уставилась на отца — не видела целый год — и заплакала.

— Батюшка, как твое здоровье-то?

Увидела его неудержимую улыбку, немного посоловелые бестолковые глаза, трясущуюся бороду и сразу почувствовала, что он долго не проживет, что в нем есть что-то такое, что делает его далеким, непонятным и обреченным.

— Со Степанкой-то вот и увидеться-то не привелось, — плача, кудахтала Машарка, — може, и не приведет уж господь. А все споры ваши да раздоры... Плакал, чай, Степанка-то, батюшка?

— И не бай: беды! На смерть, бат, тятя, иду. Все на один болван стали. Тут, бат, ни пана, ни Ивана... Засосало его омутом этим, как зерно на жерново. За виски не вытащишь. По-огнали!.. Привелось и муку примать. Знать, надо... указано, знать...

Он хотел рассказать много, потрясти Машарку и

Миколая, но нужных слов не находил, сбивался, таращил брови на лоб и мучился.

— На старости лет оказался родитель на бабьем интересе, на манер клушки на яйцах, — развязно рассуждал Миколай. — Баба в сей момент пошла без всякого присмотра, со всяким своим носом и словами. Я так полагаю — будет тебе, родитель, окончание жизни, и совершенное придет удушье... могила! Садись, тесть,— прокачу. Доставлю прямым сообщением в нашу Сморкаловку.

Машарка опять забралась цветущей кучей па телегу, рядом с ней сел Миколай. Фома примостился с краю, спиной к ним, опустив ноги. На хутор он отказался ехать — не хотелось слушать болтовню Миколая: он лез к нему назойливо в глаза и мешал скорбно и сладко думать о сыне. А с Машаркой хотел остаться и о многом поговорить, тихо и грустно. Из-за Миколая же не было сил оставить у себя погостить.

У своей избы он увидел плетеный тарантас Макина. Давыдка в жокейской кепке, стянутой на красный затылок, сидел перед Оленой. Она грызла зерна, посматривала на него по-птичьи, сбоку, и грозила ему кулаком. Сплюнув с губ шелуху, она легко прыгнула к нему в тарантас. Давыдка молодцевато жвыкнул кнутом и гекнул на иноходчика.

Машарка как жар покраснела и застыла от негодования и стыда. Растерянно смотрела на Олену, на ее игру с Давыдкой и только бестолково повторяла одно и то же:

— А, батюшки! а, батюшки! Страм-то какой! Стыд-то какой! А, батюшки!

Когда Давыдка прокатил мимо них, Олена даже бровью не повела. Не переставая грызть зерна, она пронзительно крикнула:

— Я, батюшка, — на отруб. Не жди!

И что она кричала потом — уже не было слышно.

— Во! видал? — заговорил Миколай, морща лицо в гармошку. — Могила! уж одна сказилась. Теперь за другими череда. Теперь, родитель, бабы на всеё Расею переказятся, могила, ей-богу! Аль всех мужиков оставших перекалечат, али сами перережутся, не иначе!

Фома долго смотрел вслед Олене, как будто ничего не понимал, и только глядел на Машарку и Миколая с мерцающей улыбкой. Потом махнул рукой и, не погашая улыбки, сказал, точно вслух подумал:

— Пущай. Рази теперь ее удержишь! В жизнь не удержишь. В конпанью с Макиным входит на дранку. Пу-щай!

— В конпанью? — обрадовался Миколай. — Могила, ги-ги! Дело твое, родитель, — совсем размол.

— А, батюшки! — долбила Машарка. — А, батюшки!.. Страм-то какой! Люди-то, люди-то глядят... господи!

Фома слез с телеги, немного постояв на месте, поднял кверху голову, точно прислушиваясь к чему-то. А Миколай куражливо хвастался перед Фомой:

— Прокачу, богоданный родитель, влезай вместе с ногами. До Сморкаловки — в пятнадцать минут — руку на отсечение. Могила — не кони. Будешь лежать у нас на печи. Ране из-за дворовых усадьбов зубы выбивали и в лаптях ходили, а ноне — в продовольствии: знать никого не хотим и никого не уважаем. Гнули спину за чужого дядю, портянками харю утирали. При нонешнем самосилье можем и не любить ни брата, ни свата. Седай, родитель!

Фома опять махнул рукою и отвернулся. В своей тупой хвастливой сытости долго голодавшего, бесприютного человека Миколай был невыносим ему. Тяжело, стыдно было смотреть ему в глаза и молчать на его пустую барабанную болтовню.

«Дуролом, — подумал он, отходя. — Только бабенку запакостил, губошлеп».

— Батюшка! — срывающимся, упавшим голосом позвала Машарка. — Аль, чай, не навестишь нас! Ежели что, батюшка, прости нас, Христа ради.

Она заплакала тоскливо и больно, как человек, давно уставший от горя. Фома остановился, взглянул на нее и увидел, что Машарка всем существом своим и этими своими слезами просит у него помощи, утешения и ласки. Он ничего не ответил ей и снял картуз.

6

Долго не было писем от Степанки, и Фома за это время весь съежился, ссохся, побелел еще больше. Только лицо его было полно непонятной праздничности и затаенной мысли. И в этой своей, скрытой от других, внутренней жизни он был похож на юродивого. Каждый день он надевал новую рубашку, портки — не переставал надевать их с тех пор, как ходил на успенье в церковь, — одевал поддевку, которую носил только в большие праздники. Одетый по-праздничному, шел на гумно, где работал Степанка, или в поле, которое вспахано Степанкиными руками. Долго стоял там, думая неизвестно о чем и бормоча себе в бороду.

Раза два мимоходом заглядывала в избу Окся, долго сидела с ним рядом, вся светлая, радостная, восторженная, и долго говорила с ним о своей хорошей жизни, а Фома смотрел на нее и смеялся глухим блаженным смехом.

Однажды вечером рыжий мальчишка десятника принес ему грязный, помятый конверт с печатью, и Фома до самого ужина в недоумении вертел его в руках, не зная, что с ним делать. Потом вспомнил, что надо дать его Олене: она в грамоте бойкая, заткнет за пояс любого мужика.

Олена доила коров, и из-за выхода, от амбара, где было коровье прясло, то и дело слышались странно чужие, спокойно злые окрики:

— Стой! Стой! Холера!

Должно быть, у коровы болели соски, и она брыкалась и не давалась доиться.

При Степанке они ужинали без огня. Теперь же Олена аккуратно после вечерней уборки зажигала висячую лампу с жестяным кругом, сама садилась на самом светлом месте и даже сама резала хлеб, незаметно отняв эту хозяйскую и давнюю привилегию у Фомы.

Когда невестка зажгла лампу, Фома протянул ей письмо.

— Прочитай-ка, бай... ну-ка! Как он там, вояка-то наш... палит, чай, из ружья-то...

Олена неторопливо и молча вынула письмо из кон-

верта и по-мужичьи сурово стала читать его тихим шепотом. Фома смотрел ей в рот и ждал с нетерпеливым смирением и тяжелой тоской. Хотелось встать и вырвать из рук Олены письмо и унести его к себе в сундук: этот неуловимо вороватый шепот высасывал из письма всю слезную правду, всю ту боль, что унес в своей душе Степанка, с корнями вырванный из своей жизни и принесенный в жертву.

— Читай, чай... колдобина! И чего музюкает? Конпанионщица!

Она взглянула на него злыми глазами.

Фома вздохнул и стал терпеливо ждать.

Степанка, как и всякий хороший мужик, начал с поклонов и писал эти поклоны долго и с любовью — и никого не забыл — ни из сродников, ни из товарищей.

«И уведомляю я тебя, родимый батюшка, в том, как на мою долю выпало чижолое страданье. День — на перестрелке, а ночь — роешь окопы. Порожнева время совсем нет. А рубашки да портки николи не моем. 9 августа и 30 были мы в ужасном огне под чижолыми снарядами. От взрывов качались, как в зыбке. Окроме убитых да раненых, неки переглохли, а неки языки отгрызли. А снаряды роют великие погреба, а людей разносит в тенеты. Мы все грязные, не умываемся. И не знаем, какие дни и числа. И такой тут страх, тятя, — може, я и не выдержу...»

Фома сидел около стола ровно и истово, подняв брови кверху, и плакал беззвучно, по-стариковски покорно.

Олена собирала ужинать и уверенно, отчетливо говорила Фоме о том, что она устроила дело с Макиным насчет участия в компании на дранку и как подвигается дело с Кузиным отрубом. И слова ее, одноцветные, жесткие, как отрезанные ломти черствого хлеба, тяжело и больно ложились перед ним и давили душу своей ненужностью и чем-то таким, от чего хотелось уйти, как от угара, как от смерти.

— Наше, батюшка, дело — не потерять подковы и не обезножеть. Я с Макиным, батюшка, сужок уж имела про щевицу. Из четвертой части на дранку. Прикуплю другую лошадь и — на колесо ее. Насчет ржи

тоже намек закинул. Меня голыми руками не возьмешь: надо знать, где у черта рога. Пущай люди судят: не такое сейчас время, чтобы молитву творить. Была баба — дура, а сейчас баба любому мужику на хребтуг сядет. Всех солдаток в кучу собью, и бабьим сходом весь обычай — в щепки.

— Дранка... Сама ты — дранка. Конпанионщица! Щевица — Степанкино дело. Степанкин интерес.

— Об этом-то самом и говорят, батюшка. Знамо, кто интерес свой упущать желает? Силу я свою нашла. И на бабью силу — свое время. Теперь моя сила — не кляча, а воля — не хомут! Будя!

— Распоряжальщица! Маринку вот еще замуж надо.

— Маринка не маленькая: свою мамону она нашла. Ты, батюшка, ежели что — знай: она с Демидом снюхалась, с полесчиком. Ежели пойдет — пущай идет, а я из дому брать ничего не допущу.

Подавленный и разбитый, Фома встал из-за стола и, сгорбившись, молча вышел из избы.

На западе небо было холодное, серое, но прозрачное, как вода в пруду, такое же свежее и широкое. На этом светлом и холодном небе четко выступали избы на той стороне и церковь с разинутой дырой на колокольне. Кроме этих вырезанных коньков и высокой колокольни, все проваливалось в серую пустую тьму, тяжело напирающую на Фому жутким молчанием. Было безлюдно и неприятно и так тихо, что слышно было, как тяжело сопели коровы в загоне. На барском буераке гнусаво-мечтательно томилась гармония с колокольчиками и грубо обрывалась хохотом. Мерцали в вышине крупные и мелкие звезды, и влажно пахло землей и умирающей травой. И никогда еще Фома не чувствовал себя таким одиноким и брошенным, как сейчас. Он присел на приступок у входа и оцепенел.

Да, отжил вот, а что толку: выбросило его вон за его долгую и послушную жизнь, как старый лапоть, и некому защитить, некому подобрать...

— Помирать надо, — плача, улыбнулся он, — помирать, бай... Пущай живут, как хотят... наплевать! На кладбище надо сходить.

И, точно отвечая его слезам, с обычной вечерней печалью заплакал церковный колокол. Вскрикнув глухо: у-у-у!.. застонал, заскорбел надолго: увы-увы-увы!.. И потом замер в слепом древнем отчаянии. И эта пустая серая тьма и четкая одинокая колокольня с совиным глазом казались страшными, как пустой дом в полночь.

Рожденный этим вечерним плачем колокола, от церкви из тьмы по луке шел к Фоме Степанка, такой, каким он видел его в последний раз на вокзале, в широкой серой шинели с длинными рукавами и в чужом солдатском картузе. Шел и плакал, захлебываясь слезами и шмыгая носом. Шел, весь измученный, едва таща ноги, и глядел на Фому разбухшими от муки глазами и тосковал:

— Тятя! и такой здесь страх... може, и не выдержу... Тятя!

Фома в смятении вскочил с порога, кинулся к Степанке и упал. Хотел встать, но отнялись ноги и руки. Карабкаясь по земле, он дополз до дороги, не спуская остановившихся глаз со Степанки. А он продолжал идти к нему, сгорбившись, не поднимая ног, точно нес непосильную тяжесть, — шел и не мог дойти. Фома упал лицом в землю и замер.

7

До осени Олена продала Макину щевицу и не сказала Фоме, а если бы и сказала, то едва ли бы он ответил ей что-нибудь. Пущай что хочет, то и делает.

Днем он жил одним непрерывным ожиданием ночи, которая рождалась звоном колокола, и бродил по двору, со двора на гумно, на сжатое просо за гумном.

Все чаще и чаще заходила Окся и, вся сияющая, ласковая, садилась около Фомы, долго говорила о своей хорошей жизни и певуче, по-старушечьи, вскрикивала нежно, со слезами, как мать:

— Горе-то тебе какое, дядя Фома! Господи!

И Фома привык к ней, ждал ее, улыбался и бормотал радостно, горько и восторженно:

— Страх, бат, тятя, великий... може, бат, не выдержу...

А Окся говорила о своей хорошей жизни.

Олена улыбалась спокойной улыбкой и язвила:

— Сошлись домовой с курицей. Дело-то околело! Иди-ка домой, Оксютка: свекор ждет.

А Окся с готовностью радостно отвечала:

— У меня свекор-батюшка — хороший... дай бог всякому.

К воздвижению Олена вошла в компанию с Макиным на дранку и часто пропадала там, а когда приходила домой, то в лице у нее было что-то хитрое, довольное и грешное.

Накануне праздника, вечером, Маринка нарядилась во все новое, молча ушла из дому и больше не возвращалась. Олена загадочно улыбалась и, среди хозяйственных хлопот, все мурлыкала бойко и весело.

Утром Фома хотел поехать в церковь на престол в соседний приход, но Олена не дала кобыленки: сказала, что сама поедет в волость.

Она вошла в избу, бледная, мужикастая, с сычиными глазами.

— Маринка, батюшка, у Демида. Это — дело ее. Ну только она все матушкино добро забрала. Все ночью украла. Я этого так не оставлю. Нраву я ее не препятствую: ну только воровке, крысе ночной, обязательно рожу сворочу. Скажи она сразу, в глаза, — сама бы все поделила, как хорошая подруга...

Фома затрясся и едва встал на ноги.

— Уйди от меня, ради Христа! Назола-то какая! И что за деймон ты? Грех гонишь в дом, паскуда! И что теперь будет-то, а?.. Куда же я пойду от вас, а? Бог с вами, живите, как хотите.

Он вышел из избы и пошел сам не зная куда. Утро было холодное, с белым бисерным инеем. Он был всюду — на траве, на завалине, на соломенных крышах амбаров. Небо было чистое, низкое и стальное, точно и оно было покрыто инеем. На прозрачной белизне луки видны были льдистые следы: кто-то прошел из села к церкви.

Фома добрался до кельи Паруши, постоял немного

и вошел в избу. Паруша топила печь и гремела горшками. Вся прежняя — суровая, никогда не улыбающаяся — посмотрела на него понимающими, угрюмыми глазами и первая заговорила по-мужичьи мудро и сурово:

— Что? еще живешь? не выкурили еще детки-то? Они, брат, дети-то, — плети.

— Не мути, бай... чего мутишь, девка? Пущай живут... пущай плетут себе, как хотят.

— Они заплетут, они те! Ты мягкий и глупый: сокрушат они тебя... сокрушат, Фома.

Фоме хотелось поделиться с Парушей своей скорбью, хотелось сказать ей о своей тайне и не находил слов.

— Ходит ко мне Степанка-то, Паруша. Как ночь, так и...

— Умрешь ты скоро, Фома.

— Муки, бат, тятя, великие... Страждет!

Говорил с верой, а в душе была такая тоска, что хотелось грохнуться на пол, кататься и выть в отчаянии. Он заплакал и не мог говорить.

— Умрешь ты скоро, Фома, — сказала Паруша уверенно и тоже заплакала.

— Маринка-то убегла от меня. Взяла и убегла. Связалась с Демидом и убегла.

Паруша точно услышала радостную весть и кашлянула от смеха, и в этом своем смехе она показалась уставшей и измученной.

— То ли еще будет, Фома... То ли еще есть! Что в доме-то у тебя? Сатана у тебя в доме-то... чистая сатана!

— Как же быть-то, старуха, а?

— Ты — старый пес... воешь по ночам, как проклятый. Меня вон на цепь посадили. Рази только удавят, дай срок. Ну, душу мою не погублю: я свою гордыню владычице унесу.

Она выпрямилась, напряглась, окрепла, стала опять прежней — упрямой и непреклонной, с насупленными бровями и холодной металличностью в глазах.

Фоме стало тяжело, и опять он почувствовал, что Паруша не поймет его, не почует его тайны и скорби. А поведать некому.

Он ушел от Паруши и побрел на гумно. Здесь было хорошо: на всем была видна рука Степанки, и с каждой соломинки и колоска смотрело на него трудовое его лицо. Долго слонялся он по гумну без дела, потом нахлобучил на голову картуз и пошел в поле. Вспомнил, что надо бы сходить на вокзал, где провожал он Степанку и где Степанка плакал и тосковал в последний раз. Через дымный осенний лес на горизонте, через черные и бурые поля слабо и мутно звали Фому грустные гудки паровозов.

8

На станции по-прежнему было много вагонов. Их таскали с места на место, и они стукались друг о друга и грохотали. И в самом вокзале висели те же большие и маленькие запачканные грамоты. Они висели тут давно, как провели дорогу, и висят до сих пор — так их, должно быть, и не снимали все время: кому они нужны?

Около площадки стоял длинный поезд, и около вагонов прохаживались солдаты: иные на костылях, иные с перевязанными руками и головами. В стороне нелюдимо прижимались к стене вокзала и к решетке палисадника мужики и бабы из Шунак. Притащились сюда и мордовки в одних шушпанах.

Фома постоял немного на площадке, смущенно и робко улыбаясь, и, не зная, куда идти и что делать, смотрел на солдат и жевал беззубыми деснами.

Позади, у последнего вагона, сидели рядком несколько солдат на багажной тележке и курили. Один из них был с подвязанной рукой, другой с костылем. Оба молодые и широколицые. Третий был с бородой и серым измученным лицом. Каждый из них был похож на Степанку, и каждый был родной Фоме — свой. Воропуговский. Може, Степанкины дружки: коли из этих мест, так обязательно с ним были.

Фома робко зашаркал к ним курносыми сапогами. Солдаты посмотрели на него равнодушными, скучающими глазами и продолжали тихо говорить и смеяться, поглядывая на мордовок, обтянутых шушпанами. Фома

снял картуз и, поднимая брови, любовно и нежно смотрел на них и не знал, о чем говорить. А поговорить хотелось о многом и столько, что хватило бы на целый день.

— Мордовки... — улыбаясь, забормотал он, — в шушпанах... Покштяйские. Трудный народ — хозявы...

Солдат с подвешенной рукой посмотрел на него, шевеля усами, и прищурил один глаз.

— А-а, папаша — мудрость наша! Трудящий старичок, слезы точишь в кулачок, а молитвы в кабачок.

Фома смущенно таращил кверху брови и счастливо улыбался.

— Складный-то какой... веселый! Хороший парень...

— Со смертью вместе пьянствовали, а теперь с похмелья голова болит. К чертям эту мясорубку!

Бородатый солдат напряженно смотрел куда-то вперед такими глазами, словно он долго не спал, и, не оборачиваясь, строго сказал:

— Пучина и тряс! Буча! Погибает народ... Зачем? За что? В огне и трясе — моя кровь. Жги пожаром и кровью! Чтобы не было!.. Стреляй назад — в офицерьё, в генералов, в царя!..

Солдат с подвешенной рукой задергал щеками. Прыжком встал с тележки и подцепил под руку бородатого.

— Айда-ка, товарищ! айда-ка, брательник! Зальемся к мордовкам. Айда-ка, парнюга!

Бородатый шел, как пьяный, нырял воздух головой и кричал:

— За кровь нашу в огонь их! Проклятые! Чтобы не было... не было! Везде кровь, вся земля в крови... Бей их, кровососов! всем фронтом бей! Эй, народ, люди! Чего ждете? Бей их, гони в преисподнюю!

Солдаты молчали и глядели в ту сторону обалделыми глазами.

— То-то... И Степанка, бай, вот... — сказал Фома.— Может, бат, и не выдержу. Великая, бат, страсть! Чай, там же Степанка-то?

— То есть чей Степанка-то?

— Степан Столбов, как же!.. Вместе, чай, были... вместе му́ку примали. Знать должны. Степан Столбов, чай.

— Эх, папаша! Там не то ли что столбов, а стрижет и дубьев. Эх, старичок, о сыне горюешь? А сколько их — миллионы! До каких пор бойня эта? Видишь, солдата-то до чего довели? Однако дело идет к концу: приходится штыки на генералов и толстопузых обращать! Нет больше терпенья народу...

— Вот и Степанка отписывает: может, и не выдержу, бает... Там му́ку-то примат. Степан Столбов он, как же.

— Был один Столбов в нашем взводе, знаю. Только тот был Семен.

— Степан, чай... как же... Не Семен, а Степан.

— Ну, так тот самый Столбов убитый.

— О? Степанка-то... батюшки! Пучина-то какая неисповедимая! Как же это? За что же это? за кого же это? Погнали, как скотину на зарез... и меня... обухом по лбу. Начальство-то... убойство-то какое!.. Чего же делать-то, солдатики?

Фома надел картуз, потом опять снял и зажевал губами. У него сильно затряслась голова, и он со скорбью и ужасом смотрел на солдат.

9

То снимая, то надевая картуз, Фома тяжело шаркал ногами по дороге.

Кругом были пустые поля, молчаливые и скорбящие, точно живые. Какие они необъятные и какие покорные! Вековой мужицкой мукой измученные, живые они были от его черного труда, такие кроткие, вздыхающие, готовые к жертве. Как человек, смотрели они на Фому, тянулись к нему со всех сторон, от самого горизонта, смыкались у его ног и несли в его душу непереносную боль, такую же необъятную, как они сами. Один шел Фома по дороге со светлыми следами колес по колеям и несметными ямочками от лошадиных подков посередине, и черный сам, прижатый к земле, он исчезал в ней, словно уходил в ее недра и растворялся в ней без остатка.

День был свежий, немного туманный в далях, с бледными, неясно обрезанными оттенями. Одинокий

среди полей, Фома всматривался в дорогу и растерянно, как пораженный, все время мычал и цокал языком.

В лывинке, немного вправо от дороги, над бурыми жнивами кудрявой полоской багрились вершинки молодого осинника, а влево, по ту сторону лывинки, ярко и молодо зеленели широкие полосы озими, правильно и тонко обрезанные косогорчиком. Впереди дорога тоже обрывалась, и когда опять поднималась из лывинки, то была уже в другом месте и жирно чернела между озимями. С левой стороны, за зеленью озимей и черными парами, на красном фоне барского яра серым старым столбом стояла родная колокольня и толпились желтые шапки копен на гумнах. Но и эта колокольня и круглые копешки были уже далеки и чужды Фоме. Незачем уж больше идти туда. Все сразу провалилось в бездне, и он остался один среди полей, последний, никому не нужный. И в душе его было такое ощущение, будто он вдруг окончил огромную работу, положенную ему от рождения, и теперь вдруг почувствовал необычайную птичью легкость и свободу. Если бы были крылья, он легко бы взвился в вольную и голубую высь.

Вверху, за горбинкой взгорчика, прошли перед ним солдаты — те, что он видел на вокзале. Прошли плавно и скрылись — растаяли...

Фома изо всех сил бросился на взгорок и, задыхаясь, едва держась на ногах, таращил глаза на то место, где прошли солдаты. Когда он поднялся из лывинки, никого кругом не было, и поле по-прежнему смотрело на него скорбящей тишиной.

Идти дальше уже не было сил, будто добежал он до заказанного предела и больше уже некуда было и незачем бежать. Он опустился на блеклую траву у дороги, свалился набок и съежился, уткнувшись головой в холодные сырые комки земли набитые колесами телег.

Один среди полей, у родной озими, забылся, застыл Фома в своей смертельной душевной боли. И уже не было ощущения телесной усталости: был только бездонный покой земли. А отчаяние и смертельная тоска были оттого, что нет уже Степанки, что Степанка уже погиб и больше не вернется.

Звонили далекие колокола, и от этого звона пели поля.

И почудилось Фоме, что он опять, распростертый, лежит на полу в церкви и без слов, немо молится за Степанку. И будто много горит тоненьких белых свечей. Играют и плачут свечи, и будто все их зажег один он, Фома, и будто не свечи это, а все то, чем жил он, чем болел и чего никак не мог выразить словами.

И когда Фома, потрясаемый восторгом, поднялся на руки, он увидел около самой озими Степанку, без картуза, в шинели. Торопится и поматывает своей шершавой головой, как это он делал в детстве, и кричит ему издали, как, бывало, парнишкой, когда отец приезжал с поля:

— Тятя, а тятя! Я — к тебе...

Карабкаясь по твердым придорожным кочкам, спотыкаясь и падая, Фома впился руками в сапоги Степанки и стал целовать их, замирая от счастья.

...Подобрал Фому на дороге даниловский почтарь и, по знакомству, мимоездом привез его в Сморкаловский хутор, к Миколаю. Фома был уже без языка и всю дорогу лежал в тарантасе без движения.

Очнулся он уже у избы Миколая. Как сквозь сон, увидел он, что Миколай снимает его с тарантаса и бубнит ему в ухо:

— Богоданный родитель! Двадцать две хворобы! По поште доставили в наш собственный дом. Гуляй, родитель, в избу и ложись под образа. Лавки у нас, родитель, широкие: хоть самому енералу помирать. Могила!..

Машарка плакала и растерянно топталась рядом, в том же зеленом сарафане, в каком она была в успенье в воропуговской церкви. Когда Миколай положил его на лавку, впереди, Фома смутно увидел, как над ним наклонилось рябое, курносое лицо Машарки, залитое слезами, и как она, точно издалека, слабо, по-овечьи, крикнула ему:

— Батюшка, аль больно плох? Аль, батюшка, умираешь? Господи!

А потом все исчезло — угасло, как свеча.

1916

ЗЕЛЕНЯ

1

...Днем копали окопы за станицей, в поле, а ночью собрались все на площади, около ревкома. Солдаты пришли со своими винтовками и сумками и держали себя строго и деловито важно. Так они, вероятно, держали себя и на войне и эту привычку принесли домой. Парням выдали винтовки в ревкоме, и они долго не знали, что с ними делать: гремели затворами, вскидывали на плечи и целились в небо.

И не думалось, что там, за станицей, за далекими курганами и вербовыми балками, не торными дорогами, а зелеными овсами и озимями, саранчой ползут сюда белые толпы — офицеры, господа и казаки. Было все просто и обычно: тополи на бульваре чистят свои листья, как птицы, в раскрытом окне ревкома горит лампа, звенят колеса запоздавшей телеги, покрикивает паровоз на вокзале...

Все эти люди с винтовками — свои ребята. Всех их Титка знал с самого детства. Днем, когда они рыли окопы в поле, в зеленях, они делали это так же истово и заботливо, как и обычную работу по хозяйству, и говорили не о белых, не о борьбе, а о своем, о маленьком, о простом и понятном — о земле, о хозяйстве, о своих недостатках. Вот и теперь они собрались здесь, будто на артельный деревенский труд.

Огненная полоса из раскрытого окна падала прямо на тополь в палисаднике. С одной стороны он горел, а с другой был черный. Через дорогу перекидывалась ветвистая тень и пропадала во тьме площади. На лилово-пепельной дороге стоял пулемет. На корточках, опираясь на ружья, сбились в кучу солдаты и говорили, как надо делать «чертову поливку».

В комнате горела висячая лампа с белым абажуром, похожим на макитру. Сосал, как всегда, мокрый окурыш брат Никифор Гмыря, предревкома, натужливо кашлял и разговаривал с солдатами, которые стояли перед ним.

Солдат Шептухов, бывалый веселый парень, подмигивал в сторону Гмыри и смеялся.

— Как по чертежу разъясняет... Башка. Любому охвицеру даст сорок очков вперед. Знай наших!

Около крыльца Титка наткнулся на человека с винтовкой. Стоял он как-то скрючившись, словно мучился в лихорадке. Это был учитель Алексей Иваныч, у которого еще недавно учился Титка.

— Вы зачем сюда пришли, Алексей Иваныч? Да еще больной: идите домой! Вам здесь нечего делать.

Учитель строго спросил его:

— А кто тебе, мальчишке, позволил взять винтовку? Тебе надо в коники играть, а не с беляками драться. И я не болен. Я задумался — даю себе отчет в прожитой жизни.

Титка взволновался: как же это можно, чтобы Алексей Иваныч пошел в окопы? Он — учитель и человек уже пожилой: у него уже седеют волосы, и всем известно, что у него чахотка.

— Я пойду к брату, Алексей Иваныч, и скажу ему, чтобы он вас домой отправил и винтовку отобрал.

Учитель вспылил и стал как будто выше ростом.

— Ты не посмеешь это сделать, Тит. Белогвардейцы мне такие же враги, как и тебе, как всем этим людям. Я вас всех учил мужеству и не жалеть жизни за правду. Как же я смогу отойти в сторону? Ты подумай! Наоборот, я должен идти впереди всех.

О чем думать? Ведь все так ясно и просто: все — вместе, все — свои, и так спокойно и хорошо на душе.

— Алексей Иваныч, тогда я с вами пойду... в одном отделении.

— Ну, что же... пошагаем... Все равно ведь домой тебя не прогонишь. Теперь и ребятишки — бойцы революции.

С вокзала, от броневика, приехали двое верховых — матрос и мальчик с ружьем за плечами. Матрос пристально оглядел всех, вытянулся, отдал честь и засмеялся.

— Ну, вояки-забияки! братишки! готовь оружие! Беляки очень интересуются, как вы их встретите — с трезвонами, с поклонами или пугаными воронами?

Кто-то сердито крикнул:

— Боевыми патронами... а тебя на акацию за твою провокацию!

Матрос засмеялся и даже икнул от удовольствия.

— Вот молодчаги, братишки! Под стать нашей моряцкой удали...

И он скрылся в дверях ревкома.

Титка подошел к лошадям. Взмахивали мордами кони, раздували ноздри и храпели. Кожа у них лоснилась и переливалась перламутром. Он гладил их и похлопывал по спине, между ногами, по крупам, наслаждаясь упругой теплотой мускулов. Вспомнил о своем рабочем пузатом гнедке. Хрумкает он сейчас месиво под навесом.

Мальчишка озорно хлестнул его нагайкой и, как взрослый, строго прикрикнул на Титку:

— Не тревожь лошадей, лопоухий! Отойди в сторону! Как ты винтовку держишь, дуболом?

— А ты что за блошка? Скачет блошка по дорожке, споткнулась через крошки — бряк!

— А ты — мозгляк! Ты — мазун, а я в революции — уже год. Из дому бежал, школу бросил... У меня отца расстреляли в Харькове... железнодорожника. И я сказал себе: буду их колошматить, как крыс... до конца! И вот этой винтовкой сам застрелил двух белых офицеров. И буду бить... бить их!.. до последнего!

«Какой злой!» — подумал Титка и доверчиво улыбнулся парнишке.

— Неужто тебе не страшно... ежели — в упор?

Мальчик посмотрел на него сбоку, по-птичьи:

— Что значит — страшно? Страшно, когда ты — один, безоружный, а на тебя лезет орава чертей. Но я и тогда плевал бы им в морды... потому что я ненавистью сильный... и у меня — революционная идея.

2

Выступили взводами один за другим. Шептухов командовал отделением, где были Титка и учитель. Они были вместе, плечом к плечу. И Титке казалось, что они идут не в бой, а в поле, на ночевую. Солдаты тихо переговаривались и вспоминали германский фронт.

Нигде по станице не было огней, как это было обычно в весенние ночи, и всюду во тьме жутко таилась густая тишина. Еще недавно около ветряков ежевечерне пели девчата, и тогда казалось, что звезды слушали их и смеялись.

Теперь здесь по дороге солдаты отбивали шаг и сдержанно перекидывались словами:

— Вот окаянные куркули! Как вымерли... Поди, оттачивают кинжалы...

— То-то и оно; оттачивают и офицерью подначивают. А генеральство чешет — не успевает салом пятки намазывать.

— А ты думал как? С народом никакая сила не справится. Генералы да эксплуататоры были — и нет их. А народ живет и множится. Он — как земная растения: сколь ни топчи, ни ломай ее — она растет еще гуще. Народ — сила вечная, неистребимая. И чего только они, эти беляки, лютуют? Ведь черти не нашего бога! Все равно им — конец... никакие антанты не помогут!

Шли по улице и зорко глядели по сторонам: хаты во дворах, в садах и акациях, дышали, как притаившиеся звери. Каждый ожидал, что в этой непроглядной тьме вдруг вспыхнет выстрел и пуля пронижет одного или нескольких человек.

Шептухов, пробегая перед взводом, бормотал шуточки, ободряя бойцов:

— Ну, други, подтяните подпруги! Крепче винтовки, ребята! Придем в окопы — не будьте остолопы: будьте зорки в своей норке. Ползет саранча — истребляй саранчу огнем и свинцом, чтобы саранча дала стрекача... Не впервой и врага отражать и в атаки ходить. Хоть и мы умели драпу задавать, да в нашем деле сейчас мы можем стоять только до последнего патрона, до последней гранаты. Стоять будем до смерти, как черти, а драться за жизнь, за свободу, за Ленина! Не забывай: бей без промашки — в сердце, в лоб, чтобы мордой в гроб.

Но никто не смеялся от его шуток.

Учитель шел спокойно, хотя и задумчиво сутулился.

— Ты не боишься, Тит?

— Нет. А чего бояться-то, Алексей Иваныч? Нас, гляди, как много. Своя братва. За свое, за нашу власть и драться охота.

— Да, ты хорошо сказал: за свое и драться охота. Лучше смерть, чем жить в рабстве и потерять свое.

— А зачем умирать, Алексей Иваныч? Давайте об этом не думать.

«Зачем пошел? — с изумлением думал Титка. — Мутит его... Не выдержит...»

Учитель взял под руку Титку и заговорил в раздумье:

— Мне сорок лет, Тит, и в вашей станице я работал со дня твоего рождения. Брата твоего, Никифора, я знал еще юнцом. Вы были бесправны и, как иногородние, могли жить только по найму. Батраки не имели ни голоса, ни опоры, ни защиты. А чем я отличался от вас? Ничем. Я тоже был батрак — интеллигентный батрак, и мое положение было вдвойне мучительно: душу мою насиловали, жизнь распинали. Но я учил вас с детских лет любить и стоять за правду, воспитывал вас как борцов за свободу, за великое будущее. И мне радостно, что я вот иду вместе с тобой, моим учеником, со всеми вами как простой солдат на бой с черными силами за власть трудового народа. Я неотделим от вас, потому что я — сам сын народа. И мне было горько, что ты, мой ученик, отнесся ко мне в эти роко-

вые минуты, как к постороннему,— хотел прогнать меня домой.

Титка смутился и почувствовал себя виноватым перед ним. Он любил Алексея Иваныча, и ему просто хотелось вывести его из-под пуль. Ведь он и ружья не может держать по-настоящему...

— Я, Алексей Иваныч, всегда считал вас своим. И ваших наставлений не забывал. С кем же вам идти-то, как не с народом? Я это для того, чтобы охранить вас.

— Отделить от борьбы? — строго оборвал его учитель. — Неверно думаешь, Тит. Надо каждого, кто живет народной правдой,— каждого звать к борьбе... потому что это последний и решительной бой. Но... я понимаю тебя, Тит. Спасибо за доброе чувство, за любовь. А драться будем вместе — бок о бок, плечом к плечу. Это замечательно: учитель и ученик — в одной линии фронта, на линии огня.

Пока дошли до ветряка на конце станицы, встретили два разъезда. Около ветряка остановились и послали разведчиков до следующего поста для связи.

Совсем незаметно подошла к Титке молоденькая девушка. Это была Дуня, его ровесница. Вместе они учились, вместе и кончили школу. Он был уже рослый парень, хотя ему пошел только что шестнадцатый год, а она казалась еще подростком. Может быть, это оттого, что она была худенькая и слабенькая девчонка: после школы она нанялась батрачкой к богатому куркулю, и ее заездили тяжелой работой.

Она тихо засмеялась и схватила его за руку.

— Это — я, Дуня. Я искала тебя. Хоть не вижу, а узнала...

— Ты зачем тут? Кто тебе позволил? Ты знаешь, чем это пахнет?

— Ну, вот тебе! Я же сестрой иду! Вот и перевязки. Видишь?

Она подняла узелок к его лицу и опять засмеялась.

— Я же — сестра. Нас еще пять девчат. Вот видишь, в школе учились вместе, а теперь вместе на позиции идем. Как хорошо!

Она заметила учителя и радостно рванулась к нему.

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Вот и я — с вами.

— А-а, Дуня, — растроганно отозвался он. — Как славно, что опять мы вместе. Не забыла еще меня?

— Я вас, Алексей Иваныч, всегда в сердце ношу. Тяжело бывает — горько, обидно... А вздумаешь о вас — и на душе легко станет. Вы вот нынче под пулями будете: и убитые будут и раненые. Я не о вас говорю — нет. Ну, а я перевязывать буду... С вами я и останусь!

И вплоть до окопов они шли вместе, и будто не в бой шли, а на ночевую в поле.

3

В окопе пахло весенней прелой землей и медовым соком молодого овса. Тянуло хмельным запахом сурепки, и близко и далеко, до самых звезд, ручейками пели сверчки. А из тьмы, из-за курганов, невидимо и неудержимо катится сюда дикая орда, с ружьями, пулеметами и пушками. И не торными дорогами движется она, а полями и балками. Казаки и офицеры! Откуда и куда выйдут они к ним, чтобы напасть на них с яростью волков?

По фронту, по обе стороны Титки, люди лежали тихо, и было похоже, что они спали. Только когда кашляли и переговаривались между собою, Титка чувствовал, что они так же, как и он, зорко смотрят во мрак.

Проходил мимо несколько раз Шептухов и шутил, как всегда:

— Ты, Тит? Лежишь, чубук? Рот — вперед, глаза — на лоб!

Так же, как и дорогой, неслышно подошла Дуня и села на краю окопа.

— Уж скоро, надо быть, рассвет, Титок. Побыть с тобой хочу. Мне — что? Я — какая есть, такая и буду... а ты — вместе со смертью...

— Пуля-то ведь не разбирает: она одна и для меня и для тебя.

— Вот тебе славно! Ты — с ружьем, ты — в бою. А я буду ползать да раны зализывать. Какая есть, такая и буду.

Титка посмотрел на нее и усмехнулся.

«Не понимает... глупенькая...»

— Ты, Титок, за свободу воюешь, за трудящих... за нашу советскую власть. А я что? что я могу? Ты говоришь — одна пуля... Ежели смерть моя нужна, и — не дыхну. Да и не будет этого — трусиха я: буду ползать да раны перевязывать.

И в ее тихом голосе, во всей ее худенькой фигурке Титка почувствовал такую готовность пожертвовать собой, что ему стало жалко ее до слез. Он понял, что она пришла к нему затем, чтобы отдать ему все, что он хочет. И такой родной и близкой ощутил он ее, что невольно обнял и прижал к себе.

— Убьют тебя, Дуня... Сгинешь ты... Иди домой!

А она взяла его голову, прислонила к своей тощенькой груди и, как маленького, уговаривала:

— Ты, Титок, не бойся. Не страшно... А ежели страшно, покличь...

Он вылез из окопа и лег около нее. А она ласкала его и шептала:

— Ты не бойся... Какая есть, такая и буду. Я вся тут у тебя, Титок...

Он пробыл с ней до того момента, когда по всей линии волной пробежала тревога и где-то недалеко раздалась команда Шептухова:

— Приготовьсь, ребята! Сами не стреляй! Слушай мою команду!

Дуня ушла так же неслышно, как и пришла, но Титка еще продолжал переживать восторг, удивление и радость.

На востоке, за двумя курганами, по небу зеркалилась половодьем река. Позади, на вокзале, робко горели несколько огоньков, таких же маленьких, как звезды. Чуть слышно, перебивая и перегоняя друг друга, спросонья хрипели петухи по станице.

4

Впереди, за курганом, загрохотал гром, и воздух упруго задрожал от гула. Что-то затрещало ближе, и Титка услышал, как над ним и около него запели комарики. Учитель стоял неподвижно и прижимался к ложу винтовки. Шептухов подал команду, и по всей линии началась трескотня. Щелкали затворы, точно ссыпали в кучу железо. Раздавалась команда Шептухова, и — опять трескотня и звон комариков сверху и по сторонам.

Где-то позади Титки, в стороне, потрясающе разорвался снаряд, и горячий воздух пронизывающе толкнул его в затылок. Кто-то недалеко застонал и глухо завыл, как придавленный возом. Промелькнула ползком фигурка Дуни и исчезла. С другой стороны кто-то крикнул спокойно и деловито:

— Готово! Сестрица, ползи сюда, — у меня — готово.

После полудня Титка увидел в мареве солнечного горизонта, на горбылях курганов, бегущие одинокие серые комки, похожие на испуганных овец. Понял, что это они — «кадеты». Из передовых окопов бежали товарищи, останавливались и стреляли. Два человека упали в зеленый овес и больше не вставали. Сорвавшимся голосом командовал Шептухов, но из окопов начали выскакивать по одному и по два солдата и перебегать назад.

Учитель по-прежнему стоял неподвижно и безостановочно палил по курганам.

Титка около него старательно целился в отдельных человечков на кургане. А когда человечек кубарем падал на землю, он радостно вскрикивал:

— Ага!..

И смеялся от радости.

Через него перемахнул солдат без шапки и больно ударил его сапогом по голове. Он очухался и почувствовал около себя пустоту: в окопах никого уже не было, только, скорчившись, лежал мертвый солдат поперек канавы.

По всей глади зеленого поля перебегали люди,

низко наклоняясь над землей. У Титки замерло сердце и похолодело в животе от страха. Он выпрыгнул из окопа и, низко наклонившись, побежал за другими. Как во сне, он увидел бородатого человека, который старался приподняться на руки и, с вытаращенными глазами, хрипел:

— Товарищ... милый! Не дай на муку... не кидай, браток!

Титка отбежал несколько шагов. Неудержимо хотелось стрелять, целиться и стрелять... бить — и бить подряд. Нельзя отступать! Где же Шептухов? Почему нет брата Никифора?

— Да что же это такое? — закричал он. — Да как же это так? Не выдержали, черти, побежали!..

По всему полю перебегали товарищи. Они падали, стреляли, опять перебегали и опять стреляли. Пули визжали, как ветер, и шлепались впереди него и взрывали землю и зеленую озимь. Он тоже бежал, прижимаясь к земле, подчиняясь общему движению, ложился на озимь и тоже стрелял. Но не видел уже ни дула винтовки, ни фигурок впереди: он плакал, захлебываясь слезами, — плакал навзрыд, как плакал в детстве. Он упал на незнакомого солдата и стал окапываться. Солдат свирепо бормотал и толкал его прикладом в бок. Титка не чувствовал боли и ощущал удары тупо и далеко — и сейчас же забывал их.

Он положил винтовку на бугорок земли и замер. Неподалеку от себя, на одной линии с окопами он вдруг увидел Дуню. Она лежала на боку, подвернув под себя руки и спрятав в них подбородок. Юбчонка задралась выше колен, и худенькие ноги белели, прижавшись одна к другой.

Он вылез из ямки и пополз к Дуне, не спуская с нее глаз. Солдат рявкнул и схватил его за ногу.

— Лежи!..

А он, карабкаясь вперед, не замечал, как чья-то рука изо всей силы тащила его назад, — карабкался, оставаясь на месте и не спуская глаз с Дуни. Голова ее вдруг вздрогнула, и Титка увидел, как брызгами разлетелась она в разные стороны. Кровавые капли ударили прямо в лицо.

Опомнился он опять в ямке, и солдат яростно шептал:

— Путаетесь только тут, иродовы души! Наплодили вас, сморкачей, на нашу шею!..

Все поле до самого горизонта взрывалось вихрями земли и травы и взлетало к небу громадными черными снопами. Уже не было воздуха: был только один визгливый и хрипящий гул.

Когда Титка снова увидел Дуню с кровавым пучком вместо головы, сразу пришел в себя и, задыхаясь, закашлял от рыданий. Потом сразу успокоился и стал целиться вдаль, высовывая голову из ямки.

5

Бежал он вдоль железнодорожной насыпи. Здесь было безопасно: пули звенели пчелками над головою и изредка чакали о рельсы. В сторонке шел Шептухов — неторопливо, широкими шагами. Он скалил зубы и что-то кричал Титке. Титка радостно бросился к нему, но Шептухов вдруг зашатался, как пьяный, взвыл и грохнулся вниз брюхом. Крепко запомнил Титка, как высоко поднимались его лопатки и выпирали из-под гимнастерки.

Титка налетел на кучу навоза, уже промытого дождями, запутался в нем и с размаху кувырнулся в канаву.

По всему простору комкастых полей трещоткой, разливчато, скрежетали пулеметы, а винтовки били беспорядочно — то отрывисто, одинокими выстрелами, то дробными залпами.

Ярко врезалось в память Титки голубое небо, простое и родное, и два облачка подряд, одно — большое, другое — маленькое, и солнечный воздух, и запах весенней солоделой земли и гниющей травы.

Станица была недалеко, но не видна за насыпью, и только четко, растопыркой, вырезались на небе из-за насыпи два крыла ветряка. Сейчас же около станицы, под насыпью, была большая дыра. Из нее шла в поле черная дорога с застывшими комками грязи по бокам.

Вдали, где насыпь врезалась в бурый подъем и переходила в степь, среди оторванных от станицы станционных казарм дымился броневик. К нему бежали толпы людей и барахтались около грузных вагонов, зашитых в железные листы.

На крутую насыпь взбирался учитель с винтовкой под мышкой. Поднимался он спокойно, не оглядываясь. Раза два он поскользнулся, но упорно карабкался наверх. Небоязливо, во весь рост перешел через рельсы, и Титка увидел конец дула и дымок от выстрелов.

На улице не было ни души. Направо, за станицей, черным табуном быстро ползла колыхающаяся лента конницы. Чем ближе подвигалась она, тем становилась длиннее и тоньше, охватывая станицу черным муравьиным полукругом.

Среди мертвой пустоты улицы Титка впервые почувствовал страх. Спотыкаясь, едва добежал до очерета хаты. В глубине двора испуганно перекликались голоса женщин и детей, ревел грудной ребенок.

Калитка была заперта. Титка прыгнул на забор и оседлал его, но сразу же отпрянул назад. С дрючком в руках бежал к нему волосатый казак и хрипло рычал матерщину.

Титка спрыгнул на улицу, и в то же мгновение дрючок ударился о верхний край забора и пролетел над его головой. Он опять побежал, держась близко к огороже, не пытаясь забегать во дворы. Был он один, окруженный врагами. Они еще не пришли, но были уже всюду.

Стрельба шла по окраинам. Изредка стреляли где-то на улице — может быть, из засады.

Впереди, из переулка, выбежал хромой лысый человек с ребенком на руках. Вслед за ним на лошади выскочил черкес в огромной лохматой папахе, с белой повязкой наискось. Он настиг лысого человека и со всего размаху ударил его по голове. Ребенок полетел на землю. Человек пробежал два-три шага, грузно осел вниз и свернулся калачиком. Черкес все еще держал на отлете запачканную кровью шашку, вертел измученную, бесившуюся лошадь на одном месте,

зорко смотрел во все стороны, как ястреб, и искал чего-то в пустой жуткой улице.

Титка прижался в уголке палисадника маленькой хатки. Он присел на корточки, прилепившись лицом к частоколу, и не спускал глаз с верхового.

Лошадь юлой завертелась на месте, поднялась на дыбы и сделала большой прыжок в сторону, где лежал Титка. Оскалив зубы, черкес рванул поводьями, остановился и опять хищно и пьяно осмотрелся вокруг, потом повернул лошадь, ударил ее шашкой по боку, и она галопом скрылась в переулке. Близкий к обмороку, Титка выполз из засады и, скрючившись, опять побежал вдоль улицы, прилипая к забору. Из-за угла переулка он посмотрел в ту сторону, куда скрылся черкес. Вдали тусклым пламенем горела пыль, и в ее облаках бешено носились поперек улицы, навстречу друг другу, еще человек пять конников в таких же самых шапках и с шашками на отлете.

Далеко, в конце улицы, черкесы охотились за людьми. Ослепительно вспыхивали шашки на солнце.

На выгоне начался пожар. Горело в трех местах в одном квартале. Долетел одинокий исступленный женский визг, повторился раза два и замолк. В той же стороне раздалось несколько одиночных выстрелов, и опять все смолкло, и в станице стало так же неподвижно и мертво, как ночью. Выли и истерически тявкали собаки. Звенела дробно перестрелка.

Титка повернул в переулок, перебежал улицу и прыгнул в пустой двор, заросший мелкими акациями. Как слепой, он споткнулся о свинью, и она пронзительно завизжала. Он не заметил, как залез в закуту, и не почувствовал вонючей грязи, в которую он погрузился и плечом и коленями.

6

Первое время ему казалось, что он в безопасности. В закуте было темно, и звуки долетали сюда отрывисто и глухо. Раскатисто ахали одиночные выстрелы, и во весь опор далеко топотали лошади.

Рубашка и штаны пропитались вонючей жидкостью, и было очень неудобно лежать. Сапоги его высовывались наружу, и когда он заметил это, ему стало опять страшно. Он хотел скорчиться в комочек, чтобы втянуть ноги в норку, но клетка была маленькая, и весь он поместиться в закуте не мог.

Недалеко скрипнула дверь. Титка посмотрел в щелку между досками и увидел, что из хаты вышел молодой казак и, держа в обеих руках винтовку, тихонько стал подкрадываться к закуте.

Это был Ехим — тот самый Ехим, с которым они сидели в школе на одной парте, а потом дружили и гуляли с девчатами. Со страхом и надеждой Титка вылез из закуты и вскочил на ноги.

— Брат!.. Ехим!

Казак опешил, потом оскалил зубы и вскинул винтовку к плечу.

— Стой! Держись, бисова душа!..

Титка со всех ног бросился в пустырь, весь забитый прошлогодним бурьяном, лопухами и мелкими кустами акации. Он слышал позади себя бегущие шаги и щелканье затвора винтовки. Его толкнул выстрел, и шею полоснул ожог. Он наскочил на низкий плетень, одним прыжком перемахнул на другую сторону и побежал по картофельному огороду, увязая в рыхлой земле и путаясь в ботве. И опять очутился на улице. На другой стороне был пустырь, загороженный полуразвалившимся пряслом, а дальше — куча хат над прудом, забитым зеленым камышом, и белые хаты на той стороне, на взгорке.

Он оглянулся назад и увидел, что Ехим с винтовкой наперевес летит к нему с таким же лицом, какое было у казака с дрючком. Титка остановился.

С визгом и оскаленными зубами Ехим размахнулся прикладом. Тит посторонился и сбоку со всего размаху ударил его по рукам. Винтовка упала на землю и, дребезжа, отпрыгнула в сторону. Ехимка обхватил его шею и вцепился зубами в грудь. Титка ударил его коленкой промеж ног, и Ехим закорчился, застонал и отпрянул от него с ужасом и болью в глазах.

Из-за угла нестройно и торопливо вышел отряд с белыми повязками на шапках. Неслась пыль вместе с ними и окутывала всех, как дым. Лица были черные. Мелькали только белки да скалились зубы, и от этого все казались свирепыми.

Ехим радостно завыл и схватил Титку за грудь.

— Ото ж вин... Тытко! Хотив вбыты мене... Ото ж, вашбродь! Бачьте, одняв... винтовку в мене... Большевык, бачьте!

— А ты — кто такой?

— Казак, ваш-бродь... Ехим Топчий...

— А этот?

— Городовик, ваш-бродь... з окопов тикав. Сховавсь у нашом закути... Почав бигты... а я его пиймав...

Ехимка бубнил, едва переводя дух, и лицо его уродовалось радостью и торжеством:

— Ото ж я его, ваш-бродь!

Титку втолкнули в толпу и погнали вдоль улицы. Раза три во время пути его толкали прикладом и орали:

— Ну, тёпай, пока живой! Вояка тоже... молокосос!

Улицы были по-прежнему пусты. Пальба уже прекратилась, и впереди по одному и по два спокойным шагом проезжали верховые. По дороге попадались трупы. Это были свои, станичные, городовики. Они, должно быть, бежали по дороге и были убиты во время стрельбы.

7

На площади пленникам приказали сесть на комкастую землю, у ограды церкви, и разуться. Казаки, солдаты и верховые прибывали группами изо всех улиц. Покорно, дрожащими руками все сняли обувку. Подошел волосатый черкес и стал откидывать ее в сторону, в кучу. Потом приказали скинуть штаны, куртки и пиджаки. И это они сделали так же обреченно и покорно, с тем же неугасимым ужасом в гла-

зах. Тот же черкес собрал все это в охапку и отнес в ту же кучу, где лежала обувка.

Титка стоял неподвижно и смотрел на детей, играющих на школьном дворе. Он не разувался и не раздевался, как другие, — не то не слышал приказа, не то не захотел. Подошел черкес и толкнул его прикладом:

— Испальнай прыказ! Снимай сапог, тарабар-шаровар!

Титка отвернулся и засунул руки в карманы. Черкес рассвирепел и ударил его прикладом в спину. Титка закрутился на месте, но не упал.

— Санымай, балшавык-собака!

Титка прищурился от ненависти и злобно крикнул:

— Не сниму! Снимай, когда дрягаться не буду...

Черкес стал серым, оскалил зубы и опять замахнулся на него прикладом, но, встретив взгляд Титки, остановился. Должно быть, его поразил и обезоружил взгляд молоденького парня. Он пошел прочь, бормоча что-то по-своему.

Пришла партия офицеров с новыми пленниками. Опять все были свои — городовики. Среди них Титка увидел мальчика, того, что встретил у ревкома, и старуху Передерииху — ту самую, которая недавно ударила палкой по голове генерала, захваченного в соседней станице, и плюнула ему в лицо. Она стыдливо улыбалась, бродила среди толпы и бормотала одно и то же:

— Та люды добри! Чого ж воны визьмут з мене? Бо я ж — стара та слипа... стара та слипа... Та у мене ж оба-два сына на войни вбыты... сгыблы ж на германьской. А я — стара та слипа... Чого з мене?

И никак не могла успокоиться. А на нее никто не обращал внимания.

На дворе школы играли двое мальчиков. Один — лет шести, с длинными белокурыми кудрями, в черном костюмчике, а другой — серенький, грязненький, должно быть сынишка сторожа. Бросали мячик в стенку здания и ловили его.

А Передерииха все бродила между пленниками, сидящими в нижнем белье, и бормотала надрывно одно и то же:

— Та скажить мени, люды добри! Бо я стара та слипа...

Раздалась где-то в стороне команда, ей ближе откликнулась другая. Офицеры и казаки, отдыхавшие под тенью тополей, вскочили, быстро построились в две шеренги и, держа у ног винтовки, повернули головы в улицу. К бульвару подъезжал седой генерал, в белой черкеске, на белой лошади.

— Смиррна!

Генерал подъехал к строю и что-то невнятно и небрежно пробормотал.

— Здра-жла-ваш-при-ство!

Генерал проехал вдоль строя, и Титка услышал, как он строго и холодно сказал:

— Спасибо, ребята, за прекрасную работу!

— Рад-страт-ваш-при-ство!

Генерал подозвал офицера и что-то сказал ему. Офицер суетливо бросился к огороже бульвара и крикнул:

— Эй вы, азиаты! Волоки сюда их! Живо!

Черкесы вскинули винтовки на плечи и взмахнули руками.

— Арря!

Пленники побрели вместе с конвойными к генералу.

При входе на бульвар генерал взмахнул нагайкой и остановил их. Он въехал в самую середину толпы. Пленников расставили полукругом. Откуда-то внезапно подошли станичники и стали таким же полукругом за конвоем.

— Почему захвачен мальчишка? А ну, чертенок, кто ты такой?

— Свой... немазаный-сухой...

— Как?

— Так... попал дурак впросак... Не все дураки — есть и умные.

— Что-о? Ах ты, поросенок!

В толпе блеснули улыбки.

— Откуда мальчишка?
— Захвачен за станицей с оружием в руках.
— Почему с оружием? Откуда у тебя оружие?

Мальчик прямо смотрел на генерала, оглядывался на товарищей и улыбался. Он увидел Титку, обрадовался и кивнул головой: «Ни черта, мол, — не бойся!»

— Откуда у тебя оружие? Вместе с большевиками был? Что делал за станицей?
— Сорок стрелял.
— Как это — сорок?
— А так... сорок-белобок. С кадет сбивал эполет...

Мальчик продолжал смотреть на генерала дерзко и озорно.

— Поручик! — генерал взмахнул нагайкой.
— Слушаю-с!

Поручик взял мальчика и потянул его из толпы. Мальчик озлился, вырвал рукав из рук офицера. Заложив руки в карманы, он посмотрел на него звериными глазами. На бледном лице дрожали насупленные брови.

— Ну, иди, иди!
— Не трожь! Не цапать!
— Ах ты, урод этакий! Кубышка!
— А ты не цапай! Мерзавцы! Мало я вас перестрелял...

Офицер с изумлением взглянул на мальчика.

— Ах ты, комарья пипка!

И с усмешкой взял его за ухо. Мальчик яростно ударил его по руке.

— Не смей трогать, белый барбос!

Офицер нахмурился и покраснел. И непонятно было, не то он был оскорблен, не то смутился. Он отвернулся, молча и хмуро подвел мальчика к старухе и поставил около черкеса с винтовкой.

Титка слышал, как кто-то взял его за рукав и, царапая ногтями по руке, потащил на бульвар. Около него шло огромное существо, тяжелое, как глыба, и смердило по́том, перегорелым спиртом и горклой махоркой. Ему стало непереносно лихо.

— Брысь, чувал! Сам пойду...

Казак засопел и захлебнулся слюною.

— Убью, сукин сын!

Широкими шагами Титка зашагал вперед, не оглядываясь. Было похоже, что он качается в огромной качели и видит, как колышутся и плавают тополи и облака. Далеко, не то на той стороне, за рекой, не то в глубине его души, большая толпа пела необъятную песню, и песня эта звучала как призрачно-далекие колокола.

Мальчик хватал его за руку и дрожащим голосом кричал, задыхаясь от ненависти:

— Я им не позволю цапать! Я не какая-нибудь слюнявка... Я ихнего брата много перестрелял. Стрелять — стреляй, а цапать — не цапай! Тебя как зовут? Меня — Борис. Мы будем вместе с тобой... Когда нас будут стрелять, мы будем рядом. Хорошо?

— Я хочу пить... — сказал Титка и все прислушивался к песенному прибою волн.

8

Генерал уехал, и толпу пленников повели вслед за ним по улице, к реке.

Подошли четверо казаков с нагайками, молодые, веселые ребята. Они скалили зубы, как озорники, и ломались около Передериихи. Один из них взял ее под руку и, изображая из себя кавалера, потащил к скамье под тополем. Остальные трое шли за ними и надрывались от хохота. Передерииха бормотала, как полоумная.

— Та я ж — слипа та глуха... хлопчата! Хиба ж я — дивка? Вы ж таки гарны та веселы... веселы та гарны...

Казаки корчились от хохота.

Передериху посадили на скамью. И тот казак, который вел ее, гаркнул хрипло и остервенело:

— Ложись!

Передерииха опять плаксиво забормотала. Казак жвыкнул нагайкой. Передерииха заплакала и онемела. Казак толкнул ее. Она упала на скамью и осталась неподвижной. Двое других задрали ей на спину

юбку, и Титка увидел дряблые ноги с перевязочками под коленками и сухие старческие бедра.

— Катай ее, старую стерву!

Один казак сел на ее черные босые ноги, а другой опирался руками на голову. Третий с искаженным лицом зашлепал нагайкой по сухому телу. Скоро она замолчала. А казак все еще хлестал ее и при каждом ударе хрипел:

— Х-хек! х-хек!

Тот, который сидел на ногах, слез со скамьи и махнул рукою.

— Стой, хлопцы!

Казаки стали завертывать цигарки. Один вытащил из кармана веревку, стал на скамью и начал торопливо и ловко укреплять ее на суку тополя.

— А ну, хлопцы! Треба по писанию...

Казак задрал старухе юбку вплоть до живота, сделал ее мешком, спрятал в ней руки Передериихи и подол завязал узлом. Двое подняли ее, и первый накинул на голову веревку.

— Есть качеля!

И пошли прочь.

Борис кричал им вслед и ядовито смеялся.

— Дураки-сороки! Куркули! Вздернули бабку. Тряпичники! барахольники!

Казаки оглянулись и заматершинничали. Один из них погрозил нагайкой:

— Ото ж тоби забьют пробку в глотку.

— Сороки-белобоки! Бабьи палачи!

Со стороны реки загрохали выстрелы. Два черкеса, которые охраняли Титку и Бориса, подтолкнули их прикладами и погнали к церковной ограде. Мальчик шел словно как взрослый, только ежился, словно ему было холодно. Он часто сплевывал слюну.

— Они думают, я боюсь... Много я вас перестрелял, мерзавцев... Плевать на вас хочу! Не бойся, Тит! Давай руку!

Титка слышал, как сквозь сон, голос мальчика и не понимал, что он говорит. Он одно чувствовал, что не идет, а плывет, качается по волнам. Чудилось, что

он качается на небесной качели и вместе с ним плавает и несется весь мир.

Их поставили около ограды. Черкесы стали в нескольких шагах от них, и оба разом наперебой скомандовали:

— Легай! Арря!

Титка смутно слышал это и не понял, а мальчик забился около него, как связанный, и закричал в исступлении:

— Не лягу! Вот! Мы — оба! Вот!..

Черкесы вскинули винтовки, и крик мальчика унесли с собою два оглушительных взрыва.

1922

ПРИМЕЧАНИЯ

В первый том настоящего собрания сочинений Федора Васильевича Гладкова вошли повести и рассказы дореволюционных лет (1901—1917) и некоторые произведения первых лет Советской власти.

Маленький горец. — Рассказ под названием «Черкесенок», с подзаголовком («Из больничных впечатлений»), был опубликован в газете «Кубанские областные ведомости» (г. Екатеринодар, ныне Краснодар) от 28 и 29 августа 1901 года, № 188 и 189. В собрании сочинений рассказ печатается впервые.

«Маленький горец» — четвертый из пяти рассказов, помещенных в 1900—1902 годах начинающим писателем в «Кубанских областных ведомостях». К первому из них — рассказу «К свету» (1900, 3—6 июня, № 118—120) — редакция дала следующее примечание: «Печатая этот рассказ, считаем необходимым довести до сведения наших читателей, в извинение недостатков его, что он принадлежит перу очень еще юного автора, ученика Екатеринодарского городского шестиклассного училища. Не лишенный некоторых литературных достоинств, сам по себе рассказ приобретает, по нашему мнению, более или менее значительный специальный интерес, главным образом вследствие упомянутого обстоятельства».

Уже первые три рассказа — «К свету», «После работы», «Максютка» — характеризовали Гладкова как писателя городских низов, с любовью рисующего образы протестантов-бунтарей против уклада самодержавной России. Они обнаруживали несомненное влияние революционно-романтических традиций М. Горького. Рассказ «Черкесенок» свидетельствовал о расширении кругозора молодого автора, в нем были изображены

в необычной обстановке больничной палаты люди разных национальностей, классов и профессий, остро были поставлены национальная и социальная проблемы, значение которых на Кубани, в силу казачьих привилегий, было особенно актуальным.

В газетной публикации рассказу был дан подзаголовок — «Из больничных впечатлений».

Рассказ «Маленький горец» печатается в настоящем томе в редакции, несколько отличающейся от опубликованного газетного текста. Редактор неофициальной части «Кубанских областных ведомостей» Л. М. Мельников, о котором Федор Васильевич пишет в своей автобиографии, очень тепло относился к молодому писателю, но, так как тот только еще овладевал художественным мастерством, он позволял себе излишнюю редакторскую правку. К этому же его заставляла прибегать и цензура, особенно строгая: газета «Кубанские областные ведомости» была органом казачьего губернатора — наказного атамана. В неофициальной части газеты допускались некоторые «вольности»: печатались беллетристика, очерки и литературные статьи.

У ворот тюрьмы. — Рассказ был помещен в газете «Кубанские областные ведомости» 16 февраля 1902 года, № 39. Он был последним выступлением писателя в этой газете, так как по окончании Екатеринодарского шестиклассного училища Гладков вскоре уехал учительствовать в Забайкалье.

В повести «Мятежная юность» Федор Гладков описал, как после бегства его семьи из деревни они поселились в рабочем предместье Екатеринодара — Дубинке — и как приковывало его внимание «здание городской тюрьмы, которое всегда было окружено маревной дымкой и зловеще смотрело из-за высоких стен на город множеством черных окон, закованных железными выпуклыми решетками». И затем «...когда я выбегал на пыльный пустырь перед высоким и крутым обрывом, я думал о людях, которые томятся за этими черными решетками и, может быть, смотрят на меня с тоской и завистью» [1]. Эти раздумья подростка оставили в душе глубокий след и уже в юношеские годы он специально изучает жизнь заключенных царской тюрьмы.

Публикуемый в настоящем томе рассказ значительно отли-

---

[1] Журнал «Октябрь», 1956, № 7.

чается от газетного текста. Например, в первоначальной редакции попытка атамана и станичных казаков арестовать Кузьму им удалась. После длительного сопротивления он «вдруг, часов эдак в десять вечера. открыл окно, да и кричит: «Сдаюсь, говорит, все равно... Входите и вяжите мне руки... Вот вам оружие мое». Да в окно и выкинул два револьвера. Отпер он двери и сам даже вышел на улицу. Связали ему руки да в станичное правление повели. Когда его сквозь толпу народа вели (а народу-то собралось чуть не вся станица), он крикнул: «Как ни сволошна жизнь, а все-таки жить хочется... здорово хочется... Терпеть муки страшные буду, а жить не прекращу»: Сняли допрос с него. А на допросе и Дашку виновной признали; потому упорствовала и выдать его не хотела... укрывательница, значит».

Вся эта сцена в рассказе, напечатанном в настоящем томе, развивается по-другому: Кузьме благодаря пособничеству жены удалось незаметно скрыться, но на нее легла вся вина за побег.

Последние из разгильдеевцев. — Рассказ был напечатан под названием «Последний из разгильдеевцев» в газете «Забайкалье», выходившей в городе Чите (редактор-издатель П. М. Мартынов), 22 февраля 1904 года № 20—317.

В этой же газете был ранее помещен очерк «До каторги» (1903, 7 и 26 ноября, №№ 278—124 и 285—131), содержавший описание поездки Ф. Гладкова на Мальцевский рудник, Горный Зерентуй и Нерчинский завод. Это произведение явилось как бы предисловием к циклу рассказов под общим названием «На каторге». Рассказы печатались как самостоятельные вещи, однако с последующими порядковыми номерами (от I до VI). Общим для всех рассказов был и подзаголовок — «Зимние заметки о летних впечатлениях». Такое название не было навеяно какими-нибудь литературными аналогиями. Будучи зимой занят учительской работой в школе, Гладков собирал для своих произведений материал во время летних поездок, а оформлял его зимой.

В настоящем издании этот цикл рассказов идет под общей рубрикой: «На женской каторге».

Газетный текст рассказа «Последний из разгильдеевцев», обозначенный цифрой I, очень значительно отличается от предлагаемого в настоящем собрании сочинений текста. В перво-

начальной редакции по существу был раскрыт лишь образ старика — «последнего из разгильдеевцев», страстно завидующего жизни каторжанок, которых кормят, одевают и обувают. Он с непритворным восхищением вспоминал времена смотрителя тюрьмы Разгильдеева, при котором за любую провинность беспощадно «драли», но зато «был порядок». Образ его жены, душевно сочувствующей каторжанкам, в газетном варианте был по существу едва намечен.

В автобиографии, открывающей настоящее собрание сочинений, Федор Гладков пишет о том времени: «Это были годы сипягинской и победоносцевской реакции. «Цензурная вьюга» свирепствовала вовсю. Я писал о рабочих, об угнетенных и бесправных людях, и этого было достаточно, чтобы вытравить из моих писаний дух протеста и мечту о свободе. Они беспощадно сокращались, а некоторые страницы «смягчались» и даже писались рукой редактора».

И дальше: «Впоследствии я отобрал из всего написанного в те годы наиболее типичное для моего литературного и революционного развития и постарался «оживить» рассказы, воплотить в них тот пафос, который гасили царские охранители «порядка и благочиния». Без этой реставрационной и творческой работы рассказы эти теряли и художественную и идейную значимость».

Из всех рассказов, впервые вошедших в собрание сочинений, рассказ «Последние из разгильдеевцев» носит наиболее отчетливые следы такой «реставрационной и творческой работы».

Ни в тюрьме, ни на воле. — Рассказ под названием «Среди вольной команды» был опубликован в газете «Забайкалье» 21 и 24 марта 1904 года, №№ 32—329 и 33—330 и обозначен цифрой III.

Для настоящего издания автор не только изменил название рассказа, он развил отдельные мотивы и образы из другого произведения — «Былинка забытая», напечатанного в той же газете несколько ранее[1] и обозначенного цифрой II.

В рассказе «Среди вольной команды» не было еще полного раскрытия характеров обитательниц бараков и землянок. Сам

---

[1] «Забайкалье», 1904, 29 февраля и 3 марта, №№ 23—320 и 24—321.

автор в рассказе признавался, что ему пришлось лишь всего один раз переступить порог их жилища, ужасную атмосферу которого он сравнивал с «картинами дантовских адских кругов», и ему более удалась обрисовка обстановки, чем характеров. Эту задачу тогда он решил в другом своем рассказе «Три в одной землянке».

Три в одной землянке. — Рассказ был помещен в газете «Забайкалье» 2, 4, 5 и 9 февраля 1905 года, №№ 26—467, 27—468, 28—469 и 31—472 и обозначен цифрой VI. Входил в первый том собрания сочинений Ф. В. Гладкова, осуществленного Гослитиздатом в 1950 году.

Рассказ «Три в одной землянке»— самое большое по объему произведение Гладкова, опубликованное в газете «Забайкалье». Если в рассказах «Бродяга», «В дороге», входящих в настоящий том, писатель ставил перед собой ограниченную задачу создания истории одной жизни, то в рассказе «Три в одной землянке» его внимание привлекли различные женские судьбы. Редактор газеты «Забайкалье», понуждаемый цензурой, которая вследствие неудач на театре русско-японской войны стала свирепствовать сильнее обычного, особенно решительно приложил руку к газетному варианту произведения. Оставив без изменения основные черты женских образов — сильной, бунтарски настроенной Веры (в настоящей редакции — Варвары), влюбленной в труд на земле Ариши (теперь — Дарьи) и мечтательной Наташи, он резко ослабил общественно-политическое звучание произведения. Для работницы Веры была вымышлена биография «из благородных», придумана профессия «классной дамы». Этот вымысел оказался настолько искусственным, что в газетном тексте так и не было дано объяснения заключению Веры в тюрьму, было лишь глухое упоминание об убийстве ею учителя. Совсем по-другому раскрыт образ Варвары в тексте, предлагаемом настоящим изданием: она, бывшая работница, отстояла свою честь от притязаний бабника-мастера, а когда тот неизвестно кем был убит, ее безвинно осудили на каторгу.

Существенно изменено начало произведения, введена новая сцена встречи и беседы рассказчика, посетившего землянку трех женщин, с Мирой, женой Исая. Эта сцена подчеркивает тяжесть условий жизни «вольной команды», когда само слово «вольная» звучало издевательством.

Федор Гладков считал «Три в одной землянке» наиболее серьезной пробой пера, и когда в 1912 году к нему, уже жившему тогда в Новороссийске, обратился томский литератор В. И. Анучин с просьбой прислать для проектируемого им литературно-художественного альманаха «Сибирский сборник» какой-нибудь рассказ, он выбрал именно «Три в одной землянке». Рассказ был подписан псевдонимом: «Гл. Байкалов», и серьезнейшим образом переработан. Редактировать «Сибирский сборник» В. И. Анучин просил А. М. Горького. Когда часть материала пришла к нему, Горький написал: «Ура! Получил первые материалы для сборника и немедленно прочитал. Сразу два новых автора! Рассказ Гл. Байкалова очень хорош. Несомненно, автор с большим будущим, несомненно! Пожалуйста, напишите возможно подробно — кто такой ваш Байкалов — и передайте ему мой привет... Свежи и сочны алтайские этюды Бахметьева, хороши» [1].

По обстоятельствам, связанным с начавшейся первой мировой войной, «Сибирский сборник» из печати не вышел.

Малютка в каторжных стенах. — Рассказ публикуется впервые. Написан в ту же зиму 1904—1905 года, как и остальные рассказы цикла «На каторге». Был принят редакцией «Забайкалья» к печати, но не пропущен цензурой. Отсюда образовался пропуск в цикле «На каторге» — недостает рассказа, обозначенного цифрой V.

Если образы каторжанок и «вольной команды» в рассказах Гладкова расширили картины жизни тюрьмы и ссылки, созданные классической литературой (произведениями Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Короленко, Чехова и Л. Толстого), то судьба девочки Глаши, родившейся в тюрьме и ни разу не покидавшей ее стен, панически боявшейся «застенного, не запертого мира», предстала перед читателем впервые.

Первоначально автор хотел назвать рассказ — «Малютка в узилище». Такое название повторяло обобщение рассказчика: «Это узилище — ее родной дом, и каторжницы — ее родная семья».

---

[1] М. Горький, Собр. соч., Гослитиздат, М. 1955, т. 29, стр. 296.

Бродяга. — Рассказ был помещен в газете «Забайкалье» 28, 29 января и 1 февраля 1905 года, №№ 22—463, 23—464 и 25—466.

Фигура Хороброва, центральная в произведении, в газетном варианте значительно отличается от образа, раскрытого в окончательной редакции. В первоначальной редакции в Хороброве был выдвинут на первый план анархический бунт против тюремных порядков, подчеркнута его личная ненависть к тюремщикам и вообще всяким угнетателям. Во второй же редакции ему приданы черты артельного вожака, заступника за арестантскую братию. «Он свободно ходил по корпусам, как главарь и вожак. При нем тюремное начальство было уверено в спокойствии тюрьмы». В рассказ введена новая сцена, как бродяга «усмирил» начальника конвоя, злоупотреблявшего властью и не признававшего авторитета артели. Однако автор сохранил в характере Хороброва страстное личное желание воли, его свободолюбивые стремления.

В дороге. — Рассказ был напечатан в газете «Забайкалье» 9 и 11 апреля 1904 года, №№ 38—335 и 39—336 и обозначен цифрой IV.

Хотя вторая публикуемая в настоящем томе редакция произведения сохранила композицию и сюжет газетного текста, они значительно отличаются друг от друга. Это объясняется тем, что рассказ «В дороге», как наиболее острый, связанный с русско-японской войной, приковал к себе особое внимание цензуры. Было вычеркнуто в речи Исая такое важное место: «И не кандалами скована эта человечья куча, а своей волей и своим разумом. Здесь свои законы, а они покрепче и погрознее государственных. Но зато и люди оттачиваются, как ножи. Вот сейчас война с японцами. Ни один из этих братков не позарился на свободу: вызывали охотников в солдаты, никто не пошел. За кого драка — за барское царство? за торгашей живым товаром — человечьей кровью? за эту каторжную тюрьму?» Был снят цензурой и финал рассказа: встреча с «закандаленным» каторжником, изъявившим желание пойти на войну, но не для того, чтобы защищать «царя и отечество», а чтобы «вольные песни петь невольникам» в солдатских шинелях.

Внеся «по памяти» вычеркнутые цензурой сцены, автор во второй редакции снял натуралистические подробности в сцене убийства Исаем оскорбителя своей сестры.

Аспид. — Под названием «Черносотенец» рассказ был опубликован в читинской газете «Голос Забайкалья» (редактор-издатель Цинбал-Дергачев) 17 сентября 1906 года, № 25. Газета «Голос Забайкалья» выходила с 19 июля 1906 года по 21 сентября того же года. Так как она была закрыта на 28-м номере и после публикации «Черносотенца» в ней не помещалось политически острого материала, есть все основания полагать, что такая решительная мера «пресечения» была предпринята в связи с помещением в газете рассказа Ф. Гладкова.

Рассказ «Черносотенец» шел под общим названием «За Байкал (Путевые впечатления)», и само произведение было обозначено цифрой I. Таким образом, Гладков проектировал новый цикл произведений типа «На каторге» (в настоящем издании «На женской каторге»). Этот замысел не был осуществлен не только вследствие закрытия газеты, — в конце 1906 года автор был арестован, заключен в Иркутский централ, а оттуда отправлен в ссылку.

Редакции рассказа (газетная и в настоящем томе) различаются лишь в финале. В газетном тексте рассказ заканчивался мрачным раздумьем автора: «...С моря начал дуть влажный ветер. Путаясь в снастях парохода, он истерически рыдал в какой-то безысходной скорби. Тени зашевелились и смешались с другими. На душе у меня было пасмурно». Снятая цензурой сцена расправы с черносотенцем восстановлена автором для настоящего издания «по памяти».

Удар. — Повесть была опубликована в читинской «Новой газете» (редактор-издатель А. Я. Иванова) 1—10 января 1909 года, № 161—167, с подзаголовком «Страничка из жизни сельского учителя».

Учитель — любимый герой Ф. В. Гладкова. О девушке, мечтавшей стать учительницей и осуществившей свою мечту, он написал в своем первом рассказе — «К свету»[1]. Учителя, видя-

[1] Газета «Кубанские областные ведомости», Екатеринодар, 1900, 3, 4 и 6 июня, №№ 118, 119 и 120.

щего в своем труде «священное назначение освобождать людей от губительного ярма всесильных условий, которые тяжелым гнетом лежат на наших измученных плечах», он изобразил и в рассказе «Свежая могила»[1].

«Удар» — наиболее развернутое дореволюционное произведение Гладкова из учительской жизни. Оно писалось в ссылке — в селении Манзурке Верхоленского уезда бывшей Иркутской губернии в 1908 году, когда в памяти автора были еще свежи годы неутомимой деятельности на ниве народного просвещения. Именно поэтому в повести была дана — чего недоставало рассказам «К свету» и «Свежая могила» — широкая картина быта сибирской деревни с углубляющимися противоречиями между кулачеством и беднотой и с трудным положением сельской интеллигенции между «молотом и наковальней». В отличие от более ранних произведений об учительстве в «Ударе» были изображены «отцы и дети», показывался приход в жизнь нового поколения сельской интеллигенции, вступившей в борьбу с реакционными силами.

Публикуемая в настоящем томе повесть отличается от газетного варианта незначительными изменениями, главным образом в диалогах. Разговоры Дементия Ивановича с женой, правильно признанные автором «излишне живописными», стали во второй редакции строже, скупее.

Изгои (первоначальное название «В изгнании»). — Повесть написана в 1909 году в Манзурке. Непосредственное общение с политическими ссыльными дало возможность писателю создать большую группу типических образов участников революционного движения того времени, причем все симпатии автора отданы большевикам — Иванюку и Ермолаеву.

Рукопись «Изгои» посылалась автором М. Горькому в Италию, о чем Гладков вспоминает в статье «Максим Горький — мой учитель»: «Горький на Капри. Целый год работаю над повестью «В изгнании» («Изгои») и посылаю ему. Как обычно, он очень аккуратен и поразительно вежлив. Рукопись прислал обратно с пометками на полях. Отзыв — даже на ничтожную мелочь»[2]. В этой же статье автор упоминает о письме, получен-

---

[1] Газета «Забайкалье», Чита, 1904, 29 августа, 3, 10 и 12 сентября, №№ 95—392, 97—394, 100—397 и 101—398.

[2] Журнал «Прожектор», 1928, № 13.

ном им от Горького, в котором содержался совет послать рукопись в журнал «Заветы». Однако журнал, вследствие скорого закрытия, опубликовать произведения не смог. Переданные в журнал «Современник» «Изгои» были анонсированы редакцией на 1915 год, но также не были напечатаны из-за закрытия и этого журнала. Они увидели свет лишь после победы Великой Октябрьской социалистической революции, появившись в 1922 году в литературно-художественном альманахе «Наши дни» № 2 (М., Госиздат).

Подзаголовок — «Отрывки из записей» — точно передает своеобразный характер повествования. Оно распадается на фрагменты, являющиеся как бы самостоятельными главами мемуаров или законченными очерками, представляющими художественно обобщенные картины жизни политических ссыльных в годы реакции 1908—1912 годов.

По признанию автора, первоначальная рукопись «Изгоев», посылавшаяся Горькому, по объему в несколько раз превосходила впоследствии напечатанный вариант.

При каждом переиздании повести Гладков вносил в текст некоторые стилистические исправления.

Старая секретная. — Повесть начата в 1916 году в станице Павловской, продолжена и окончена в Москве в 1926 году. Была напечатана в журнале «Новый мир» (Издание «Известий ЦИК СССР и ВЦИК») в первой, второй и третьей книгах за 1927 год.

В журнале «30 дней» в 1926 году (М., № 11) был помещен отрывок из повести «Старая секретная» — рассказ «В карцере».

«Старая секретная» имеет подзаголовок — «Повесть о былом». Она завершает произведения Ф. В. Гладкова, посвященные политическим ссыльным: повесть «Удар», отрывки из записей «Изгои». О связи с «Изгоями» говорит сохранение автором фамилии одного из основных героев — политического заключенного Угрюмова.

По свидетельству автора, повесть «Старая секретная» писалась с особой заинтересованностью, так как ее замысел вынашивался в течение многих лет и был связан с заключением писателя в Иркутском централе в 1906—1907 годах.

«Старая секретная» неоднократно просматривалась и перерабатывалась Гладковым. Автор стремился найти более точные

слова и выражения для описания тюремной обстановки, добивался максимальной выразительности в изображении душевных переживаний заключенных, стремился к большей выпуклости портретов действующих лиц.

Пучина. — Рассказ написан в 1916 году в станице Павловской на Кубани, где Ф. В. Гладков с 1914 до весны 1918 года заведовал Высшим начальным училищем. В основу рассказа легли наблюдения над жизнью русской деревни в годы первой мировой войны. Рассказ был послан автором М. Горькому для журнала «Летопись» и вызвал следующий отклик со стороны Алексея Максимовича: «Федор Васильевич, Вы сделали большие успехи: «Единородный» [1] написан вполне литературно, местами очень интересно и трогательно; жаль только, что Вами взята столь обычная и слишком уж использованная тема!.. Я возвращаю Вам рукопись с предложением сократить ее насколько найдете возможным... Не бойтесь сокращать, пусть от рассказа останется половина но — хорошая! Вы — упрямый человек. Вы можете работать, ну и работайте, не щадя себя. Сокращения не должны огорчать Вас. Исправив рассказ, пошлите его мне» [2].

Рассказ «Единородный сын» был первым произведением Ф. В. Гладкова, опубликованным в толстом литературно-художественном журнале «Летопись», 1917 (май—июнь), № 5—6.

В 1923 году, перепечатывая рассказ в издательстве «Кузница», Ф. В. Гладков дал ему новое название — «Пучина» — и произвел некоторую переработку текста. Первое название оттеняло отцовскую тоску по единственному сыну, отправление которого «на убой», то есть на фронт первой мировой войны, ассоциировалось у религиозно настроенного старика отца с библейским распятием на кресте «единородного сына». Назвав рассказ «Пучина», автор стремился личное горе крестьянина представить как частицу общего народного горя, горя и гнева одновременно. Это нашло наиболее полное выражение в новой редакции разговора Фомы с солдатами на вокзале (VIII глава). Писатель вложил в уста старика отца новую реплику: «Пучина-то какая неисповедимая! Как же это? За что же это? За кого

[1] Первоначальное название рассказа «Пучина» — «Единородный сын».

[2] М. Горький, Собр. соч., Гослитиздат, М. 1955. т. 29, стр. 364.

же это? Погнали, как скотину на зарез... и меня... обухом по лбу... Начальство-то... убойство-то какое!.. Чего же делать, солдатики?» Вопрос не остался без ответа. Бородатый солдат, в первой редакции рассказа призывавший «жечь все пожаром и кровью», во второй редакции давал точный адрес врага, которого надо «жечь»: «Стреляй назад — в офицерье, в генералов, в царя!»

Зеленя. — Рассказ написан в 1921 году в городе Новороссийске. Впервые под названием «Правда» был опубликован в журнале «Новый мир», 1922, № 1. Журнал издавался в Москве кооперативным издательством «Новый мир», вышел всего один номер.

В рассказе «Зеленя» отразились события гражданской войны в казачьих станицах на Кубани. «Зеленя» — одно из первых произведений советской литературы о борьбе русской бедноты, так называемых «городовиков», с кулацкой и белогвардейской частью казачества. Писателя вдохновила тема солидарности трудящихся в гражданской войне. В числе героев рассказа — солдаты, бывшие фронтовики, учитель, подростки, вчерашние школьники, девушка, «душой знающая правду» и сражающаяся за нее с контрреволюционерами.

По сравнению с журнальной публикацией 1922 года текст рассказа «Зеленя» уже в изданиях собраний сочинений Гладкова в двадцатых годах («ЗИФ»), был улучшен: снята часть провинциализмов, опущены некоторые детали в описаниях.

СОДЕРЖАНИЕ

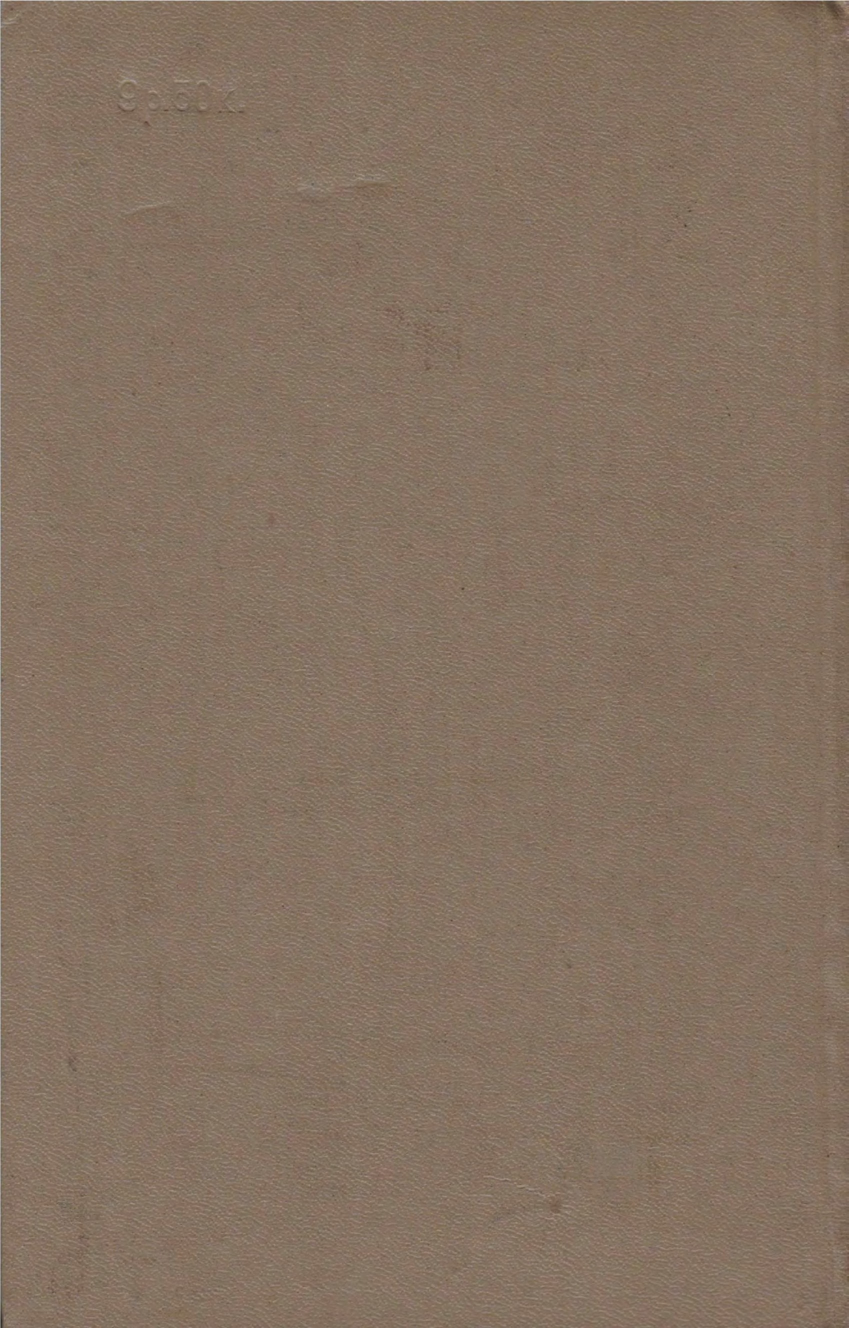
Федор Васильевич
ГЛАДКОВ
Собрание сочинений, т. 1

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Т. Гончарова
Корректор *В. Знаменская*

Сдано в набор 12/XII 1957 г. Подписано в печать 22/III 1958 г. Бумага $84\times108^{1}/_{32}$. 12,5 печ. л. = 20,5 усл.-печ. л., уч.-изд. л. 17,804 +1 вкл. = 18,854. Тираж 75 000 экз. Зак. 2621. Цена 9 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза. Ленинград,
Измайловский пр., 29


9 р. 50 к.